

Её тепла хватало на всех...

КНИГА О Д. К. МОТОЛЬСКОЙ



ЕЁ ТЕПЛА ХВАТАЛО НА ВСЕХ...

Книга о Дине Клементьевне Мотольской

Санкт-Петербург
2009



Дина Клементьевна Мотольская (1907–2005)

*«...Мало таких людей, но ими
расцветает жизнь всех...»*

Н.Г. Чернышевский



*Книга издана на средства, собранные бывшими студентами,
друзьями и коллегами Дины Клементьевны Мотольской.*

Её тепла хватало на всех... Книга о Дине Клементьевне Мотольской. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2009. — 384 с.

ISBN 978-5-91258-088-8

Редакторы-составители:

Н.Р. Левина, И.З. Перчёнок, Н.Н. Рубинштейн

Эта книга посвящена женщине, прожившей жизнь длиною в век (1907–2005), все драматические события которого прошли сквозь ее судьбу. Сама же она стала счастливым событием жизни для своих коллег и многих поколений студентов. Их воспоминания и письма составляют значительную часть этой книги, в которую вошли также рассказы самой Д.К. и архивные материалы.

ISBN 978-5-91258-088-8

Об этой книге

Сборник, посвященный Дине Клементьевне Мотольской, собирали долго. Эта «длинная песня» растянулась на два с лишним года. По ее «Записной книжке» нашли адреса и телефоны. Позвонили — попросили написать воспоминания. Потекли они к нам по электронной почте и из рук в руки, на дискетах и в рукописях шариковой ручкой, с соседней улицы и с дальних концов города, из ближнего и дальнего зарубежья. К кому-то мы приходили домой и записывали под диктовку. А Женя Марцинкевич, пермский студент Д.К. военных лет, рассказал нам о ней под диктофон перед началом своего вступительного слова на Пушкинском концерте в доме Кочневой (мы и концерт послушали).

Разобрали сохранившиеся письма и часть их перевели в компьютер. Перебрали фотографии. Сходили в музей нашего, Герценовского, института — не единожды (очень милые сотрудницы). В институтском архиве получили «Личное дело» Д.К. Некоторые указания нашли в рассказах Д.К., например, о том, что в газете «Бакинский рабочий», где печатался ее отец, в ноябре 1908 г. был его некролог. В библиотеке Академии наук мы обнаружили эту маленькую газету и нашли в ней корреспонденции Калмана Мотольского, однако номера с его некрологом там нет. Его не оказалось нигде: ни в нашей Публичке, ни в Музее политической истории, ни в Исторической библиотеке Москвы. Последняя надежда была на главную библиотеку Азербайджана, но она ничего не ответила на наши трехкратные к ней просьбы-мольбы о некрологе отца Д.К., «уроженки г. Баку». А мы-то его уже в нашем сборнике видели...

И когда в портфеле нашем лежало немало уже драгоценнейшего для нас добра, квартиру, где жила Д.К. и где остались ее книги и бумаги, посетили воры. Нужны им были, конечно, деньги и драгоценности, а не книги и бумаги. И они, воры, хорошо знали, где искать

деньги и драгоценности у интеллигентов: в книгах они их хранят, в книгах, между страницами и в переплетах. Сработано было отлично: с полок все книги и бумаги вывернули и скинули на пол, да еще и по полу разбросали. Денег не нашлось. Зато нашлись еще письма, открытки, записки давних лет, которые, может быть, были Д.К. особенно дороги. А из старого ридикюля вместо фамильных бриллиантов вытряхнули какие-то ветхие бумажки. Могли бы с досады разорвать их в клочки — но оставили нам в подарок: свидетельство о рождении матери Д.К., ее «Трудовой список», наброски ее воспоминаний.

А сколько «открытий чудных» произошло в музее «А музы не молчали...», куда Д.К. сама передала часть своих книг и многое из семейного архива: фотографии родителей, паспорт отца, аттестат матери об окончании гимназии, свидетельство о праве преподавания ею русского языка своим единоверцам...

Самое последнее открытие нам подарил этот музей накануне того дня, когда наш сборник уже нужно было нести в издательство. В одном из томов Пушкина лежала пачечка писем (числом 6) 1935—1936 гг., из Москвы, подписанных «Твой Сережа». Это письма мужа Д.К. — Сергея Алексеевича Христиановича.

За то время, что собирали мемуары, не стало четырех близких друзей и многолетних корреспондентов Дины Клементьевны: Марка Григорьевича Качурина, Марии Анатольевны Шнеерсон, Нины Генриховны Елиной и милой Эммы Артемьевны Полоцкой.

Для чего люди живут долго?

В Петербурге в возрасте девяноста семи лет скончалась Дина Клементьевна Мотольская.

25 мая, когда последний звонок звучал тем, кто попрощался со средней школой, он прозвенел и для сотни учеников Дины Клементьевны, пришедших с ней попрощаться, — у нескольких десятков поколений первокурсников филфака Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена 1940–1970-х годов она была первой учительницей в высшей школе.

Дина Клементьевна Мотольская читала первокурсникам «Введение в литературоведение» — введение во все разнообразие этических и нравственных коллизий, которыми изобилывала тогдашняя внутрилитературная (а на самом деле, подспудно, — внутриполитическая) жизнь. Прежде чем приступить к своему любимому Аристотелю, Дина Клементьевна непременно должна была поделиться впечатлением о только что прочитанном пасквиле в кочетовском «Октябре» или софроновском «Огоньке» против «Нового мира» А. Твардовского; поделиться потрясением от «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына или смерти И. Эренбурга; определить свое отношение к животрепещущей журнальной полемике по поводу «правды факта» и «правды жизни» в литературе. Все это и еще огромное множество обстоятельств тогдашней литературной повседневности удивительным образом оказывалось органичной прелюдией к следовавшим затем ее лекциям об эстетических теориях Буало, Лессинга или Аристотеля.

Нравственные императивы, которыми определялось отношение Дины Клементьевны Мотольской к явлениям литературы, руководили ею и в отношениях с учениками. Абсолютное отсутствие у нее эгоцентризма давало многим ее ученикам уверенность, что каждый из них является объектом повседневного заинтересованного внимания преподавателя. Особенное впечатление это свойство ее нравственного существа производило в последнее десятилетие жизни Дины Клементьевны. Незрячая и почти лишенная слуха, она, в отличие от большинства людей ее возраста и физического состояния, предпочитала вполне естественному и извинительному погружению в собственные немощи неустанный и ежедневный

интерес к судьбам и проблемам своих учеников, разбросанных жизнью по всей России и зарубежью.

Протяженная жизнь человека — не только проверка его нравственных и физических свойств. Среди множества испытаний, претерпеваемых им, не из последних — испытание долгой жизнью его ближнего: мерой нравственного достоинства человека становится способность избыть свой эгоизм ради стареющего, нуждающегося пусть не в прямой помощи, но хотя бы в эпизодическом внимании и эмоциональной поддержке доживающего свой век человека. Благою возможность такого испытания предоставила своим многочисленным ученикам Дина Клементьевна Мотольская. Я знаю, что ныне все они — и выдержавшие это испытание, и не сдюжившие — оплакивают ее утрату.

Валерий Сажин

*«Невское время»,
15 июля 2005 г.*

Из истории семьи



Она еще не родилась...

В городе Пинске в 1905 году вступили в брак Калман Мотольский и Гитля Берлин.



Из анкеты:

Родители:	О Т Е Ц	М А Т Ь
а) фамилия, имя и отчество;	Мотольский Калман Лейбович	Мотольская Гитля Лейбович
б) время и место рождения;	1881г., местечко Мотыль	1881г., г. Николаев
в) национальность;	еврей	еврейка
г) владеет ли недвижимым имуществом, каким и где;	нет	нет
д) чем занимались до революции; чем занимаются и где находятся (точный адрес) в настоящее время.	помощник ирландера умер в 1908г. в г. Баку	ведает - до 1934 С 1934г. - на Волыне - мест. Неделя г. Бердичев, Украина

Помощник провизора... Это была одна из немногих интеллигентных профессий, на которую мог рассчитывать еврейский юноша из местечка Мотоль. Но для этого надо было обладать бесконечным терпением и смирением, а этих качеств у него не было и в помине. В своих «Записках фармацевта» он вспоминал: *«Когда я поступил в аптеку, мне было 16 лет. Я уже тогда привык смотреть на себя, как на человека, с которым должны считаться, мнения и желания которого должны приниматься в расчет. Держался я при первом визите у аптекаря как одна из свободных договаривающихся сторон, старался узнать все подробности предложенных условий; даже осмелился спросить, почему он предлагает только один свободный день в неделю. Последнее, как я потом узнал, произвело на моего патрона очень нехорошее впечатление. Ведь я был тогда всего лишь аптекарский ученик, который должен знать одно: повиноваться и не сметь свое суждение иметь»*. Поразила его и бессмысленность серьезной подготовки к будущей профессии: *«...первое, что мне*



бросилось в глаза при входе в аптеку, — четкие надписи на банках и ящиках. Начинаю читать одну, другую, третью... Смотрю недоумевающе на эти латинские буквы, которые составляют слова, как будто ничего общего с латынью не имеющие. Пройденный мною курс латинского языка я знал очень хорошо, на экзамене на звание аптекарского ученика получил 4, после экзамена сжег 70 тетрадей, исписанных латинскими переводами, и имел, конечно, основание удивляться, что между этими многочисленными названиями не попадется ни одного, значение

г. Мотоль Ивановского района Брестской области

Заглянув в Интернет, мы узнали кое-что о местечке Мотоль, где родился отец Д.К. и от названия которого произошла его фамилия.

И оказалось, что у Д.К. там множество однофамильцев:

1. *Мотольский музей народного творчества*, открытый в августе 1995 г. В Мотоле процветало ткачество, особенно славились *мотольские рушники*; шорный промысел (*мотольские кожухи*). 2. *Мотольская церковь*. 3. *Мотольское озеро*. 4. *Мотольская средняя школа*. 5. *Мотольский детский сад*. 6. *Мотольская ДЮСШ*. 7. *Мотольская участковая больница*. 8. *Мотольский филиал* Ивановского колбасного завода (*колбаса мотольская*).

О том, что это было еврейское местечко, свидетельствует такой любопытный и курьезный документ: «Жалоба священника Мотольской церкви Николая Барановича на мотольского арендатора еврея Лейбу Гиршовиче о нанесении ему ран и побоев».

Название *Мотоль* (Мотол) есть также в Чехии. Так именуется район Праги, где воздвигнут Памятник жертвам коммунизма. Там же — природный парк, где есть *Мотольские пруды*.

А в романе Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» упоминается *Мотольский плац*, к которому вел путь из Градчанской гарнизонной тюрьмы.

(Справка сделана А. Роботовой и Н. Левиной)

которого было бы мне известно. К чему же тогда все эти бессонные ночи над латинскими учебниками?..»

Когда юный Калман Мотольский приступил к своим утомительным и однообразным обязанностям, в которые входили и личные поручения хозяина, его ожидало еще одно, может быть, самое горькое разочарование: *«Я почти никогда не находил в моих сослуживцах поддержки в неудовольствии аптечным своим положением, но мне часто приходилось слышать из их уст фразы, характерные для крепостника-аптекаря, но никак не товарища по службе. Меня очень огорчало это печальное явление...»*

К сожалению, биографических подробностей в «Записках фармацевта» немного, потому что это не мемуары, а большая публицистическая статья, в которой автор на основе собственного опыта

исследует проблему социальной несправедливости, а хозяин-аптекарь предстает как разновидность эксплуататора, классового врага.

Эта статья была напечатана в марте 1905 года в четырех газетных номерах, в *фельтоне*: так назывался особый отдел газеты (нижняя часть 3-й или 4-й полосы), где печатался вполне серьезный злободневный материал, но изложенный в более свободной беллетристической форме.

ФЕЛЬТОНЪ

Записки фармацевта.

Отдѣльные вопросы изъ той области, которая обнимаетъ собою аптечное дѣло, довольно часто всплывали на столбцахъ нашей периодической печати. Писали объ аптечныхъ привилегіяхъ, аптечной таксѣ, о положеніи фармацевтовъ и другихъ, такъ или иначе связанныхъ съ аптечнымъ дѣломъ вопросахъ. Мнѣнія по этимъ вопросамъ, какъ почти всегда бываетъ при обсужденіи вопросовъ, затрогивающихъ глубокіе экономическіе интересы, высказывались самыя противоположныя. Кто защищалъ интересы потребителя, тотъ, конечно, сто-

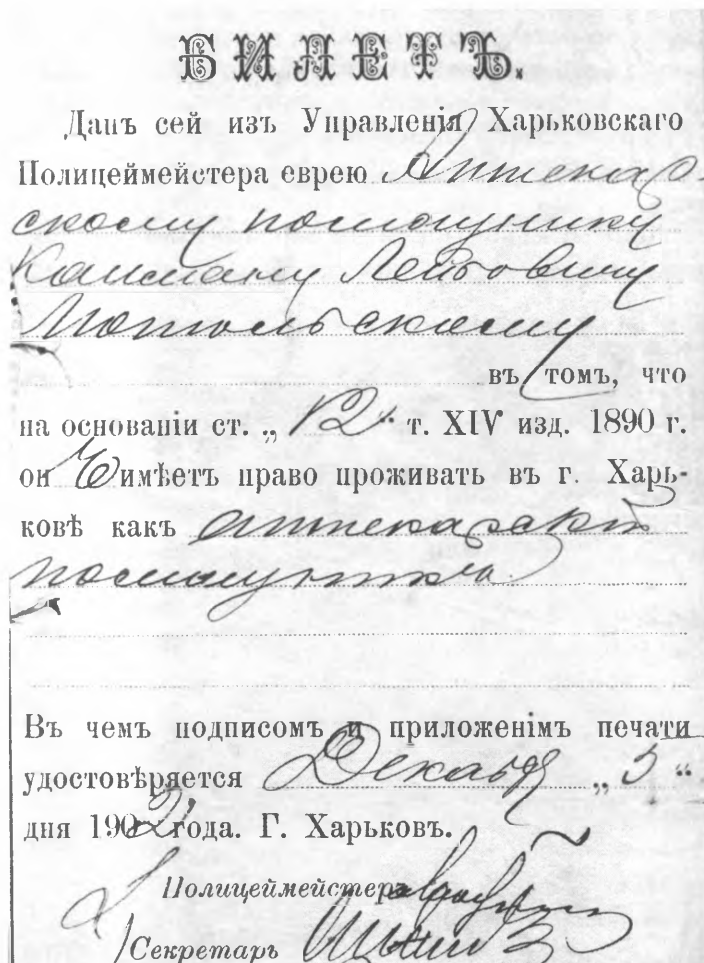
объ аптечныхъ привилегіяхъ. Въ защиту установленнаго порядка приводились самыя разнообразныя доводы „принципіальнаго“, конечно, характера, въ которыхъ, однако, не трудно было опытному глазу усмотрѣть за щито чисто карманныхъ интересовъ небольшой, сравнительно, группы людей. Нѣкоторые патетически восклицали: „Какъ, вы хотите прировнять аптеку къ лавочкѣ!?“ (о ужасъ!) Другіе съ видомъ ученаго доказывали что у насъ при привилегіяхъ и установленной правительствомъ таксѣ лѣкаства стоятъ дешевле, чѣмъ въ другихъ государствахъ Европы и Америки, гдѣ привилегіи давно отмѣнены. Въ свое время этимъ ученымъ отвѣчали въ печати и не наша цѣль теперь вступать съ ними въ полемику. Тоже не станемъ входить въ подроб

В семейном архиве сохранилась тетрадь в черной клеенчатой обложке, на страницы которой наклеены столбики газетного текста этой статьи и других публикаций Калмана Мотольского 1905—1906 годов: обзоры столичных и иностранных газет, непосредственные отклики с места событий на юге России (корреспонденции из Ставрополя) и в Германии («Берлинские письма»). Одни подписаны его инициалами или просто буквой «М», другие — псевдонимом «Фармацевт» или «Пассажир третьего класса». А под большим «Письмом из Берлина» от 13 апреля 1905 года стоят инициалы «С. Б.» — Софьи Берлин, его будущей жены.

Жаль, что в этой тетради не указано, из каких газет эти вырезки. Д.К. не раз говорила, что ее отец был сотрудником «Бакинского рабочего», но там мы нашли другие, более поздние его публикации.

Она говорила также, что в ноябре 1908 года в «Бакинском рабочем» был помещен некролог ее отца, однако этот номер найти не удалось.

Помощник провизора — это означало не просто должность, а звание, позволявшее жить вне черты оседлости (но не в больших городах). В паспорте К. Могольского есть такой документ.



В паспорте множество печатей и отметок о регистрации в полицейских участках разных городов (Харьков, Баку, Екатеринослав). Бывал он и в Петербурге: 7 января 1906 г. отмечен в Московской

части 3-го участка по адресу: Гороховая ул., д. 55, кв. 63. А 5 марта 1906 г. — в той же Московской части 2-го участка — по Троицкой ул. (ныне ул. Рубинштейна), д. 27, кв. 41.

К тому времени он был уже женат, о чем в паспорте имеется подробная запись: «1905 года Декабря 30 дня Пинский Общественный Раввин подписью и приложением печати удостоверяет, что означенный в сей книжке Калман Леймонович Мотольский 26-го сего декабря вступил в первый законный брак с девицею Руднянскою мещанкою Гитлею Мовшевною Берлин 26-ти лет. О чем имеется запись в метрической книге о бракосочетавшихся евреях по г. Пинску».

В паспорте мужа возраст Гитли Берлин указан неверно. На самом деле, когда они поженились, им обоим было по 24 года.



Вот ее свидетельство о рождении.

Свидетельство

Дано въ смысле гимназической сист.
университ. м. Рунт Импер. словесн.
всехъ Берлина, въ томъ, что по мет.
рической книгѣ ар. Еврейскихъ св.
решъ по м. Рунт въ 1881 г. Кле-
мента съестъ въ канцелярѣи Губерн.
свою евангелическую Студентъ.

Этот документ был ею представлен в Николаевскую женскую гимназию, которую она окончила в 1900 году с отличием, сдав все экзамены экстерном и получив аттестат.

Аттестатъ.

Предъявительница сего, ученица VII класса Николаевской Второй женской Гимназии, *Гитля Мошевна Берлина*, какъ видно изъ документовъ, дочь *Губерн. мѣщанина, еврейскаго* исповѣданія, имѣющая отъ роду *19* лѣтъ, поступила по (свидѣтельству) *д-н-з-а-м-е-н-у* въ VII классъ Николаевской Второй женской Гимназии въ *августъ 1900* года, и, находясь въ ней до окончанія полного курса ученія, въ продолженіе всего этого времени вела себя *стѣнно* и была переводима, по испытаніямъ, въ высшіе классы, а именно: въ *—* г. въ I кл., въ *—* г. во II кл., въ *—* г. въ III кл., въ *—* г. въ IV кл., въ *—* г. въ V кл., въ *—* г. въ VI кл. и въ *—* г. въ VII кл.

Въ продолженіи вѣкъ для бывшаго преподавателя по предмету *—* VII

«Она сама очень крошечная...»

Д.К. называла себя «последним человеком 1907 года». Но родилась она не в новогоднюю ночь, а по старому стилю, и это было 18 декабря, во вторник.

Письма родителей из Баку в Пинск

Из Баку

22.12.1907

г. Пинск Минской губ.

Господину Берке Коссовскому

/отец/

Пятница 21-го

Дорогие! Все идет, как нельзя лучше; здоровье Сони восстанавливается. Ребенку прибавилось около 1/4 фунта за эти несколько дней, след. Соня могла бы, пожалуй, сама кормить его, но тогда нельзя будет заниматься уроками. Как выйти из этого положения, я еще не знаю, но думаю, что первый месяц или полтора пока уроками заниматься не придется, Соня сама будет кормить ребенка. Очень не советуют связываться с кормилицами.

(подпись)

* * *

Из Баку 13.03.1908

г. Пинск Минской губ.

Господину Б. Коссовскому

/отец/

Дорогие! Известия, что Этинька поправляется, нас, конечно, очень радуют. Племянница идет по стопам тетеньки: она тоже поправляется. В воскресенье мы ее опять взвешивали: за 12 дней она прибавила 1 фунт; поправка довольно значительная. У меня работа сегодня кончилась. Из Мотоля мы уже давненько письма не имеем. Что там слышно? Будьте здоровы. Ваш...

/мать/

Дорогие мои! Письма от нас стали получаться гораздо длиннее; не знаю, чем объяснить это. Выходит ли Этинька уже на улицу?

Какие у вас погоды? Мы думаем уже начать выносить Диночку; у нас настоящая весна и очень тепло. Передайте, пожалуйста, Грише следующее (мне некогда страшно и нет возможности лично писать): теперь приближается лето, и на уроки нечего рассчитывать, но с началом учебного года уроки здесь имеются и очень порядочные. Вот все, что могу ему сказать. Вам всем кланяется Диночка. Будьте здоровы. Ваша.....

/отец/

Дорогие! Ваше большое письмо мы получили. Каждый раз, когда пишете об Этиньке, я не могу простить Вам, что до сих пор не сфотографировали ее. Мне очень сильно хочется иметь ее карточку. Карточку Диночки я бы с удовольствием послал бабушке, но, к сожалению, у нас осталась только одна, а пока закажем и получим из Эссентуков, пройдет немало времени. Может быть, Доба уступит временно свою карточку. В Мотоль посылать карточку я ни за что не хочу, и если ты, мама, вздумаешь послать им, я буду очень недоволен.

Дела у нас обстоят следующим образом. Я работаю 5 часов в день и получаю за это 50 р. в месяц, Соня имеет 2 урока за 80 р.; уроков и довольно хороших ей предложили довольно много (она себя зарекомендовала здесь с хорошей стороны), но ни здоровье, ни время не позволяют ей уделять больше времени урокам. Расходы у нас очень большие, одна кормилица поглощает больше 50 руб. в месяц. Но я надеюсь устроиться со временем на лучшем месте, тогда, быть может, удастся вылезть из вечных долгов.



Rendel PINSK



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО



г. Симеон
Шинкарь

Томоуги
Беркь Коссовскому

Милый мой 21-го
Дорогой! Все идет,
как нельзя лучше;
здоровье Соши возста-
навливается. Ребенку при-
бавилось около 1/4 фунта
за эти несколько дней, а
Соша могла бы и сама
сама кормить его, но
тогда нельзя будет за-
щипать уроками. Как
выступил из этого пансион-
а еще не знаю, но думаю
что первый месяц или
1 1/2, пока на уроках
защипать не приходится,
Соша сама будет кормить
ребенка. Очень не советую
связываться с матерью или
каким-нибудь из

Письмо отца после рождения Д.К.
Еще безмянному ребенку всего 3 дня

Занимается Соня в очень богатых домах, и ею очень довольны. Хотелось бы и Вас когда-нибудь порадовать хорошими известиями. Мне очень больно, что ВЫ не можете видеть Диночку в оригинале; она на редкость живой ребенок, глазки у нее так и блещут огнем. Впрочем, зачем я это пишу. Ведь этим я только растрavляю ваши раны.

Зелда, отчего ты опять упорно молчишь? Как твои занятия, имешь ли кой-какие уроки? Что делаешь и как ведет себя Зуля? Будьте здоровы, дорогие, крепко целую Этиньку в ее маленький носик и тонкие розовые губки.

Ваш....

/мать/

Дорогие! Я, к сожалению, не могу много писать, так как занята то уроками, то Диночкой — и порядком устаю. Жду не дождусь, пока избавлюсь от кормилицы: она, положительно, меня изводит. У вас, как видно, дела не особенно блестящи; одним словом, мы друг от друга не отстаем. Как здоровье вас всех, как выглядит Этинька? Дусенька не дает больше писать. Она большая баловница.

Будьте здоровы. Ваша Соня

/отец/

Дорогие! Я по примеру Берчика стал здесь затевать дела. Навожу теперь подробные сведения в кавказском месте вообще. Я знаю, что имеется много черного, красного и орехового дерева, перевозка которого в виде распиленных досок будет окупаться хорошо. Через неделю-другую здесь начнет выходить еженедельный орган, в котором я получил приглашение работать. Хотя мы еще до сих пор в долгах у вас, однако я, набравшись смелости, хочу просить сшить для меня 3 рубахи и 3 пары кальсон <и для Сони 3 рубахи — *зачеркнуто*> и дюжину носовых платков. Каковы у вас виды на будущее? Что поделяет Зека? Все же, я думаю, ему не мешало бы иметь свидетельство на аптекарского ученика. Зелда, отчего ты замолчала? Если бы ты видела Диночку, то, наверное, говорила бы «Ви сай кунц» / «Та еще штучка» — *на идиш*/.

Она очень милая и забавная девочка. Постарайтесь непременно сфотографировать Этиньку.

Привет. Ваш....

/мать/

Дорогие мои! Вчера получили Вашу открытку с подтверждением приятного известия. Конечно, заработанные деньги не представляют собою такую сумму, которая могла бы заткнуть все дыры, но все же она доставит, вероятно, некоторое облегчение хоть на короткое время. Очень печально, что мы пока не можем вас ничем порадовать, хотя кое-что предвидится. Что касается Диночки, то она заслуживает подарка. Она говорит некоторые слова, понимает много слов. Ходить я ее еще не приучаю, так как не хочу ставить ее на ножки; кроме того, я сравнительно мало с ней вожусь (прихожу в 2–3 часа домой, а ухожу в 9 часов), что, конечно, отражается на ее физическом и умственном развитии. Все же она девочка хорошая (такой нахожу ее не только я, но и все знакомые).

Что касается «заказов», то их как-то совестно делать. Я прекрасно знаю, что заработанные деньги только капля в море расходов. Но Диночка находится на особых правах, и я от ее имени делаю заказ.

Ей очень полезно было бы иметь теплое пальто. Здесь погоды такие, что ее можно выносить гулять в теплой одежде. Пальто желательно в виде сачка, колоколом, из плотной материи, но не твердой, цвет темно-бордовый, на фланелевой подкладке, но без ваты. Дальше пару-другую чулочек, самого малого размера; она сама очень крошечная. Вот все, в чем она нуждается особенно. Не покупайте ничего дорогого; она растет и приходится делать новое. Что ты подделываешь, Доба? В Пинске ли Рахиль Колодная?

Я перед ней виновата; не ответила на ее последнее письмо. Клянись ей. Занимаешься ли ты, куда готовишься и за сколько? Где думаешь экзаменоваться? Гуляет ли Этинька? Непременно выводите ее в сухие погоды гулять; она будет свежее и не будет так подвержена простуде. Ну, будьте здоровы.

Ваша Соня

Псылаю вам мерку длины и ширины с припуском уже.

«Мама была как Софья Перовская...»



Эта фотография сделана, вероятно, около 1912 года, когда С. М. Мотольская* готовилась к экзамену на звание домашней учительницы или уже получила это звание.

Свидетельство

*Дано сие Гитле Мовшевне **Мотольской**, урожденной **Берлиной**, в том, что она, как из представленных ею документов видно, подданная Российской Империи, уроженка Могилевской губернии, дочь ме-*

* Ее первоначальное имя *Гитля Мовшевна* сохранилось только в паспорте. В других документах оно встречается редко, а вместо него — более понятное, хоть и не очень похожее — *Софья Моисеевна*. Впрочем, как мы видели, Соней ее называли задолго до переименований советского времени.

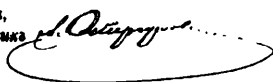
щанина, родилась 24 декабря 1881 года, иудейского исповедания; имеет свидетельство об окончании Николаевской второй женской гимназии. Вследствие поданного Гитлей Мотольской прошения о желании вступить в домашние учительницы и по рассмотрении представленных ею удостоверительных свидетельств, которые найдены удовлетворительными, она была допущена к сокращенному специальному испытанию в Педагогическом совете Пинского реального училища и оказала в **русском языке** хорошие сведения, и сверх сего, с успехом дала пробный урок по этому предмету в названном

СВИДѢТЕЛЬСТВО.

№ 9800

Дано сіе Гитлей **Мотольской**, урожденной **Верлиной**, въ томъ, что она, какъ изъ представленныхъ ею документовъ видно, подданная Россійской Имперіи, уроженка Могилевской губерніи, дочь мѣщанина, родилась 24 декабря 1881 года, иудейскаго исповѣданія; имѣетъ свидѣтельство объ окончаніи Николаевской второй женской гимназіи. Вслѣдствіе поданнаго Гитлей Мотольской прошенія о желаніи вступить въ домашнія учительницы и по рассмотрѣніи представленныхъ ею удостовѣрительныхъ свидѣтельствъ, которыя найдены удовлетворительными, она была допущена къ сокращенному специальному испытанію въ Педагогическомъ Советѣ Пинскаго реального училища и оказала въ **Русскомъ языкѣ** хорошія свѣдѣнія, и, сверхъ сего, съ успѣхомъ дала пробный урокъ по этому предмету въ названномъ училищѣ. А потому ей, Гитлей Мотольской, дозволено принять на себя званіе домашней учительницы, съ правомъ преподавать **Русскій языкъ** лишь своимъ единовѣрцамъ, при чемъ настоящее свидѣтельство не даетъ ей, Мотольской, правъ, которыми пользуются домашнія учительницы изъ лицъ христіанскихъ исповѣданій. Въ удостовѣреніе чего дано сіе свидѣтельство за надлежащимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ печати Канцеляріи Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа. Г. Вильна. Мая 7 дня 1912 года.

Попечитель Виленскаго Учебнаго Округа,
Действительный Статскій Советникъ



Правитель Канцеляріи



училище. А потому ей, Гитле Мотольской, дозволено принять на себя звание домашней учительницы, с правом преподавать русский язык лишь своим единоверцам, причем настоящее свидетельство не дает ей, Мотольской, прав, которыми пользуются домашние учительницы из лиц христианских исповеданий. В удостоверение чего дано сие свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати Канцелярии Попечителя Виленского Учебного Округа.

г. Вильна. Мая 7 дня 1912 года.

К тому времени она уже 4 года заведовала профессиональной женской школой в Пинске, которую субсидировало Еврейское Колониальное Общество (ЕКО).

ЕКО было основано в 1891 г. бароном М. Гиршем. Его главной целью было создание для евреев «нового отечества». В Аргентине были куплены огромные земли. «Рассеянному по всему миру еврейскому племени» предлагалось съехаться в эту страну, не заниматься своим извечным делом — торговлей, а обрабатывать землю. С помощью ЕКО Гирш рассчитывал за 25 лет переселить в Аргентину более 3 млн русских евреев. И в 1892 г. в Петербурге было открыто отделение ЕКО во главе с бароном Г. О. Гинцбургом, занявшееся комплектованием групп переселенцев. Впоследствии кроме Аргентины еврейские колонии появились в Канаде, США и Эрец-Израэль (Палестина).

О деятельности ЕКО сообщал в 1900 г. журнал «Неделя строителя», издаваемый в Петербурге Обществом гражданских инженеров (№ 33, с. 216):

«Постройка домов для бедных евреев в гор. Вильне. Еврейское колонизационное общество в Париже, учрежденное бароном Гиршем, строит в Вильне пятиэтажные флигели с квартирами по одной комнате преимущественно и с небольшим числом квартир, состоящих из одной комнаты и особой кухни. Домов таких должно быть три, по 93 квартиры в каждом, и, следовательно, во всех трех домах будет около 280 квартир.»

В неоконченном рассказе В. Г. Короленко «Братья Мендель» (1915 г.), действие которого происходит в конце 1860-х гг. в городе Ровно, есть любопытные сведения:

«В нашем городе было несколько хедеров (еврейских религиозных школ) и одно еврейское ремесленное училище. Оно было основано каким-то филантропом, уроженцем города, сделавшим карьеру в других местах, частью даже за границей. Он с сожалением смотрел на ту отсталость, в которой коснели евреи на его родине, и находил, что они слишком исключительно предаются торговле и мелкому гешефту... В училище преподавали общеобразовательные предметы, арифметику, немного физики, алгебры и геометрию. Училище выпустило уже много ремесленников, и они пользовались отличной репутацией. На годичных актах присутствовали губернаторы... Учеников школы охотно брали к себе помещики для разных работ в имениях.» (В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10 тт., т. 2. М., 1954, с. 399—400).

ЕКО содействовало «возрождению еврейского племени» и в самой России, и для евреев, которые «...И не сеяли хлеба./ Никогда не сеяли хлеба» (И. Бродский), создавались земледельческие и кооперативные поселения, где инструкторы ЕКО обучали рациональным методам сельскохозяйственных работ. Были организованы также ссудно-сберегательные кассы для ремесленников и мелких торговцев, открыты профессиональные школы. В таких школах — в Пинске, Полтаве и Бердичеве — и работала С. М. Мотольская с 1908 (т. е. сразу после смерти мужа) по 1920 г.

В 1923 г. ЕКО заключило договор с правительством СССР, и до 1938 г. его представитель — уполномоченный для РСФСР, Украины и Белоруссии — находился в Москве (Гранатный пер., 7). Оттуда в 1927 г. С. М. получила справку о своей работе в профессиональных школах. В то время она уже жила в Ленинграде и преподавала русский язык на рабфаке Технологического института.

JEWISH
COLONIZATION ASSOCIATION
ЕВРЕЙСКОЕ
КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Уполномоченный
для РСФСР, УССР и БССР

№ 2878
Телефон: 4-88-05.
Тел. адр.: ЕКО.

Москва 1: Мая 13-го дня 1927 г.
Гранатный пер., 7.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.-

Документы № 2878
Страховка
выданы для проверки

Настоящим удостоверяем, что Софья
Моисеевна МОТОЛЬСКАЯ заведывала следующими
школами, субсидировавшимися Еврейским Ко -
лонизационным Обществом:

1. Профессиональной женской школой в
Пинске - с 1908 по 1915 г.
2. Профессиональной школой для беженцев
в Полтаве - с 1915 по 1916 "
3. Женской профессиональной школой в
Бердичеве - с 1916 по 1920 г.

ЕВРЕЙСКОЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
Уполномоченный для РСФСР, УССР и БССР



Л. Зей
Секретарь Л. Кошур

Удостоверение Еврейского Колониального Общества

Итого 210 экземпляров в порядке 10 сентября 1927 г.
Дополн. 210 с приложением СССР выданы 14 декабря 1927 г.



Мой ответ

Когда я прочитала статью Старикова и стихотворение Маркова, я содрогнулась: передо мной встали, страшные тени еще не совсем забытого прошлого — тени гитлеровской, суворовской, крушевской и прочих, как их называли, разбойников негра. Они источали потоки слез не советской немести, которые, по мере приближения к низам, превращаются в реки невоинственной человеческой крови. Мне за 80 и я их не могла видеть эти зверские лица и касаться крови

Несмотря на болезнь (она перенесла инсульт и с трудом передвигалась по комнате), С. М. до глубокой старости сохранила ясный ум и твердый характер. Даже почерк ее не изменился. И стиль ее публицистических набросков остался прежним — таким же, как в ее корреспонденциях 1905 года. Она умерла в 1968 году.

Воспоминания двоюродной сестры

В. Д. Сапожникова

Дина Клементьевна Мотольская приходится мне двоюродной сестрой, несмотря на очень большую разницу в возрасте. Наша общая бабушка, Геня, которую я, к сожалению, знаю только по рассказам моих родителей и маминой сестры Зиночки, родилась в местечке Мотоль, в той части страны, которая переходила из рук в руки и была то частью Белоруссии, то — частью Польши. В те времена (1870–1880-е годы) в еврейских семьях девочек выдавали замуж очень рано, так что моя бабушка Геня (урожденная Владовская) вышла замуж за своего первого мужа, когда ей было 13 лет. Через год у них родился сын, Калман Мотольский, будущий отец Дины Клементьевны. У моей бабушки и ее первого мужа была еще дочь Доба, на пару лет моложе Калмана.

В конце XIX—начале XX века началась большая эмиграция русских евреев в Америку: евреи бежали от погромов. У бабушки Гени было много сестер и один брат, и в те годы многие члены этой большой семьи уехали в Америку. Очень часто было это так: уезжал кто-нибудь один (обычно глава семьи) и после того, как он устраивался, он вызывал к себе всю семью. Таким образом, в конце XIX века муж моей бабушки уехал в Америку, а за ним последовала Доба. К большому несчастью, муж бабушки (дедушка Д.К.) там скончался, не успев вызвать к себе всю свою семью.

Связь с родными, уехавшими в Америку, в послереволюционные годы была очень плохой, а в сталинские времена и вовсе прервалась. Поэтому долгие годы русская и американская ветви бабушкиной большой семьи ничего не знали друг о друге. И только перед самой нашей эмиграцией из Ленинграда совершенно случайно и через каких-то случайных людей пришел привет от маминых двоюродных сестер, которые жили в Хартфорде. Так мы узнали их адрес. Мы (мой муж Володя, моя дочь Аня и я) эмигрировали в США в 1978 году и в том же году встретились с американской ветвью бабушкиной семьи. Встреча состоялась в Хартфорде и была невероятно волнительной и теплой. И, несмотря на отсутствие общего языка (хартфордцы говорили на идиш и по-английски, мы же —

по-русски и едва-едва по-английски, за исключением Володи, который, к своему собственному и нашему удивлению, заговорил по-английски уже в Вене, как только это потребовалось), мы сразу стали близкими людьми. Извините меня, пожалуйста, за это небольшое хронологическое отступление.

Спустя несколько лет после кончины своего первого мужа моя бабушка вышла замуж за его двоюродного брата, Берла Коссовского, который к тому времени тоже овдовел и остался с тремя маленькими детьми: Зиной, Зэкой и Зулей. В 1905 году от этого брака родилась моя мама, Эсфирь Борисовна Коссовская. Этя — Этинька звали ее все в семье и очень любили. Таким образом, у моей мамы оказались брат и сестра (Калман и Доба) по материнской линии и два брата и сестра (Зэка, Зуля и Зина) по отцовской линии.

Эта новая семья, Геня, Берл и их шестеро детей, оказалась очень дружной и жизнеспособной. Геня и Берл были замечательными, теплыми людьми и своим теплом и мудростью притягивали к себе родных и друзей. Их дом был открыт для всех.

Сейчас, когда я пишу эти короткие воспоминания, уже ушли из жизни почти все, чьи имена я упомянула, и многие другие, до которых я еще не дошла в своих воспоминаниях. В моем небольшом очерке будут большие пробелы, которые, к сожалению, уже невозможно восполнить.

Старший сын бабушки, Калман, женился на Софье Моисеевне Берлин, семья которой жила в Одессе. Насколько я помню из рассказов моей мамы, Калман познакомился со своей будущей женой в Германии, где они оба учились. Оба, Калман и его жена, получили хорошее образование. А после женитьбы Соня и Калман поселились в Баку. Там в 1907 году у них родилась героиня этой книги — дочь Дусенька (Дина Клементьевна Мотольская). Когда Дусеньке не было и года, Калман умер после неудачной операции аппендицита. Ему было всего 27 лет. После этой трагедии Софья Моисеевна с маленькой Дусенькой уехали из Баку в Пинск и поселились вместе со всей большой семьей Гени и Берла. Моя мама была всего на два года старше Дусеньки — своей племянницы, и они стали близкими подругами на всю жизнь.

Бабушка Геня невероятно тяжело перенесла безвременный уход из жизни своего старшего сына, который был младше ее всего на

14 лет. По словам моей мамы, бабушка никогда до конца так и не оправилась от этого горя.

Все силы семьи были положены на то, чтобы дать Дусеньке самое лучшее образование. За этим следила тетя Соня (Софья Моисеевна), и это всячески поддерживалось бабушкой и дедушкой.

После революции вся семья переехала в Лодейное Поле. Я не знаю точно, почему было принято такое решение, но подозреваю, что оно было связано с тем, что жизнь стала небезопасной для евреев. В Лодейное Поле съехалось в те годы много еврейских семей, между которыми установились тесные дружеские связи, сохранившиеся на многие-многие годы, а в некоторых случаях и на всю жизнь. Так, например, семья Коссовских тесно сдружилась с семьей Пайкиных. Эта дружба жива по сей день уже в следующих поколениях.

В 1922 году, когда евреи получили разрешение жить в больших городах, вся семья переехала в Петроград. Машины старшие братья, Зэка и Зуля, нашли подходящую квартиру для всей большой семьи на ул. Марата, 23, на втором этаже. Та квартира, в которой последние свои годы жила Дина Клементьевна вместе с Беллой Львовной и Ильей Львовичем (детьми Зули), составляет примерно половину той первоначальной квартиры, которую тогда сняли.

С переездом в Петроград возможность получить хорошее образование увеличилась. Дусеньку устроили учиться в замечательную школу, которой заведовал отец будущего академика А.Д. Александрова. Из этой знаменитой школы вышло много выдающихся ученых.

Дети росли, семья разрасталась, и стало появляться следующее поколение. Зиночка вышла замуж за Якова Бакельмана, и у них в 1928 году родился сын, Илья Бакельман. Зуля женился на Фане Коссовской, и у них в 1933 году родился сын, Илья Коссовский, а через шесть лет — дочь, Белла Коссовская.

Моя мама, Этя, вышла замуж за Давида Сапожникова, и у них в 1934 году родилась старшая дочь Фрида, а через пять лет — вторая дочь, Вера (я), и еще через два года, в августе 1941 года — сын Боря.

Дусенька закончила Герценовский институт и осталась там работать. Примерно в 1930 году вышла замуж за своего одноклассника по школе, Сергея Христиановича, и они были счастливы в тече-

ние 7 лет. В эти годы мои родители были очень дружны с Дусенькой и Сергеем. К сожалению, я не знаю, по каким причинам брак Дусеньки и Сергея расстроился (это случилось за пару лет до начала войны). Сергей Христианович стал крупным ученым (академиком) в области гидро- и аэродинамики и теории прочности и пластичности. (Подробнее о жизни и деятельности академика Сергея Алексеевича Христиановича можно прочесть на сайте: <http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/xristian>)

Когда началась война и немцы стали подходить к Ленинграду, женщин с детьми стали эвакуировать на Урал. Туда уехали Зиночка с сыном, Фаня с Ильей и Беллой. Моя мама не могла уехать, потому что ее мама, наша бабушка Геня, была очень больна и нельзя было ее оставить (дедушка умер в 1936 году). Семилетнюю Фридопку отправили в эвакуацию с детским садом. Мне было тогда только два года, и хотя моя мама хотела отправить меня с тем же детским садом, но администрация отказалась взять на себя ответственность за такого маленького ребенка. К тому же мама была беременна моим младшим братом, который родился в конце августа 1941 года. Как раз тогда, когда мама была в родильном доме, появилась возможность отправить меня в эвакуацию. Туда, на Урал, ехал мой дядя Яков навестить свою семью и готов был взять меня с собой и оставить меня там со своей женой, моей тетей Зиночкой. В дорогу меня собирала Дусенька — об этом эпизоде Дина Клементьевна рассказывала мне много раз. Наша бабушка умерла в Ленинграде в октябре 1941 года. Моя мама с маленьким Борей уехала из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера где-то в конце зимы 1942 года.

Дусенька продолжала работать в Герценовском институте во время блокады. Насколько я помню, по рассказам моей мамы и Зиночки, она эвакуировалась вместе со своим институтом на Урал позднее. Вместе с ней уехала и тетя Соня. В эти тяжелые для страны годы семья оказалась разбросанной.

В 1944 году, после освобождения Ленинграда, семья стала съезжаться. Мне тогда было пять лет, но у меня сохранились какие-то обрывочные воспоминания об этом начальном периоде нашего возвращения в Ленинград.

Здесь я позволю себе еще одно отступление.

К началу войны бабушкина большая семья была представлена тремя ветвями: американской, израильской и российской. Между российской ветвью и двумя другими связи практически не существовало. Израильская ветвь образовалась перед самым началом войны из той части семьи, которая успела уехать из Польши до того, как Польшу оккупировали немцы. Те, кто не успел бежать, погибли в Холокосте.

Часть бабушкиной семьи продолжала жить в довоенные времена в местечке Мотоль, которое было присоединено к СССР незадолго до начала войны. В частности, там находилась семья Гутенских — это семья маминой двоюродной сестры, Блюмки Владовской, с которой мама была очень дружна в детские годы, когда они вместе жили в Мотоле. В 1941 году, когда немцы напали на СССР, семья Гутенских, как и многие другие семьи из присоединенных к Советскому Союзу областей, была сослана в Сибирь. В 1946 году семья Гутенских возвратилась в Польшу и спустя несколько лет переехала в Израиль. Как это было принято в Израиле, три сына Гутенских поменяли свои имена. Теперь это Давид Бартов, Хаим Исраели и Иосиф Исраели. Давид Бартов и Хаим Исраели стали выдающимися деятелями Израиля. (Подробнее о жизни и деятельности Давида Бартова можно прочитать в Еврейской Энциклопедии на сайте: <http://eleven.co.il>)

С ними и с остальной израильской ветвью бабушкиной семьи мы тоже познакомимся после того, как эмигрировали в США. Мы и сейчас поддерживаем с ними живую связь.

После войны из нашей большой семьи на Марата остались жить мои родители с нами, детьми (Фридой, мной и Борей) и мамин брат Зуля с женой Фаней и со своими двумя детьми. Квартира на Марата превратилась в большую коммунальную квартиру. Мы все занимали только часть этой квартиры. В остальной части стали жить новые семьи. Зиночка, Яков и Илья поселились на Невском проспекте (угол Литейного), а Дусенька с тетей Соней — в большой коммунальной квартире в доме на углу Невского и Пушкинской улицы. Ээка со своей женой, тетей Розой, — на Васильевском острове.

Несмотря на разъезд, семья продолжала оставаться очень дружной. Все дни рождения и все праздники проводили вместе. Мара-

товская квартира оставалась на многие годы центром притяжения для всей большой семьи, включая и более дальних родственников. Интересно, что даже для следующего поколения нашей семьи обстановка маратовской квартиры играла особую роль. Моя дочь Аня, которая спустя много лет тоже родилась в этой квартире и позднее уехала оттуда вместе с нами в нашу новую квартиру на Партизана Германа, попросила меня написать от ее имени следующие строки: «Маратовская квартира была всегда центром мира моей жизни. Я всегда хотела поехать в гости на Марата из нашей квартиры на Партизана Германа, мне никогда не хотелось уезжать оттуда». Мы, дети, наслаждались семейными встречами и впитывали в себя интересные разговоры о музыке, литературе, науке и искусстве. Мы обожали ходить в гости к Дусеньке (так мы все называли Дину Клементьевну в семье, и от этой глубокой привычки невозможно отказаться) и тете Соне. Дусенька оказала большое влияние на нас, детей следующего поколения. Отношения в семье были невероятно тесными. Например, Дусенька и моя мама говорили по телефону каждый вечер, и эти разговоры были очень продолжительными. Взаимная поддержка была настолько само собой разумеющейся, что в тех случаях, когда тетя Соня плохо себя чувствовала, Дусенька в первую очередь звонила на Марата, и мой папа тут же мчался к ним на помощь. Это могло происходить в любой час дня или ночи. То же самое было, если заболела Зиночка, тогда Илья звонил на Марата — и папа мчался к ним на квартиру.

Надо сказать, что сразу после нашего возвращения в освобожденный Ленинград и до того, как мой папа вернулся с фронта, моей маме приходилось очень тяжело: работать и справляться одной с тремя маленькими детьми, которые, к тому же, бесконечно болели. Без помощи нашей тесной семьи мама просто не смогла бы справиться с такой нагрузкой. Особенно помогала мамина сестра Зиночка. Как только один из нас, детей, заболел и не мог идти в детский сад или в школу, мы всем семейством перебирались к Зиночке, как мы говорили, «на Литейный». Зиночка тогда не работала и принимала нас всех с теплом и радостью. Зиночка нас всех обожала, и мы обожали ее.

Дусенька также была очень близка со своей двоюродной сестрой по материнской линии, которую тоже звали Дусенькой (Берлин). В семье было принято называть Дусеньку Берлин Большой Ду-

сенькой, потому что она была очень крупной женщиной, в отличие от нашей Дусеньки, которая была небольшого роста.

Мы все любили большую Дусеньку и ее семью, ее мужа Яшу и их сына Витю. Витя с семьей сейчас живет в Израиле.

Дусенькина жизнь была полностью посвящена ее работе, ее ученикам и ее друзьям. Не успевала она прийти с работы домой, как ее телефон начинал звонить. Не успев передохнуть и перекусить (постоянный источник недовольства тети Сони), Дусенька активно включалась во вторую половину своего рабочего дня: телефонные разговоры с коллегами, учениками и друзьями.

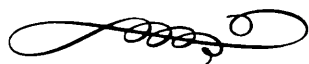
Хочу упомянуть визит Дусеньки к нам, в США, в 1988 году. К тому моменту я со своей семьей, моя мама и Фрида жили там уже 10 лет. Мы пригласили Дусеньку приехать к нам в гости, и она ни на секунду не задумалась и отправилась в это длинное путешествие одна, несмотря на то что ей уже было больше 80 лет и также несмотря на то, что она не знала ни слова по-английски. Дусенька получила колоссальное удовольствие от этой поездки, а мы, в свою очередь, от ее визита к нам.

Эта поездка также дала возможность Дусеньке познакомиться ближе с нашими американскими и израильскими родными.

Она прожила длинную и плодотворную жизнь. Она была неотъемлемой частью нашей большой и дружной семьи. Теплая память о Дусеньке и обо всех наших дорогих близких, ушедших из жизни, навсегда сохранится в наших сердцах.

Февраль 2008 года

Рассказы Дины Клементьевны



[Маленькое предисловие]

Это устные рассказы Д.К. Их записала на диктофон Ольга Герасимовна Прутт — Оля Меркулова, выпускница литфака 1973 года. Как хорошо, что она догадалась (и успела) это сделать!

Д.К. очень любила Олю, гордилась ее работой в возглавляемом ею музее «А музы не молчали...». В этом музее, посвященном духовной жизни блокадного Ленинграда, есть теперь и уголок Д.К.: ее книги с дарственными надписями, фотографии, старинный столик-вертушка, книжные полки, хорошо знакомые всем, кто бывал у нее дома. Где еще, встречая тебя, с таким радостным волнением произносили твое имя?

Тот, кто это помнит, услышит голос Д.К. в ее устных рассказах, ставших текстом, записанным с диктофона как будто под ее диктовку.



[Детство, семья, школа]

Мама окончила Николаевскую гимназию с золотой медалью. Кончила экстерном, так как не было денег для платы за обучение. К экзамену по математике ее готовил Лев Бронштейн (Троцкий), товарищ ее брата. Впоследствии этот факт маминой биографии мог стоить нам жизни, и мы его тщательно скрывали.

После окончания гимназии она приехала к брату в Мариуполь и вскоре была арестована: проходила мимо бастующих рабочих и попала на глаза полицейским.

Начальник тюрьмы был заинтересован, чтобы она оставалась там подольше, так как она давала уроки его сыну. В это же время был арестован и мой отец. Маму вскоре выпустили, а отец еще оставался в тюрьме.

Мама под чужим паспортом приехала в Берлин. Она думала, что знает немецкий, оказалось — нет. Но в течение трех месяцев она настолько овладела языком, что свободно записывала выступления Клары Цеткин, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Мама потом не могла себе представить, что свободолюбивые, культурные немцы пойдут по пути фашизма.

Папа тоже приехал в Берлин. Они писали корреспонденции в Россию. Сохранилась тетрадь с вырезками из газет с их статьями.

Они вернулись в Россию в 1906 г. Мать была близка к меньшевикам, а отец — левее. В 1908 г., когда мне не было и года, отец умер. В газете «Бакинский рабочий» был о нем некролог. О нем писали не как о помощнике провизора (так он подписывал свои заметки), а как о литераторе.

После смерти отца мать с его сестрой и со мной приехала в Пинск. Там она сдала экзамен на звание учительницы русского языка.

На фотографии мама как Софья Перовская. Она была суровой. Слово «нельзя» звучало постоянно. И на протяжении многих лет я говорила — «как скажет мама».

Мама была человеком редкостных способностей. Она стала изучать высшую математику, будучи инвалидом и старым человеком.

В Пинске она стала директором Колонизационной еврейской школы. Преподавала русский язык и была человеком абсолютно грамотным. Она не знала еврейского языка, но научилась, чтобы понимать своих учениц. Мы оказались беженцами и переехали в

Полтаву, потом в Бердичев, где мама была заведующей профессиональной еврейской школой.

В Бердичеве мы прошли через ряд очень тяжелых погромов. При большевиках их не было. Первое поколение большевиков было удивительным поколением. Мы были при них совершенно спокойны.

Потом мы жили в Киеве, а оттуда перебрались ближе к Петрограду — в Лодейное Поле. Мы ехали зимой в холодной теплушке. Красноармейцы приносили кипяток и давали мне.

В Лодейном Поле мы жили с конца 20-го до середины 22-го года. Там я впервые столкнулась с вопиющим антисемитизмом в школе. (В этом городке было всего пять еврейских семей.)

Это было в первый же день. Я вошла в класс и села на свободное место. Девочка, сидевшая рядом, сразу встала и сказала, что не сядет с еврейкой. (Потом Валя стала моей подругой и завсегдаем в нашем доме.) В тот первый день учительница вызвала меня к доске и сказала классу, что они шумят, как в еврейской школе. Я швырнула мел и ответила, что шумят не в еврейской школе, а в плохой школе. В классе я сразу стала героем, а директор испугался и просил не говорить маме. Я сказала, что говорю маме все. Я стала очень хорошо учиться и завоевала класс. И по математике, и по физике я занималась с ребятами после уроков. Однажды я задержалась, и мама прибежала за мной.

Когда я уезжала, меня провожал весь класс.

С нами была бабушка, мать отца. Мама называла ее своим самым большим другом. Сначала в Лодейное Поле переехали два бабушкиных пасынка. Потом они поставили задачу вывезти всю семью. Бабушка сказала, что не поедет, если не возьмут нас из Киева. А потом мы все переехали в Петроград, в эту квартиру на ул. Марата: бабушка с дедушкой, их младшая дочка (моя тетя, на два года старше меня), два взрослых дедушкиных сына и мы с мамой. В 1934 г. мы с мамой переехали с Марата на Невский, 77 (поменяли комнату из квартиры бабушки). Дедушка умер в 36-м году, а бабушка в 41-м. Ей было 75 лет. Пасынки устроили в условиях блокады настоящие похороны. Они похоронили ее на Преображенском кладбище и горько плакали. Беллочка — дочь старшего из них, Зули, чудесного человека. Это он перевез нас 31 декабря 41 года из института сюда, на Марата.

Бабушка поздно выучилась русскому языку, но она читала газеты и однажды прочитала обо мне.

Бабушка и дедушка не требовали соблюдения никаких ритуалов. Они относились с удивлением к религиозному фанатизму. Но свечи в пятницу зажигали, а в субботу мама их гасила.

Я училась в школе в Басковом переулке, в бывшей гимназии кн. Оболенской. Кто-то посоветовал маме эту школу как одну из лучших. Вот эпизод, связанный с моим поступлением.

Это был август 22-го года. Я пришла на экзамен по русскому языку и литературе. Преподаватель, примерно моего роста, сидел на школьной парте, к нему подходили экзаменующиеся, и он ставил оценку, абсолютно ни на кого не поднимая глаз.

Я написала слово «одиннадцатая» (номер школы) с одним «н», потом поставила второе.

— Кто вам подсказал?

— Никто.

— Нет, скажите.

— Я никогда не вру.

Тут он поднял на меня глаза и понял, что я действительно не вру.

— Кто вас готовил?

— Мама.

— Скажите вашей маме: Дмитрий Павлович Белошапкин сказал, что я сдала экзамен хорошо.

Еще один эпизод. Мы кончили Чехова. Он стал торжественно к столу и сказал:

— Литературы после Чехова я не знаю. Я назову вам ряд имен, вы их читайте, но это уже не мой круг чтения.

Достоинство учителя!

Я тогда взяла Блока, с помощью мамы написала сочинение. Мама водила меня в Тургеневскую библиотеку (на Садовой, 34). Там был библиотекарь-просветитель Евгеньев-Максимов. Он дал книгу Троцкого «Литература и революция». Троцкий пишет о Блоке с восхищением, которое совпадало с моим отношением. Я прочитала доклад. Дмитрий Павлович встал и стал мне аплодировать, а за ним весь класс...

Когда мы кончали школу, для родителей устроили два показательных урока: математики (настоящий урок, который вел учи-

тель) и литературы — это был мой доклад. Он закончился под аплодисменты родителей.

В классе часто были полярные взгляды на литературу: Пушкин или Лермонтов? Блок или Маяковский? Иногда спорили до драки.

Я класс вспоминаю как какое-то поразительное явление. Мы читали журнал «Печать и революция», ходили в Публичную библиотеку. Я читатель Публичной библиотеки с 1923 г.

Музыкой увлекались очень многие, по крайней мере, треть класса. Приносили в класс ноты, обменивались нотами. Бегали в Филармонию, особенно — на Горовица. (Наш директор говорил: «Опять Горовиц?») Однажды прошел слух, что Горовиц умер и в Филармонии будет панихида. Мы сказали об этом директору школы Д. А. Александрову (отцу А. Д. Александрова, очень крупного математика, ректора ЛГУ), и он отпустил нас с занятий. Оказалось, что ничего подобного, Горовиц прожил еще очень много лет и выступал с концертами, когда ему было уже за 70.

Все любители музыки занимались с преподавателями, и я в том числе. Преподаватель консерватории Ольга Колонтаровна Колонтарова, услышав на концерте учащихся в Малом зале консерватории мое исполнение Скрябина, сказала: «Я беру эту скрябинистку в свой класс». Но я тогда уже решила поступать в педагогический институт.

Была у меня книга с обаятельнейшим портретом Скрябина, я ее очень любила. Не знаю, куда она пропала.

Шостакович в то время мне не был близок. Позже мне очень понравились его 5, 7 и особенно 10 симфония.

Главными в музыкальном звене нашего класса (те, кто потом связал свою жизнь с музыкой) были Рая Писаревская, Юня Кремлев и Витя Эдельсон. У Раи и Юни в 3 классе II ступени — выпускном — начался настоящий взрослый роман. Класс относился с уважением к этой ситуации. Оставляли их одних на перемене в классе и везде, где только можно. Никто не мешал им быть одним.

Юня Кремлев был любимым учеником Марии Вениаминовны Юдиной, но у него начался костный туберкулез и он не смог стать исполнителем. Он стал музыковедом. Он написал много книг. Музыку нового склада он не очень любил.

Он хорошо рисовал, сочинял музыку. Был заместителем директора института театра и музыки. Не признавал никакой субордина-

ции. Он говорил, что исправить людей может не Солженицын, а только что-то красивое и гармоничное. Мы с ним спорили, так как я считаю, что злу надо противостоять.

У него были замечательные аквариумы. Стены комнаты — книги и его картины. Он был на двух костылях, и я приходила к нему на много часов. Он мне звонил, что есть новые картины.

— Ты опять увлекся Ленинградом?

Он смеется.

— Это Париж!

Он выискивал там петербургские места: мост Александра III, похожий на Троицкий мост, скульптуры и т.д. Потом он открывал папку с рисунками и предлагал взять, что мне нравится.

Музыковедом стал и Витя Эдельсон, ученик Софроницкого. Он написал книгу о Рихтере. Это был очень интересный, благородный человек.

Он завоевал Раю Писаревскую, и это стало настоящей трагедией для Кремлева. Больше он никого не полюбил.

Витя 20 лет провел в лагерях и ссылке. Когда его арестовали, Рая уже не была его женой (их брак был очень ранний и очень короткий), но она была прекрасным, добрым человеком. Она помогала ему, чем могла, снабжала посылками. (Рая Писаревская стала концертмейстером в консерватории.) Вернувшись, Витя публично дал пощечину тому, кто донес на него.

Другая группа моих одноклассников увлекалась естественными науками. Среди них ставшие докторами наук геолог Юрий Арапов, физик Игорь Боровский, Миша Варганов, лауреат Ленинской премии. Из 28 человек нашего класса — 16 научных работников.

Скажу о своем бывшем муже Сергее Алексеевиче Христиановиче. Это человек очень крупного масштаба: дважды доктор наук, академик, трижды лауреат государственной премии, заместитель Туполева во время войны.

Сергей тоже был очень дружен с Кремлевым. Юня подарил нам обоим свою первую книжку, о А.П. Бородине, с такой надписью:

Серее и Дусе. / Писания эти / Примите, о други! / На память о Кузе, / На память о лете, / На память о Луге!

25/V.1934. Юня.

Сергею и Дусе.
Писали эти
Примите, о, друзья!
На память о Кузе,
На память о Лете,
На память о Лусе!

25/5 1937.

Юноя



Вскоре мы с Сергеем расстались. Мама не очень приветствовала наш брак, а бабушка и дедушка приняли идеально. И когда я разво-дилась, дедушка очень переживал.

Я давно ничего не знаю о нем. Может быть, его уже нет в жи-вых...

[Этот рассказ Д.К. записан 2/Х.1996 г. С.А. Христианович был еще жив. Он умер в 2000 году]

1996—1997 г.

[О музыке]

Я мечтала послушать Стравинского и посмотреть на него. И вот он вышел на эстраду и своей палочкой показал, где сидел Чайков-ский, с таким выражением и любви, и симпатии! Вообще концерт был блистательным, молодым каким-то. Помню, что на меня тогда Стравинский произвел просто огромное впечатление.

— Вы легко попали на этот концерт?

— Вообще не бывало, чтобы я не попадала в Филармонию.

Была «Жар-птица» и еще что-то. Я очень люблю музыку Стравинского. «Петрушку» я приняла, конечно, сразу. Я обожала его в исполнении ученика моей учительницы. Казалось, что играет не только рояль, но стены, потолок — все вокруг. Фамилия его Лесман. Впоследствии страстный библиограф.

Еще Стравинского играла Ариадна Владимировна Бирмак, она училась у той же учительницы музыки, что и я.

Потом была тогда молодая пианистка, немного старше меня, такая Зина Виткинд. Она играла часто в концертах «Петрушку». Это было великолепно. Было такое ощущение, что в вещах Стравинского слышишь весь оркестр. Это блистательный композитор.

Я училась у профессора консерватории Ольги Колонтаровны Колонтаровой.

Это было, вероятно, с 24-го по 26-й год. А потом я бросила музыку, потому что увлеклась занятиями в Герценовском институте. В 25-м году я поступила в институт, и поэтому музыка пошла у меня уже побоку.

— *Мама не возражала?*

— Она никогда не возражала, когда я решала какие-то серьезные проблемы для себя. Она советовала, какое я платье надену, но по части ни личных отношений, ни выбора профессии она не возражала. Она очень любила мое музицирование и очень жалела, что я бросила музыку.

— *Почему Вы сделали такой выбор?*

— Дело в том, что я очень увлеклась занятиями на 2-м курсе. На 1-м курсе было черт знает что, но не было ни одного специального предмета. А на 2-м курсе мы встретились с Василием Алексеевичем Десницким, с Николаем Петровичем Андреевым, и я очень увлеклась занятиями, очень. Я поняла, что совмещать их с музыкой не смогу. Я в это время была в музыкальном техникуме в Чернышевском переулке, куда поместила меня жена органиста Браудо, красавица, человек очень интересный. Это был очень хороший техникум, и там я чем-то отличилась, но все же сказала, что ухожу. Мне предложили остаться на любых основаниях, освободили от всех музыкальных предметов, кроме рояля, но я ушла. Это был 27-й год. Я музыку очень любила, но я поняла, что крупная пианистка из меня не получится, у меня очень маленькая рука. А я любила только гениальных исполнителей: была невероятной поклонницей Вла-

димира Горовица и пианистов мерила на него, и я прекрасно понимала, что ничего подобного из меня не получится. Еще я боготворила Марию Вениаминовну Юдину. Мне нужны были в музыке только великие, и я ушла — и сделала правильно.

Я стала посещать театр и Филармонию с 1922 года. С 23-го года не было ни одного выдающегося концерта в Филармонии, который бы я не посетила.

Многие годы я ходила только на хоры, по входным билетам. Мы там на полу расстилали пальто, газеты и чувствовали себя очень хорошо в лежачем положении.

На Горовица мы впервые пошли с мамой, и она купила сидячие билеты на хоры, не зная, кто он такой — какой-то пианист из Харькова. Концерт начался с «Чаконы» Баха. С первых аккордов, которые взял Горовиц, я впервые ощутила, что услышала настоящую музыку. Было ошеломление полное. И что было поразительно: в первых трех рядах сидели профессора консерватории! Но они-то знали, кого они идут слушать, а я не знала. И когда я на следующий день пришла в школу, я могла говорить только о Горовице. Помню, как мама один раз огорчилась, это было еще до Горовица, когда я пошла слушать Девятую симфонию Бетховена. Мама меня настроила соответствующим образом: сказала, что я буду слушать необыкновенное произведение. Дирижировал знаменитый тогда в Петрограде Эмиль Купер. Когда я пришла домой, я сказала, что музыка не произвела на меня никакого впечатления. Мама была очень расстроена.

На третьем концерте Горовица было столько народу, что вся Михайловская была заполнена конной милицией, потому что на улице стояли сотни людей, не попавших в Филармонию, и боялись каких-нибудь беспорядков. Так что Горовица открыла я вместе с петербуржцами. Это было ошеломление.

И второе, столь же сильное ошеломление, было в 25-м году. Я была на концерте Отто Клемперера. Это дирижер из Германии, о котором мы ничего не знали. Я рассказала о нем моим товарищам по школе, так как первая его открыла. Несколько лет тому назад мне приятельница из Германии прислала портрет Клемперера. Он был необыкновенно красив. Дирижировал без пюпитра, потому что был очень высокого роста. Я прослушала у него все симфонии Бетховена, и тогда-то я поняла, что такое Девятая симфония. И мама очень радовалась, что она до меня дошла.

А у Бетховена есть еще такая «Солнечная месса». И на нее у меня не было билета. Я прошла в гардероб на хоры и сказала: «Я уйду отсюда, пока кто-нибудь меня не пропустит в зал». И один из гардеробщиков взял меня за руку и повел на хоры, сказав, что я его дочка. Так что я прослушала «Солнечную мессу» тоже.

Моя приятельница, Фаина Григорьевна, сказала, что вторым таким дирижером после Клемперера был Караян. Но в моем сознании не было второго Клемперера и второго Горовица.

По общему признанию, это дирижер не только первого, но какого-то потустороннего плана. И так как он еврей, то ему пришлось пережить драму гитлеризма. Он бежал из Германии. Это был человек фантастического дарования. Я слушала всех приезжавших сюда дирижеров, всех. Но после войны, когда приехал очень хороший дирижер из Германии, я не могла его слушать. Для меня тогда Германия была олицетворением всего самого страшного, и связать музыку с ней было невозможно. А фон Караян был членом партии СС, и это меня отвращало. Это потом уже стало известно, что он к политике Германии не имел никакого отношения.

— *Как Вы ощущаете музыку?*

— У меня перед глазами никогда не возникает какая-то образная картина. Я воспринимаю просто звуки, просто мелодию, и мне не нужно ничего дополнительного. И даже тогда, когда появляются так называемые программные произведения, написанные на какие-то сюжеты, образы, для меня это лишнее. Не знаю, обедняет или обогащает это — но таково мое восприятие. В музыке я осталась дилетантом, но любовь моя к ней была исключительной. Я не представляла, что наступит такой момент в жизни, когда музыка не будет мной по-настоящему восприниматься.

[Пишущая машинка]

5.07.95 г.

В конце 30-х мама получает письмо из США, и в письме было сказано, что в благодарность за то, что мама работала в системе еврейского колониционного общества (потом это общество стало тем Джойнтом, о котором трубили на всех перекрестках), они хотят маму чем-нибудь наградить. Это вообще было чем-то удивительным, потому что мама работала в этой системе с 10-го года до начала 30-х годов, так как еще фабзавуч был такой еврейский. Письмо

было абсолютно неожиданным, кто его подписал, мама не поняла, но она им ответила, что благодарит за память и что было бы хорошо, если бы они могли прислать пишущую машинку. Через короткое время мы получили огромную пишущую машинку «Мерседес» с шрифтом русским и латинским. Маму страшно напугал иностранный шрифт, потому что это было в наших условиях очень опасно.

Когда мы уехали в эвакуацию в 42 году, мы этот страшный шрифт оставили у нас дома, а русский, естественно, взяли с собой. И когда находились в эвакуации, еще не в Молотове, а в селе Ильинске, об этой машинке узнали в исполкоме и очень просили продать им. И так как нуждались мы изрядно, то машинку мама продала. Но драма началась, когда мы вернулись в Ленинград. Опять всплыл вопрос с иностранным шрифтом. Настали те времена, когда было просто страшно держать такое. И мама все придумывала, что же делать, как быть, потому что это были годы, когда евреи оказались абсолютно в поле зрения, и мы ждали обыска.

В общем, мы во что-то завернули этот иностранный шрифт и выбросили на помойку.

Таковы были нормы поведения этого благотворительного общества, не совпадающие с тем, что творилось у нас.

Страх был тогда постоянным состоянием. От страха я уничтожала письма близких мне людей, в которых можно было найти какие-нибудь злободневные намеки, книги авторов, ставших опальными. Обыска ждали каждую ночь и так боялись, что, подходя к дому, часто путали инкассаторскую машину с «черным вороном». И когда я слышу, что кто-то предпочитает прошлое тому, что делается сегодня, я думаю: как эти люди не знают, через что прошло наше поколение.

[История с «Фарфоровым павильоном»]

5.07.95 г.

Среди моих друзей ленинградских был один, который приходился далеким родственником. Это человек с такой необычной немножко биографией, мой ровесник. Он был из Белоруссии, из такой традиционной еврейской семьи. Его дед, кажется, был раввином. И у самого этого Давида (назовем его так) был какой-то местечковый вид. Он был членом еврейской молодежной организации с со-

циалистическим, но более ярким национальным уклоном, чем бундовская. В 34-м году эту организацию распустили, а до этого она была легальной. Давид не имел ярко выраженных склонностей к той или иной науке, но жить как-то надо было, и он поступил на математический факультет университета. Поступил, кончил его и еще будучи студентом, не получая ни стипендии, ни какой-либо помощи, зарабатывал разными способами. В частности, он был пожарником в теперешнем Малом оперном театре, который тогда назывался Михайловским. И благодаря этому все, что было там интересного, было нам доступно. Он получал контрамарки, и я с удовольствием тоже ходила в этот театр. Его истинными интересами были интересы сугубо политические.

30-е годы — годы самых страшных процессов, и он был весь погружен в эти материалы. И он произнес фразу, которую тогда я даже не очень понимала: «10 лет жизни отдаю, чтобы попасть в архивы». То, о чем мы стали говорить гораздо позже, он сказал тогда. Он был абсолютно аполитичен в смысле официальной идеологии. Не был членом профсоюза. Не ходил ни на одно собрание. После окончания университета он работал на заводе, который носил имя Сталина. К нему неплохо относились, но он был чужеродным телом. Человек, который тогда не ходил ни на одно собрание, который презирал комсомол абсолютно, — это была не просто редкость, это была позиция исключительная. Кроме того, что он интересовался политикой (а математиком он тоже был вполне грамотным), он очень любил литературу. У него постепенно складывалась настоящая хорошая библиотека. И она служила иногда предметом подражания меня. Вот у него есть, а у меня нет. Кое-что он мне дарил, у меня есть целый ряд вещей, им подаренных. И собирал он книги, конечно, со вкусом, с превосходным пониманием — все то, что представляет настоящий интерес.

22-го числа — война, это воскресенье. 23-го понедельник, он приходит к нам с винтовкой.

— Давид, вы — с винтовкой?

— В этой войне у каждого еврея должна быть винтовка.

И он пошел в ополчение. Кстати, из ополчения завода Сталина вернулись почти все: их вскоре отозвали обратно.

Но Давид прошел всю войну. Пока я была еще в Ленинграде, до эвакуации, я иногда получала от него короткие письма, причем они

были почти все затушеваны. Он сообщал какие-то сведения, которые сообщать было нельзя. В один какой-то день, жутко морозный, я сижу в аспирантском общежитии и дежурю у телефона, сразу у входа, абсолютно укутанная. Мне муж моей приятельницы сшил варежки из тулупа. Заходит женщина, я вижу, что молодая, тоже совершенно укутанная, и спрашивает:

— Где я могу видеть ...

— Я перед вами.

— Я получила письмо от Давида Григорьевича. Он просил, чтобы я передала вам его книжку, находящуюся у меня.

Она пришла, как я потом узнала, пешком с Выборгской стороны. И она вынимает тонюсенькую книжечку — издание начала 20-х годов, где на каждой странице напечатано одно стихотворение. Книжку под названием «Фарфоровый павильон». Сочетание этих чудовищных сугробов, этого холода, моих варежек — «шубинок» и вот этой книжки, совершенно мирискуснической, эфемерной, меня потрясло. Потрясло и то, что он, будучи на фронте, на передовой, помнил о том, что может меня порадовать. И поразила меня эта женщина, которая так отнеслась к просьбе человека, находящегося на фронте. Она пешком пришла в этот сорокаградусный мороз с Выборгской стороны.

И, конечно, эта книжка была мне очень и очень дорога. Всячески дорога. Во-первых, для того времени это была невероятная вещь. Затем — название этого сборника. «Фарфоровый павильон» — и эти страшные сугробы, стрельба... И когда я уезжала в 42 году из Ленинграда, я взяла с собой считанное количество книг (что-то из малой серии «Библиотеки поэта», что-то Блока, с чем не могла расстаться) и, конечно, «Фарфоровый павильон» Гумилева.

И тут вот был еще такой эпизод. Надо сказать, что о моем отъезде я не сообщила Давиду, и вообще не было ощущения, что он жив. Это ужасно, но я ему не написала ни из Ленинграда, ни из Ильинска. Казалось, что я напишу в пустоту.

И вдруг в какой-то день я получаю от него письмо, в котором он пишет, что узнал мой адрес через Бугуруслан. Знает ли кто-нибудь о такой удивительной организации в нашей стране, где собирались адреса эвакуированных? Меня через нее нашло 14 человек. Я страшно обрадовалась, что Давид жив, и, конечно, ему ответила, чувствуя

свою большую вину перед ним. И от него пришло одно письмо, другое письмо, чуть ли не наполовину замазанное тушью. Но остались слова: «Вы скоро о нас услышите».

Я работала там, в методическом кабинете, где устроила районного масштаба институт усовершенствования учителей. А жили мы в малюсенькой кухоньке. Я пришла с работы и, пока мама там что-то готовила, на одну секунду вздремнула, и за это мгновение я увидела горящим, обугленным Давида.

Там в школе работала милейшая молодая женщина, отец которой был репрессирован (он был заместителем или помощником Орджоникидзе), Олечка Вайсман, прелестная совершенно женщина, эвакуированная с мужем и ребенком. А муж ее был фотокорреспондентом на войне. И когда она получала от мужа какие-нибудь известия, она всегда мне рассказывала. А я рассказывала о письмах от Давида. Я говорю ей, что видела мгновенный сон о нем.

Через некоторое время я получила от него письмо, на котором было число гораздо более раннее, чем то, когда я видела этот сон.

Прошло два или три месяца, писем никаких. Я написала в его часть, что прошу сообщить о судьбе такого-то. Через некоторое время меня вызывают в районный военкомат и спрашивают, был ли с моей стороны запрос, кем мне приходится этот человек. Я отвечаю, что родственником и приятелем. И мне выдают то, что называется похоронкой. Я вижу, что погиб смертью храбрых такого-то числа — того самого, когда я видела свой мгновенный сон. Я человек не мистически настроенный, подумала, что ошиблась. Пошла к Оле и спросила ее. Она мне сейчас же назвала эту дату. Давид погиб при первой попытке прорыва блокады Ленинграда в районе Невской Дубровки.

Ни писем, ни фотографий Давида у меня не осталось.

Когда я с Невского переезжала в Ульяновку и ребята связывали мои книги (приношу им низкий поклон до сих пор!), я рассказала им историю «Фарфорового павильона» и сказала, где он стоит. У меня был такой фанерный шкафчик, где стояли наиболее дорогие мне книги. Я просила отнестись к ним особенно бережно. Но «Фарфорового павильона» там не оказалось... Я думаю, что ее взяла домработница-девочка, потому что уже была не одна пропажа из этого шкафа.

27.01.94

[Портреты военных лет]

Николай Петрович Андреев

Декабрь 1941 г. Студенты сдают досрочно экзамены.

— Н.П., как Вы себя чувствуете?

— В общем, ничего, но с ногами плохо. Вот кончу лекции, а потом в стационар, в «Асторию».

— Может быть, надо сегодня, сейчас?

Он возвысил голос, очевидно вспомнив, что я его ученица, и ответил:

— Д.К., как я сказал, так и будет.

Я опешила, поняв, что перешла права ученицы.

На следующий день он позвонил и сказал, что не придет на лекцию и чтобы студенты пришли к нему в Пушкинский дом, где он был на казарменном положении. Это было их последнее занятие, и он не мог не провести его. На следующий день он умер на улице. Его занесли в какой-то дом...

А до этого был такой эпизод с ним. У нас был такой порядок: во время воздушной тревоги преподаватели вместе со студентами должны спуститься в бомбоубежище. И вот прозвучал очередной сигнал воздушной тревоги. Я пошла в аудиторию, где находился Н. П., и сказала ему об этом. Я никогда не видела его таким взволнованным и таким сердитым.

— Я прошу Вас дать мне возможность пройти на крышу, на чердак.

— Н.П., я не могу дать Вам этого разрешения, Вы обязаны сидеть в бомбоубежище.

— Я не могу там сидеть. В Пушкинском доме я всегда на крыше.

Он негодовал, когда ему пришлось все-таки спуститься, а не смотреть с крыши, куда летят бомбы и зажигалки.

Такой был Николай Петрович Андреев, совершенно штатский человек.

Иван Иванович Толстой, который читал античную литературу. Позже он стал академиком. Сын бывшего министра просвещения царской России, тоже Ивана Ивановича (у них все были Иваны Ивановичи).

Он был влюблен в античный мир, и вообще все, что не античность, казалось ему недостаточно значимым и интересным.

Он читал лекции с каким-то потрясающим вдохновением. У него была детская восторженность перед тем, что сотворили древние греки. Его лекции пользовались невероятным успехом.

Ему тоже было сказано о том, что необходимо спускаться в бомбоубежище. Он сказал, что согласен только в том случае, если бомбоубежище будет оборудовано специальным отсеком, где можно читать лекции.

И вот я поднимаюсь в свое дежурство к нему на 3-й этаж 3-го корпуса и говорю, что надо немедленно спуститься в бомбоубежище. Он отреагировал на это, как на ужасную помеху, когда так важен тот сюжет, который он излагает студентам. Но я потребовала спуститься. Он спустился почти спиной и продолжал читать лекцию на лестнице.

И действительно, в бомбоубежище оборудовали такое местечко, где студенты могли слушать Ивана Ивановича.

Он приходил всегда вовремя, аккуратно одетый, чистый, побри-тый, собранный. Никакой печати, как он живет и как голодает вместе со всеми, не было абсолютно.

Ольга Львовна Тоддес. Она заведовала литературным кабинетом. О.Л. была человеком не от мира сего. Она очень плохо видела, ходила почти ошупью. Обладала настоящим литературоведческим дарованием. Поразительно скептически относилась к самой себе и страшно увлекалась литературой, не думая ни о каких практических результатах, писала диссертацию о Чехове.

Мы с ней жили в 9 общежитии (аспирантском). Она тоже была в пожарной команде, как и я, и когда спускалась в бомбоубежище, брала туда свою диссертацию. На какой-нибудь ящик она ставила лампу «летучая мышь» и продолжала писать. Когда она дежурила, она брала свою «летучую мышь» на чердак. О.Л. была ужасно рассеянной. Она потеряла карточки, их у нее украли. И она сейчас же ушла из общежития домой. И мы поняли, почему. Она боялась, что люди начнут ей помогать и тем самым лишать себя самого необходимого. И она пришла только тогда, когда кто-то дал ей капельку дуранды, и она спекла ее и принесла нам, соседям по комнате.

Это был совершенно обаятельный человек, лишенный какой бы то ни было практической позиции в жизни. Очень остроумный, прелестный человек. Видимо, она погибла во время эвакуации, а вместе с ней и ее рукопись.

Леонид Сергеевич Троицкий. Учитель сотен учителей Ленинграда, методист. Человек невероятно талантливый. Его слушала когда-то Ида Ильинична Славина. Она вспоминает с упоением его лекции и уроки.

Л.С. тоже был в пожарной команде. (заместитель начальника), но такой невоенный, что вы даже не можете себе представить. Я помню его с обмороженным носом, но он свято выполнял свои обязанности.

Невысокого роста, приземистый, он просто действовал на людей успокоительно. Он никогда никого не обвинял, он был человек философского склада, но очень обращенный к людям. И он всегда всем нужен был. Он тоже был на казарменном положении.

У меня до войны жил дядя в Одессе и весной 41 года очень звал нас с мамой на лето. Мы чувствовали, что война на пороге, но дядя настаивал. Я сказала маме:

— Я посоветуюсь с Леонидом Сергеевичем, и что он скажет, так мы и сделаем.

И я пошла к нему специально советоваться, ехать в Одессу или нет. Он сказал: «Нет!» И мы тут же решили, что надо отдыхать поближе к Ленинграду. Тогда я купила путевку на озеро Селигер.

Совет Л.С. не был выражением абсолютной мудрости, но все же проявлением какой-то осторожности. У людей была потребность услышать от него что-то разумное, трезвое, без каких-либо элементов озлобленности...

Он жил в одной комнате с деканом Борисом Модестовичем Боровским. Им уже обоим было худо, они почти не выходили из своей комнаты. Я всегда к ним заходила. Когда начиналась бомбежка, а меня не было дома, они заходили к маме и говорили, что я в противоположном месте.

Л.С. умер в поезде, когда ехали в эвакуацию, а Б.М. умер перед самой эвакуацией.

Алексей Васильевич Десницкий. Он был какое-то время в ополчении, потом, когда упразднили его взвод, вернулся в город. Он жил на Петроградской стороне и был «связным» между теми сотрудниками института, которые тоже там жили, и институтом. Он приходил туда с Кировского проспекта (д. 73/75) и сообщал о людях, живы они или нет.

Павел Исаакович Калецкий — интереснейший человек, фольклорист. Он был выслан из Москвы в Воронеж по какому-то политическому обвинению во время своего пребывания в Московском университете. Сейчас его фамилия встречается довольно часто. Дело в том, что его выслали в Воронеж тогда, когда там был Мандельштам. И у них установились очень дружеские отношения. До сих пор не могу понять, почему я об этом ничего не знала, хотя мы с П. Ис. были в очень хороших, доверительных отношениях. Может быть, он понимал, что Мандельштам не входил тогда в поле моего зрения, я двигалась тогда в другом литературном русле.

День войны застал нас в Шапках, где я снимала дачу.

Он был, говоря на теперешнем языке, нонконформистом. Он терпеть не мог никаких распоряжений, коллективных начинаний. И не хотел участвовать в работе пожарной команды. Он считал, что это бессмысленно, как и копанье окопов под Ленинградом (это действительно было бессмысленно). И он ушел с казарменного положения домой. Телефон не работал, я пошла к нему. Он жил на Большом проспекте Петроградской стороны.

— Диночка, Вы не поражением удивляйтесь, а тому, что при всем том мы еще держимся.

Больше я его не видела. Как-то я попросила А. В. Десницкого зайти к нему. Оказалось, что он недавно умер.

Это был очень талантливый ученый, тоже прелестный человек.

В общем, по Толстому получается: кто хорош был в обычной жизни, тот был таким и во время всеобщего бедствия.

Я не видела в это время Г. А. Гуковского, но не могу представить, чтобы он не был на высоте, как об этом пишет Д. С. Лихачев. Чувство долга, ответственности было тогда всеобщим.

Вот еще один блокадный эпизод. Так как карточки часто пропадали (их крали!), надо было их регистрировать каждые две недели.

Меня послали для этого на ул. Рубинштейна в Толстовский дом. Дежурная — молодая женщина с противоголозом. К ней приходит дочка 13–14 лет. Сигнал тревоги. Мать говорит:

— Тебе пора на крышу.

Меня это потрясло.

Молодые сотрудники, аспиранты, находящиеся на линии фронта, иногда прибегали, чтобы отдать своим преподавателям буханку хлеба. Так, А.И. Груздев принес свою буханку хлеба В.А. Десницкому. Но В.А. и еще несколько профессоров уже были эвакуированы.

Перед своим отъездом в эвакуацию я пришла в институт и стала просматривать корреспонденцию. Вдруг вижу письмо с Ленинградского фронта, адресованное мне. Пишет мой ученик по фаззавучу, где я преподавала в 30–31-х годах. Он пишет в новогоднюю ночь, 31 декабря 1941 года (новогодняя ночь — мой день рождения):

«Вы, наверное, не помните меня, совершенно незаметного Вашего ученика...» Я помнила его. Письмо не сохранилось, и мне очень жаль. Это было совершенно удивительное, прекрасное письмо. Он вспоминал, что ему дали уроки литературы, самую атмосферу этих уроков, меня... И сейчас, когда до смерти четыре шага, он думает о том, что его сделало человеком.

Второе письмо от него было из Праги, от 9 мая 1945 г. Он встретился в Праге с мужем моей приятельницы, узнал мой адрес и написал мне, но так как там были намеки на что-то национальное, я в период борьбы с космополитизмом это письмо уничтожила. Просто я боялась...

Потом мы встречались здесь с ним, с его женой. Он уехал в Израиль и там умер. Последний привет я получила от него 31 декабря 67 года. Мне сказали на кафедре, что звонил мой ученик Борис Плискин и интересовался, как будут отмечать мой юбилей.

В тот день, когда он написал мне свое первое письмо, 31 декабря 41 года, я читала лекцию. Было 5–7 человек. Кажется, это был кабинет директора, где немного топили. Вдруг раздался взрыв. Кто-то заглянул в аудиторию. Потом я узнала, что это был Виктор Николаевич Бернадский. Он проверял, не попал ли сюда осколок.

В этот день последний раз горел электрический свет и последний раз топился титан в 9 корпусе.

Я эвакуировалась 28 февраля 42 г., а вернулась в июле 44 г.

В институте остались некоторые старые административные работники. Проникли и темные личности, которые потом примкнули к борцам против космополитизма. Но была и замечательная женщина, убежденная коммунистка, которая помнила Ленина в Смольном и была одержима идеей военного коммунизма. Но борьбу с космополитизмом она переживала как личную трагедию. Она потом была зав. вечерним отделением литфака. И когда она шла в столовую, то всегда заходила за мной и за Григорием Соломоновичем Рогинским и демонстративно шла с нами в столовую. Она рано умерла от рака...

[Как я была космополитом]

Это было в 1949 году. В большой аудитории за кафедрой стоял некий человек из Москвы. Он называл имена ленинградских профессоров (еврейские фамилии).

А дальше я увидела спину человека, который передал ему на кафедру мою диссертацию. Это была монография, посвященная Ломоносову. Он открыл книгу и начал говорить:

— Что она пишет! Ломоносов учился у немца Вольфа! Пусть она скажет, дорога ли ей наша русская литература!

Мне пришлось взять слово и сказать, что, может быть, я что-то неудачно выразила, но русскую литературу я люблю.

От Десницкого ждали, что он назовет какие-то имена, но он говорил совершенно абстрактно: о патриотизме, о русской науке и т. д. Ни одного имени еврейского не назвал и перевел разговор из идеологической сферы в сферу более широкую. После своего выступления он не сел на место, а пошел к выходу и по дороге кивнул мне пальцем, чтобы я пошла за ним. Мы пришли на кафедру.

— Возьми стул, садись.

Я села.

— Мне тебе нечего сказать. Я не хочу, чтобы ты слушала этих хулиганов.

Это был с его стороны героический поступок. Декан, ушел с собрания, да еще вывел с собой такого космополита, как я. Он из-за этой

космополитической кампании очень страдал. Это не было связано ни с тем большевизмом, который он когда-то исповедовал, ни с Лениным, и для него это было проявлением настоящего хулиганства.

Вскоре на кафедре арестовали одного человека, и это стало поводом для немедленной отставки Десницкого: и от должности декана, и от заведывания кафедрой, которой он руководил с основания института до 1949 г.

Заведывание кафедрой предложили А.И. Груздеву. Он не дал согласия, не посоветовавшись с Десницким, и приехал к нему. Тот сказал:

— Берите кафедру.

И пока заведовал Груздев, на заседания кафедры приходил Десницкий и сидел за тем же столиком, что и Груздев.

Меня продолжали «чистить». Вот один эпизод на ученом совете. Я сидела почти рядом с Друзиным. О нем была чудная частушка, довольно злая, которая заканчивалась так:

...А нынче Друзин всеосоюзен.

Он был заместителем редактора «Звезды» Еголина после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Что-то обо мне очередной раз произнесли — насчет немца Вольфа. Я тихо сказала Друзину:

— А между прочим, у меня написано, что Ломоносов никогда не был учеником Вольфа, а только...

Друзин тихо, но очень резко ответил:

— Не знаю, я вашей работы не читал.

Еще там выступали, и в центре была только я. Вдруг берет слово Ахаян и со своей неправильной русской речью, но с какой-то сердечной теплотой говорит:

— А почему только Мотольская? Почему не слышно Алексея Львовича Григорьева? Клавдии Степановны Анисимовой? (Они читали курс зарубежной литературы.)

Все замолкают, так как понимают, что к названным лицам это не имеет ни малейшего отношения. Принимают резолюцию, посвященную мне, где снова самым одиозным оказывается, что Ломоносов учился в Германии у Вольфа. И Друзин, который только что

сказал мне, что он моей работы не читал, когда дошло до голосования, поднял руку.

Почему я выбрала Ломоносова? Я писала работу по истории оды, и Десницкий однажды сказал:

— Тебе будет предложено написать для академической истории литературы главу о Ломоносове.

Через несколько дней меня вызвал в Пушкинский дом Гуковский и сообщил мне об этом. Я написала, и Гуковский поставил мой доклад в Пушкинском доме. Глава прошла хорошо, но Пумпянский сказал (очень мягко), что она недостаточно академична — слишком чувствуется детская увлеченность Ломоносовым. И, конечно, он был прав.

Моя глава прошла через разные инстанции и появилась в академическом издании, а я вернулась к своей диссертации об оде. Я писала очень медленно, и спустя некоторое время Десницкий меня вызвал и сказал:

— Защищайся по Ломоносову, а потом будешь писать об оде. Так решили Гришка [Гуковский] и я.

Оба они были моими оппонентами. Защита превратилась в настоящий праздник. Была масса народу: два курса, которые меня знали, пришли и из Пушкинского дома...

Гуковский сказал о моем выступлении:

— Вы говорите, как молодой бог.

Это было в 39 году. Потом появились в разных журналах мои статьи о Ломоносове. Во время войны я рассказывала о нем в госпиталях раненым бойцам. А в 50-м году, благодаря Ломоносову, я стала космополитом.

Позже я захотела заниматься Достоевским, но Василий Алексеевич сказал:

— Что ты, не берись за это!

Имя Достоевского было тогда совершенно вне науки.

Я стала заниматься революционными демократами. Они мне показались очень интересными.

Один раз выступила с докладом о Добролюбове, о его борьбе с академическими учеными, считая эту проблему очень современной. Как взвился В.А.! Обращаясь ко мне на вы, он обвинил меня в том, что я восхищаюсь недоучившимися студентами. Мне показалось это несправедливым, но спорить с ним я не могла. И я всю ночь думала: что же я сотворила?

Утром, после бессонной ночи, я еду в институт, вступаю на лестницу — вдруг кто-то меня хватает под руку. Десницкий! Он говорит:

— Я из-за тебя не спал всю ночь. Я совсем забыл, перед кем ты выступаешь. Как они все это истолкуют. Как я мог! Всю ночь не спал...

— В.А., ради бога, не волнуйтесь. Это уже прошло.

Мое будущее было очень шатким. Меня могли каждый день выгнать из института, хотя я пользовалась успехом как лектор. Десницкий испугался этого. Так старшие преподаватели думали о судьбе младших.

Я очень огорчила В.А., когда в конце 47 года подала заявление об уходе из деканата. За эти четыре года (44—48 г.) я очень устала. Вопросы с карточками, с углем, с уборкой помещений... Я сказала В.А., что больше не могу.

— Подожди, уйдем вместе.

— Поверьте, я больше не могу.

Я незадолго до того, как его сняли, ушла из деканата. В.А. не имел отношения к административным делам. Если его ругали, я тут же становилась на его защиту.

В 50-м году меня перевели на полную ставку на кафедре русской литературы (вместо того, чтобы выгнать), и это было удивительно. Однажды В.А. меня спросил:

— Скажи, пожалуйста, откуда тебя знает Арсеньев?

Это был директор Ленинградского дома политпросвещения и зам. наркома просвещения.

Дело в том, что меня пригласили в Дом политпросвещения прочитать какой-то литературный курс, который понравился слушателям. Тогда Арсеньев обо мне и услышал.

— Арсеньев встал за тебя горой и не дал уволить из института.

Арсеньев спасал кого только можно. Мы его называли «лучом света в темном царстве». Он сильно пил. Его убрали из наркомата. Какова его дальнейшая судьба — не знаю. Но светлое воспоминание о нем осталось.

В это же время (начало 50-х годов) свирепствовали по-настоящему черные силы. А ректором института стал А.И. Щербаков. Он был хозяйственником, особенно хорошо он заботился о своем соб-

ственном хозяйстве. Одна из сотрудниц месткома говорила еще до его назначения:

— А.И. демобилизовался, он едет из Германии и везет с собой все, что может пригодиться в хозяйстве.

И вот закрытое партсоборание, на котором присутствовала женщина, ставшая впоследствии моей очень близкой приятельницей. Она вызывает меня к себе и говорит:

— Ты меня ни о чем не спрашивай. Только слушай, что я скажу. Вчера на партсоборании речь шла о том, что ты скрыла свое происхождение, что ты на самом деле вышла из крупной буржуазной среды и что тобой надо заняться. Я говорю тебе это для того, чтобы ты нашла какие-то документы, которые могут понадобиться, когда начнется расследование.

О том, что я дочь учительницы, знали все, начиная с 25-го года. О том, что у меня умер отец, когда мне было 11 месяцев, — тоже. Я пошла к нам в сектор кадров, в который я когда-то сдала подлинник газеты «Бакинский рабочий», где был некролог о моем отце (ноябрь 1908 г.).

В секторе кадров мне сказали, что во время блокады все сожгли. Идти в Публичную библиотеку мне не захотелось. Потом я узнала, что с этой речью выступил Щербаков, который был почти моим ровесником и учился в аспирантуре в те же годы. Но на этом все кончилось. И в дальнейшем, встречая меня на территории института, он говорил:

— Как я рад вас видеть!

Был период, когда я думала о докторской работе по «Дневнику писателя» Достоевского, но Десницкий отрезвил меня. Можно было бы написать докторскую диссертацию о революционных демократах, но пыла у меня не было.

На 2-м курсе я увлеклась исследовательской работой. Я не представляла, как можно исследовать фольклор. Меня ошеломила тема, которую я взяла, книги, которые я должна была прочитать. Я так погрязла в этой работе, что, когда подошла к профессору Николаю Петровичу Андрееву и спросила его, ужасно дрожа и извиняясь, что я могу почитать по вопросам ритмики, он ответил: «А это что вам будет угодно, товарищ Мотольская». Я решила, что задала вопрос, абсолютно неприличный для студентки, и, конечно, нашла то,

что нужно было прочитать. И доклад у меня был хороший. Тема была — «Литературные произведения в фольклорной обработке». Это «Узник» Пушкина, «Хуторок» Кольцова. Я взяла эту тему, потому что ничего в ней не понимала. Н.П. был очень доволен. Он сказал: «Вот образец немецкой исследовательской работы». Я просмотрела 7 томов Соболевского и еще много чего. Это была хорошая студенческая работа, в результате которой Н.П., увидев меня в коридоре, где я прохаживалась со своей приятельницей, которая тоже сделала хороший доклад, отозвал меня в сторону и сказал: «Товарищ Мотольская, если вам почему-либо сейчас или в будущем придется посещать мои занятия, то я вас от них освобождаю».

Он читал поэтику и фольклор. На четвертом курсе я перестала заниматься (появились какие-то романы), и он перестал со мной раскланиваться.

[Моя подруга Ленина]

Очень талантливым человеком была моя ближайшая подруга институтская, фамилия которой Ленина. О ней был ряд статей в «Литераторе». Она погибла в дни войны. Ее муж — потомок декабриста Еропкина. Известная очень фамилия. Она была фольклористом, была поэтом, а фамилия Ленина — настоящая фамилия, и, оказывается, В.И. Ленин получил паспорт нелегальный у ее дяди, Николая Ленина. Это все было написано в «Ленинградском литераторе». В школе ее спрашивали: «Как, Ленина?!» Она отвечала: «Ленина, а не Ульянова».

Это была связанная с обсерваторией семья, которую каждый раз лишали прав, и их вызволял тогдашний президент Академии Наук Карпинский. У меня стоит ее портрет, который был в «Литераторе».

— *Как вы реагировали на то, что сажают ваших педагогов?*

— Я думаю, что их сажали чуточку позже, после того, как я кончила. Тогда очень свирепствовали среди студентов, но еще педагогов, кажется, не брали.

Мама моя была очень умным человеком, и поэтому я рано стала осознавать, что творится. Не верили ни одному политическому процессу. Вот что мама трагически пережила — это убийство Кирова. И когда его убили, это было 1 декабря, я пришла из института,

и первые слова, которые я от нее услышала, были: «Кирова убил Сталин».

На Сталина она смотрела, как на непостижимого убийцу.

— *А из маминых близких людей кого-нибудь брали?*

— Нет. Потому что таких связей, общественных, у нее не было.

[О В.А. Десницком]

В 1932 г. я поступила в аспирантуру Института научной педагогики (был тогда в Ленинграде такой институт). Занималась успешно и из-за этого попадала иногда в неловкое положение. Однажды на экзамене, когда преподаватель только мне поставил «5», слушатели буквально взбунтовались.

— Почему это только Мотольской «5»?

— Хорошо. Я такой-то тоже поставлю «5», но тогда Мотольской я поставлю «6».

Слушатели недоумевали, а я не знала буквально, куда скрыться от этого неожиданного кошмара, как освободиться от него. Я рассказала Десницкому об этом. Он сказал:

— Пиши, пиши...

И я продолжала работать. И тут выяснилось, что в Герценовском институте открывается аспирантура. Десницкий мне об этом сказал.

— Только меня переведут?

— Нет. Еще такую-то.

И он назвал ту, которая специализировалась по детской литературе и доказывала, что и в детской литературе идет классовая борьба. Это был ее основной конек. В.А. сказал:

— Она в аспирантуре будет себя чувствовать, как щука в воде.

А у меня дома эту аспирантку обычно звали щукой, потому что она всюду ощущала каких-то врагов, с которыми надо бороться.

Короче говоря, Десницкий перевел меня к себе в аспирантуру без всяких экзаменов. А там был уже 2-й курс, на котором находился уже мой сокурсник по вузу, по прежней аспирантуре. И он сказал другим аспирантам:

— Вот вы увидите: сейчас придет любимица В.А. Десницкого.

Я пришла, и буквально через несколько дней Десницкий говорит:

— Ты будешь вести занятия на дефектологическом факультете.

— В.А., какие занятия?!

— Это будет методология, но что именно, придумай сама.

— В.А., я не представляю себе...

— А я говорю тебе, что ты должна начать занятия.

И я начала занятия. Они пошли довольно успешно. Зачем это нужно было Десницкому — это только потом выяснилось.

Мы с ним наметили литературоведческую тему. Меня интересовала проблема жанра. И Десницкий согласился. Я взяла жанр как будто простой — ода XVIII века. Но к сроку не успела.

Когда дело шло к концу аспирантуры и когда приехала комиссия, чтобы определить, кого куда, В.А. пришел и сказал:

— Вот этих двоих (меня и еще одного аспиранта) — я растил для себя, для нашего факультета.

И они записали, что по требованию Десницкого два человека остаются за факультетом.

Мы с мамой совершенно успокоились. Через какой-то маленький срок приходит из министерства распоряжение: моего приятеля — в Мордовию, в Саранск, а меня — в Каракалпакию, в г. Куркуль. И тут же друзья-аспиранты изобразили карикатуру: как я сижу на двугорбом верблюде и как из корзины торчит Аристотель — «Art poetica».

Десницкий был возмущен до крайности. Он сказал:

— Приходите оба. Я напишу протест.

В.А. никогда сам не писал. Он спросил:

— Ты будешь записывать?

А его записывать было почти невозможно. У него была такая образная речь, такая удивительная жестикуляция, что его не в состоянии были записывать стенографистки. А тут я сама должна была что-то записывать. В это время наркомом просвещения был Бубнов. Десницкий говорит:

— А я его когда-то знал, и он меня знал. Сейчас продиктую личное письмо Бубнову и скажу, что такое, когда отказывают руководителю в его просьбе.

Он диктует со всякими ультиматумами, что он прекратит воспитывать молодых научных работников, если на его просьбу никак не будут реагировать.

Я писала какие-то отдельные слова-вехи, потом восстановила его речь. Приятель мой одобрил, а Десницкий сказал:

— Первый раз вижу свою речь записанной так точно.

И послал Бубнову. А у меня направление в Каракалпакию было как издевательство, потому что теорию литературы в подавляющем большинстве вузов не преподавали из-за отсутствия преподавателей. А в Каракалпакии нужна была русская грамотность, а совсем не теория литературы.

Пришел ответ не от Бубнова, а из наркомпроса: «Оставить в распоряжении факультета такого-то и такую-то». Это было в самом конце августа 36 года. Все лето мы, конечно, волновались, особенно мама.

То ли 30, то ли 31 августа звонок по телефону. Звонит секретарь:

— 1-го сентября в 9 часов утра приходите читать лекцию по теории литературы.

— Что вы говорите? У меня еще никакой договоренности о нагрузке...

— Это необходимо.

1 сентября в 9 часов утра я прихожу на первую лекцию и узнаю, что та преподавательница, которая должна была читать этот курс, арестована и что я обязана вызволить факультет. Курс был колоссальный — 200 с чем-то человек.

И я начала читать. Лекция прошла удачно. Что же касается той, которая была арестована — это по принципу случайности. Она была 100%-ной коммунисткой. Ее фамилия Ангелович. Звали ее Кларой. Я присутствовала на ее экзамене, среди вопросов был такой: «Облай Плеханова». И студент должен был облайть Плеханова. В нашей аспирантской среде ее звали «Ангелица Дьяволович». То есть ничего, кроме иронии и даже какой-то доли озлобления, она у нас не вызывала. Когда я, бывало, уходила с заседания кафедры, она звонила мне домой и спрашивала у мамы, пришла я или нет. Мама начинала волноваться, если я еще не пришла, но потом привыкла и стала относиться к ее звонкам спокойно.

Она была намного старше меня и служила верой и правдой тому же самому большевизму. Когда мы между собой говорили: за что же ее арестовали, кто-то высказал такое мнение: может быть, если го-

лосовали за примусные иголки, и, возможно, она проголосовала не за то, что нужно. Больше она в институт не вернулась.

И через много лет Десницкий меня спросил, знаю ли я, кто писал на меня доносы и кто оклеветал меня в наркомпросе? Это была Клара Ангелович.

Ясно было, что по квалификации она совершенно не подходит, а был у нее в запасе только партийный билет и желание расправиться с врагами. Я была признана врагом...

Через много лет ее реабилитировали, но я с ней не встретилась и даже не очень хотела бы встретиться. Думаю, что и она тоже не хотела, потому что я была совершенно безопасна, совершенно не думала о том, чтобы как-то утеснить ее. Ахаян ее, кажется, видел, а больше никто не видел.

А та, о которой Десницкий сказал, что она будет себя чувствовать как щука в воде, присматривалась ко мне, и когда я была замужем, очень интересовалась моим мужем. Ей хотелось узнать, кто он такой. Я знала, что она относится ко мне очень уважительно. Но мы никогда не были в человеческом контакте.

Она латышка была. Вдруг арестовывают ее мужа, и все от нее отворачиваются. И единственный человек, в ком она встретила сочувствие, была я. Она меня пригласила к себе, рассказала о своей приемной дочке...

Ее исключили из партии, отправили не помню куда.

Через много лет мы встретились. Она работала в Двинске, мужа ее уже реабилитировали, и она сохранила просто трогательное отношение ко мне, потому что, кроме меня, ни один человек на ее несчастье не откликнулся. Она была из какого-то политпросветского учреждения и работала очень честно над детской литературой. Диссертацией даже не пахло, но ее держали. К студентам она относилась неплохо. Никакой близости между ней и В.А. Десницким не было. Она была парторгом кафедры.

С тех пор я и начала преподавать теорию литературы, с сентября 36 года. Но у меня уже был опыт работы на дефектологическом факультете — В.А. хотел закрепить меня в институте. Просто трогательное какое-то отношение, удивительное. На дефо я тоже фактически преподавала теорию литературы, но тогда это называлось методологией. И я тоже говорила о Плеханове и о многих других критически, но «облая» у меня не было.

Я готовилась к каждой лекции по 4–5 дней. Мне было ужасно страшно. А вообще эти два года мне потом очень пригодились в стаже, без них у меня не было бы 40 лет.

Институт фактически был организован Десницким. Он воспользовался помощью Горького, который очень хорошо к нему относился. Когда В.А. вышел из партии в 1918 г., он был одержим идеей просветительства. Ему страшно хотелось, чтобы все стали по-настоящему цивилизованными людьми. И В.А. создал этот институт, пригласил туда на работу прекраснейших преподавателей из знаменитого Тенишевского училища. Среди них был Фихтенгольц, замечательный математик, географ отличный... В общем, это был первый вуз, созданный в советское время, в 1918 году. А в 20-м году исполнилось 50 лет со дня смерти Герцена. В.А. был очень увлечен Герценом и предложил назвать институт его именем. И с 20-го года институт носит имя Герцена. Его знали по всей России. Московские пединституты по популярности абсолютно не шли в сравнение с нашим. Это я очень хорошо почувствовала в дни эвакуации.

В 1948 г. мы отмечали 75-летие В. А. Его старейший ученик Касторский подготовил такое великолепное юбилейное празднество! Было более 500 телеграмм, были замечательные приветствия: Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского — это все так называемые формалисты, с которыми Десницкий полемизировал, но все они друг к другу относились с очень большим уважением.

Десницкий был человеком удивительно остроумным, находчивым. Причем все всегда произносил очень строго, очень сдержанно. С ним очень считался директор института Федор Федорович Головачев. Его безумно боялись люди с кафедры педагогики, потому что он совершенно великолепно умел поиздеваться над педагогикой. К нему очень хорошо относились и Голант, и Ганелин, и вся кафедра педагогики, но всегда боялись его язвительности.

Он был один из первых, кто понял, что подошла борьба с космополитизмом, когда перепутали двух Веселовских — Александра и Алексея, для которого русская литература была детищем литературы зарубежной.

Преподаватели марксизма (он их называл «деятели культа») боялись его глубоких знаний и иронии. Бывало, скажет что-то и как будто смажет их: «А, это деятели культа...».

В.А. был очень красив. Он работал вместе с Горьким в издательстве «Всемирная литература». Однажды там сидят и ждут Горького Шкловский и Жирмунский. И Шкловский говорит Жирмунскому:

— Вот ты сейчас увидишь человека с красивым византийским лицом.

И входит Десницкий (он всегда был в темных очках) действительно с красивым византийским лицом.

Выйти из партии в 18-м году было очень смело, и как его не посадили, это даже как-то комментировалось в собрании сочинений Сталина, потому что фактически газету «Новая жизнь» редактировал Десницкий. И это было очень страшно при «Несвоевременных мыслях» Горького. Как-то раз я сказала ему:

— В.А., вы бы написали воспоминания!

— Что ты говоришь! Ты понимаешь, что ты говоришь?

Его били бесконечно то за одно, то за другое. Но, слава богу, не посадили. Это было даже непонятно, потому что считалось, что «Новая жизнь» выдала секрет партии, что восстание будет 25-го октября.

Вообще у В.А. была такая тенденция: если кого-то за что-то выкидывали (например, когда Томашевского изгоняли из университета), он тут же подхватывал его и назначал на какой-нибудь спецкурс. Томашевский был очень дружен с Десницким.

В.А. был оппонентом на докторской у Бялого, у Макагоненко, у Мордовченко... Их уже нет. Маркович — уже другое поколение, и Десницкого, пожалуй, уже никто не знает...

Добавим к этому рассказу Д.К. еще один эпизод, связанный с В. А. Десницким, — его доклад в Пушкинском Доме в феврале 1937 года (100-летие со дня гибели А. С. Пушкина). «Я помню его фразу: "История всех европейских стран стала подножием памятника Пушкину". Это звучало в те годы кощунственно. Тогда для меня мой учитель В. А. Десницкий заслонял всех. Он был на подъеме нового отношения к литературе... В его докладе и в докладе В. М. Жирмунского вульгарный социологизм был опрокинут и сметен: никаких социологических выводов, а тем более домыслов. Были формулировки всемирности Пушкина, было ощущение вечного и непреходящего.

...Я говорила тогда своим студентам: «Пушкин — единственный в истории человек, дата смерти которого отмечается как жизнеутверждающая дата. Светлая дата*».

Памяти Василия Алексеевича Десницкого посвятила стихи Роза Борисовна Заборова (студентка Д.К. с 1934 г.). Там есть такие строки:

Сверкала речь его, остра
Познаьем истины, добра.
Навек единство «Пушкин — мы»
Впитали юные умы.

P.S. Добавим еще немного к рассказам Д.К. о В.А. Десницком. Многие помнят, с каким восхищением она говорила о его библиотеке, о его выставке книжных переплетов от XV до XX века, с супер-экслибрисами пап, кардиналов, королей и разных именитых людей. О Десницком-библиофиле можно прочитать в книге Ф.Г. Шилова «Записки старого книжника» (М., 1965): «Он начал собирать книги с юных лет, еще в семинарии, собрал их изрядно, но его собрание было расхищено. С начала революции он снова начал собирать, делая это с большим знанием и вниманием.

В настоящее время библиотека Десницкого является одним из лучших частных собраний, где имеются вещи действительно уникальные, напечатанные иногда лишь в единственном экземпляре. Есть там, например, книги на пергаменте с великолепными миниатюрами XV века, целый ряд отличных инкунабул... Ныне после смерти В.А. Десницкого его собрание целиком перешло в библиотеку им. Ленина».

* Эти воспоминания Д.К. записала Е.М. Таборисская и поместила в сборнике научных статей, изданных Петербургским институтом печати в 2000 году.

Воспоминания о Д.К.



О моем старшем друге

И. И. Славина

Когда я оглядываюсь на свою длинную жизнь, мне кажется, Дина Клементьевна была в ней всегда. Во всяком случае, во все важнейшие ее моменты на протяжении шестидесяти с лишним лет.

Я поступила на литфак в 1939 году. Дочь «врагов народа», имевшая по результатам экзаменов средний балл 4,9 и две записи в экзаменационном листе о блестящем ответе — по литературе и математике, — я тем не менее не попала ни в первый список принятых, ни в два дополнительных. Уже сворачивала свои дела приемная комиссия, когда вывесили еще один список из трех фамилий. Так я стала студенткой. Только полвека спустя, в 1990 году, когда мне понадобилась для пенсии справка о том, что я два года училась на дневном отделении, узнала я о мужественном поступке своих будущих учителей: да, я была вроде зачислена, получала стипендию, даже при введении платы за обучение была от нее освобождена. Но, как выяснилось в Архиве, ни в одном приказе по Институту и факультету на самом деле я не числилась. Некий студент-невидимка. Я спросила у Д.К., и она спустя столько лет призналась, что группа преподавателей — профессора Б.М. Боровский и Б.А. Ларин и два доцента, она и Л.С. Троицкий, под впечатлением отзывов экзаменаторов о моем сочинении и устном ответе, экзаменаторы были тогдашние аспиранты, а впоследствии большие ученые, Владислав Евгеньевич Холшевников (литература) и Анастасия Петровна Евгеньева (русский язык), — восстали, когда узнали, что я из-за своей анкеты не принята в Институт. Тогда и составилась заговор, о котором, конечно, знал директор Института, но и — официально — не знал. А мои учителя буквально взяли меня на себя: оказывается, и стипендия, и плата за мое обучение шли из их общего кармана.

Не буду рассказывать о преподавании Дины Клементьевны — об этом расскажут другие. Остановлюсь на тех страницах ее жизни, свидетельницей и участницей которых довелось быть из ныне живущих только мне.

Война. В первые же дни я добровольно пошла в армию и уже 24 июня стала санитаркой эвакогоспиталя № 2015. Он располагался на ул. Восстания, в здании 209-й школы. Прошло полтора месяца,

очнулся тогдашний «Первый отдел» госпиталя и, ознакомившись с моей автобиографией, распорядился о немедленной отставке возможного «диверсанта». Я вернулась в Институт, где на казарменном положении оставались многие студенты и преподаватели. Дина Клементьевна с мамой Софьей Моисеевной жили в аспирантском общежитии, напротив исторического факультета, тогда корпуса № 6. В подвале этого корпуса располагался так называемый «нижний тир» (в отличие от «верхнего», занимавшего чердак другого корпуса). «Нижний тир» был огромен, тянулся подо всем зданием. Здесь мы до войны сдавали обязательные стрелковые нормы ГТО. Теперь же я застала бывший тир уже разделенным переносными перегородками на три части. Самый дальний, третий отсек служил общежитием для казарменников — студентов и преподавателей, мужчин и женщин. Кто спал на большом рулоне бумаги, постепенно худеющем. Кто — на топчане, пока его не сожгли. У кого-то была кровать. Разгораживались, как могли: занавесками, самодельными ширмами. Поселилась здесь и я, войдя в группу «пожарников». Ну, а назначение первых двух отсеков выяснилось позднее, когда начались бомбежки города.

Как известно, первые бомбы упали на город 8 сентября. А дальше они сыпались с неизменным постоянством. Вот когда выяснилась предусмотрительность руководителей институтского ПВО. Первый отсек тотчас стал бомбоубежищем, и не только для своих. Сюда направляли и всех мечущихся прохожих с улицы Плеханова. Отсек второй использовался как аудитория, ибо занятия в перерыве между бомбежками и обстрелами продолжались. Более того, четвертый курс решено было выпустить досрочно, полугодом раньше, ведь школы, особенно сельские, обезлюдели: учителя-мужчины ушли на фронт. Профессорские кафедры выглядели необычно, рядом с книгами и рукописями появились неожиданные предметы: к примеру, у Л.С. Троицкого — пожарная каска, у проф. Николая Петровича Андреева — щипцы и огромные варежки, чтобы схватить зажигалку и погрузить ее в песок. Дина Клементьевна не бежала на крышу по тревоге, ее роль была иной: она должна была «работать с населением» — с испуганными людьми, подчас с плачущими детьми, которые самотеком спасались в тесном отсеке нашего тира. Поверьте, это было совсем не просто — успокоить, утешить, отвлечь и вызвать улыбку, а иногда так заинтересовать рассказом, совсем далеким от про-

исходящего, что люди на время забывались, заслушавшись мирного голоса миниатюрной, на редкость спокойной женщины.

Не помню точно когда, кажется, в начале августа 1941 года, большую группу студентов отправили копать окопы и противотанковые рвы под Лугу. Дину Клементьевну назначили к нам своеобразным комиссаром: она формировала бригады так, чтобы они оказались укомплектованы людьми и равными по силам, и, по возможности, совместимыми по характерам. Никто бы не посетовал, если бы Д.К. просто командовала. Но она, вооружившись лопатой, чуть ли не выше ее ростом, вгрызалась в землю наравне со своими студентами. Собственно, именно там и тогда мы подружились не столько как учительница и ученица, а просто как разновозрастные люди, которым хорошо быть вместе. Фронт был рядом. Он был слышен. Над работающими то и дело на бреющем полете проносились вражеские самолеты, иногда прожигая пулеметной очередью, от которой прикрывались черенком все той же лопаты. Но работа продолжалась, пока не пришла весть, что немцы прорвались. Вернуться в Ленинград, увы, удалось не всем.

В августе еще можно было эвакуироваться. Но вслед за руководством города, развернувшим патриотическую пропаганду, большая часть населения, и мы в том числе, считали отъезд неким предательством. Впоследствии то обстоятельство, что не была проведена массовая эвакуация, обернулось для Ленинграда бедой. После уничтожения в сентябре главных запасов продовольствия в полностью окруженном городе с почти трехмиллионным населением начался голод. Мы, казарменники, были прикреплены к магазину-столовой, который размещался в доме, где был кинотеатр «Баррикада». Там дополнительно к продовольственной карточке можно было получить иногда горячее блюдо за полталона, а то и вовсе без карточки кусок дуранды (жмыха) или пакетик шрота (нарезанной мелко травы, в том числе крапивы). А иногда отоварить купоны на курево шоколадом. Обычно в близкий, но тогда казавшийся нелегким путь с продовольственными карточками, не только своей, но и Дины Клементьевны и ее мамы, отправлялась я, за что именовалась гордо «кормилицей». Опасной эта дорога стала, когда пал г. Пушкин, а за ним и Пулковое. Начались обстрелы города. Однажды, едва я вышла из магазина, как туда влетел осколок снаряда. Но это была обычная блокадная проза. Все равно, пока ма-

газин-столовая не закрылся в декабре, я продолжала туда исправно ходить.

Расскажу еще о двух эпизодах блокадных дней. Первый — очевидно, в конце сентября—начале октября, когда еще на улицах можно было увидеть не только собак и кошек, но и лошадей-тяжеловозов, заменявших тягачей, пожирателей бензина. Кто-то ворвался в общежитие-бомбоубежище с криком: «У Казанского собора лошадь разорвало!» (что осколком снаряда, было ясно). Все бросились на улицу, несмотря на предупреждение по радио об обстреле квартала. Я примчалась туда слишком поздно. От лошади (конина!) остались только кровавые пятна на мостовой. Давно я так горько не плакала, а Дина Клементьевна и ее мужественная мать утешали свою неудачливую кормилицу.

Второй эпизод относится к самым трудным дням декабря, когда были перебои с электричеством на хлебозаводах и три дня карточки на хлеб (те самые 125 грамм) отоваривали горсткой муки. На каменном полу тира была сделана из кирпичей подставка под большую кастрюлю. Огонь поддерживали бумагой, щепками. Около него грелись, как у костра. А те, кто «скинулся», варили из муки затируху и честно, по ложкам делили горячее варево. Именно в те дни затеяли девочки вспоминать, кто что ел в стародавние дни и как это готовилось. Многие, в том числе я, завели тогда свою рукописную поваренную книгу. Отсюда был один шаг до голодных галлюцинаций. Спас нас Борис Модестович Боровский. Наш обожаемый замдекана был настоящим ученым. В первые месяцы войны он защитил вторую докторскую диссертацию и стал, таким образом, доктором и филологических, и исторических наук. На вопрос, насколько это уместно в такое время, отвечал, что именно в дни напряжения всех сил страны каждый ее гражданин тоже обязан жить и работать на пределе. В декабре Борис Модестович слег. Его перевезли почему-то не в комнаты аспирантов, а в наше общежитие-бомбоубежище. Никогда не забуду, как однажды, в момент наших воображаемых кулинарных увлечений, с железной койки, на которой он лежал, раздался негромкий, но все заглушивший голос:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

За одними стихами следовали другие. Они звали от быта к бытию. Стало как-то стыдно за свою уступку голоду. Помню, мне немедленно захотелось поделиться своими переживаниями с Д.К. Отправилась в общежитие — и надо же! — в этот самый момент у еле светящей коптилки мои дорогие женщины читали блоковские стихи о России.

Я не уехала в эвакуацию вместе с институтом. Уже не ходила. Затем были Боткинские бараки и Госпиталь ленинградских рабочих в Красноярске, потом учительская работа в крае.

Встретились мы с Диной Клементьевной в 1948 году. Виделись не часто: рано овдовевшая, я растила сына и пережила еще два ареста и две ссылки вернувшейся было из лагеря мамы.

Они были разные, эти встречи по меняющимся адресам Д.К.: на углу Невского и Пушкинской — на Ульянке — на Марата. И вместе с тем неизменные по родственности, радушию и огромному духовному богатству, которое я получала от нашего общения. В этом доме, по какому бы адресу он ни находился, почти всегда было многолюдно. Коллеги, ученики, бывшие и настоящие, их мужья, жены и дети, друзья ее друзей, раз встретившись с ней, возвращались сюда неизменно. Роли не играли ни возраст, ни профессия, ни, уж конечно, национальность — сейчас думаю, что магнетизм ауры Дины Клементьевны заключался в том, что в ее окружении интересен и необходим оказывался каждый. И не только ей, но — через нее — и ее близким. Так «подарила» мне она своих друзей, а я, в свою очередь, привела к ней своих. Энциклопедизм и широта интересов воспринимались всеми как нечто для нее естественное. Ее библиотека, открытая для всех, была отнюдь не узкоспециальной. До сих пор помнит мой сын, как на ее полке обнаружил ставшие любимыми три тома Мирослава Зигмунда и Иржи Ганзелки «Африка грез и действительности». Его поразили иллюстрации — с «картинок», как он говорил, началось и чтение. А рядом стояли и «Жизнь животных» Брэма, и серия книг Перельмана — «Занимательная математика», «Занимательная физика», «Занимательная астрономия», и невероятное «Путешествие на Кон-Тики» Тура Хейердала, и его же «Ра». Это то, что увлекло моего сына. Другие — дети и взрослые — открывали иные страницы.

Дина Клементьевна была из тех «шестидесятников и шестидесятниц», которые с началом хрущевской оттепели сбросили с себя

пути сталинского страха. В ее единственной комнате собирались, обсуждая, вплоть до самого мелкого шрифта, свежие номера «Нового мира», спорили, читали стихи из только что вышедших тонких сборников, которые сами завсегдагаи и приносили в дом, пополняя библиотеку Д.К. С ее легкой руки я (и не только я) стали многолетними подписчиками того единственного журнала, который сплотил вокруг себя всю думающую и ищущую интеллигенцию. К «Новому миру» тянулись, «чтоб не пропасть поодиночке», открывая для себя Трифонова, Тендрякова, Лакшина, Лотмана, Окуджаву, а позднее — Солженицына. После новомировской рецензии на книгу Лебедева о Чаадаеве я именно в доме Д.К. впервые по-настоящему познакомилась с нашим первым «Чацким», а его слова — «Я не научился любить родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами» — долго стояли у меня на письменном столе, помогая снимать бельмы с глаз.

Так случилось, что мы с Д.К. почти одновременно потеряли своих мам. Моя умерла после шестилетней прикованности к постели в 1964 году, Софья Моисеевна — в 1967-м. Но у меня оставалась забота о сыне, а у Д.К., которая, в сущности, пожертвовала ради матери своей личной жизнью, образовалась ничем не заполненная пустота. В эти годы мы особенно сблизились. Много лет она никуда не выезжала на лето, чтобы не оставлять мать даже на попечении преданной домработницы. И вот теперь начались наши первые общие поездки на отдых. Два лета подряд — в 1968 и 1969 годах — мы были в Усть-Нарве. «Заманил» нас туда мой большой друг Яков Юлианович Алтаев. С ним я познакомилась в эпоху «позднего реабилитанса» в доме Бори Полякова, моего ученика и как бы приемного сына. Борю, вернувшегося из армии с миопатией (постепенное отмирание мышц), Алтаев по-отечески полюбил и находил огромное удовольствие в длинных беседах с ним. А поговорить им было о чем. В прошлом петербуржец, Яков Юлианович на каникулы неизменно приезжал из Москвы в Питер к друзьям своей юности — профессору-юристу Шаргородскому и профессору-философу Рамму, Бороному дяде. Самому ему стать ученым не удалось. Его студенческие занятия в Ленинградском университете оборвались в 1926 году. Меньшевик, он был тогда арестован впервые. А всего арестов было четыре. Он отбыл полный срок в Воркуте, а последние годы перед реабилитацией провел в Ухте. Человек огромного

мужества, эрудиции и юмора, он после первого же знакомства стал своим в кругу самых близких друзей Д.К. И вот теперь на отдыхе они, оторвавшись от остальных, вышагивали по бесконечному пляжу и все не могли наговориться. Рассказчиком Яков Юлианович был первостатейным. Жалею, что не записывала. Один эпизод почти дословно вошел в роман Бориса Полякова «Опыт и лепет», в котором Алтаев стал прототипом Силина. Роман, изданный в 1985 г. в Израиле, малодоступен нашему читателю, поэтому хочу процитировать с небольшими сокращениями этот рассказ.

«...Я уже в который раз слышу об этой цепочке событий: сначала Бейлис, а потом война. В первый раз... услышал от одного заключенного. Фамилия его была Федоров. И был он священником. Мы с ним рядом в Воркуте на нарах лежали и постоянно спорили. Но он очень интересно судил обо всем, что не касалось религии и атеизма. Вот стало нам с некоторым опозданием известно о деле врачей. Пятьдесят третий год. Январь. Прогуливаемся мы после работы по «как-стрит» (протоптанная в снегу дорожка между двумя уборными, там только и можно было поговорить без посторонних), и Федоров мне говорит: «Все, Семен Львович, помяните мое слово: папеньке нашему крышка!» — «Почему?» — спрашиваю. — «Почему вы так думаете? На это уже тридцать лет все надеются». — «Нет, — говорит, — теперь уже все! Потому что он на евреев замахнулся. А евреи — богоизбранный народ. Евреев трогать нельзя». (Далее излагалась целая концепция священника, пропущу его теоретические построения.) «Смотрите, чему история учит: где евреев бьют, там вскоре и расплавляются: Испания в XV веке изгнала евреев и перестала существовать как государство. Гитлер обрушился на евреев — и нет его. Русский царь обвинил Бейлиса в ритуальном убийстве. Бейлиса суд оправдал, но признал, что ритуальное убийство вообще-то у евреев есть. И кара пришла незамедлительно: война и революция. Теперь вождь пролетариата взялся за евреев. Ждите, ему капут». Ну, я посмеялся, конечно. Проходит два месяца. Март. Опять гуляем с Федоровым по «как-стрит». Он мне говорит: «Ну что, Семен Львович, прав я?» — «Прав, — говорю, — в том, что евреев всегда били на изломе».

В романе сохранены стиль и интонация Якова Юльевича очень точно. Так что не случайно в Усть-Нарве, куда я приехала с сыном, мы были с Д.К. вместе и не вместе, — нас заслонил Алтаев своими

россыпями рассказов «на случай». В последующие годы он все труднее дышал, жил только у друзей на даче, и как-то так получилось, что в Усть-Нарву мы больше не выезжали. И хотя быт на этом эстонском курорте был не обременителен, продукты великолепны, — но для Д.К. без Алтаева пропала вся привлекательность места. Мне кажется, что Яков Юлианович был одним из первых вернувшихся из сталинского ада, с которым познакомилась Д.К. Позднее, когда возник «Мемориал», появились у меня, а следовательно и у нее, новые живые свидетели из Архипелага ГУЛАГ. Среди них человек фантастической судьбы — Семен Яковлевич Меребург, с которым Д.К. подружилась с первой встречи. Вообще к этим людям она проявляла особый интерес.

В наших летних поездках, а потом и совместном отдыхе на даче открылись новые грани характера, привычек, повседневного существования Д.К.

Летом 1971 года, пока женившийся сын не сделал меня бабушкой, задумала я большое путешествие по Сибири, отчасти сентиментальное, — по местам, куда меня забросила после Красноярского госпиталя война, а частично — туристско-познавательное, — дальше, к Байкалу. Д.К. загорелась, ей захотелось принять участие в этой поездке. Решила к нам присоединиться и Тамара Васильевна Чирковская. Разумеется, от состава «команды» заметно менялся туристский характер поездки. Д.К. стукнуло 64, а Тамаре Васильевне и того больше — 68. Но я понимала, что без «паровоза» моим дорогим дамам никогда не увидеть мест, знакомых лишь по печатным текстам.

Мне выпала роль квартирмейстера, обеспечение билетами на любой вид транспорта да и разработка всего маршрута. Мои старшие спутницы азартно готовились быть, по возможности, гидами. Поездка не просто удалась, она стала на много лет темой рассказов и веселья при воспоминании о неизбежных приключениях и злоключениях. Д.К. ни при каких условиях не теряла чувства юмора. И как это облегчало наше непростое странствие!

Только два примера. Ночная посадка в поезд Новосибирск–Иркутск. Состав проходящий. Большой. Он не поместился на платформе. Наш вагон — последний. Ступеньки чуть ли не на уровне моих глаз. Я забрасываю багаж в гамбур, а вот поднять грузную Тамару Васильевну — или даже Д.К. — не могу. До отхода поезда счи-

танные минуты. Но мои спутницы спокойно ждут разрешения ситуации — то ли не понимая ее остроты, то ли в силу своей воспитанности. В отчаянии я издаю вопль: «Мужчины!!!» Спящий вагон пробуждается. Чьи-то сильные руки поднимают моих путешественниц, втаскивают за ними и меня. В купе мы буквально давимся от смеха, а возглас «Мужчины!» превращается в некий девиз на все время трудного пути.

Второй пример. Тамара Васильевна покинула нас в Абакане. И мы с Д.К. отправились в Туву на автобусе через перевал вдвоем. В России по сей день проблема с уборными. Но при «технических» остановках на перевале эти проблемы начинались чуть ли не от ступенек автобуса, ни разу до самой уборной мы так и не смогли пройти. Мне невольно вспомнилось, как на пути в эвакуацию староста товарного вагона командовал: «Мужчины — налево, дамы — направо!», и все усаживались вдоль вагона рядком. Дине Клементьевне очень понравилась эта команда, и теперь она, как староста, громко ее возвещала, и, что самое смешное, все ее слушались. В столицу Тувы мы приехали поздно вечером. В гостинице мест не было. Наконец нам предложили «люкс». Мы обрадовались возможности помыться, по-настоящему отдохнуть. Не тут-то было. Горячий кран не работал. Лампочка в номере светила вполнакала. Только утром мы обнаружили, что белье для нас (и только ли для нас!) не меняли. Реакция могла быть разной. Реакция Д.К. была — смех.

А какая жажда познания! Тамара Васильевна еще из Ленинграда договорилась о встрече в Иркутске с сибирскими поэтами (тогда в двух столицах с упоением читали и смотрели пьесы безвременно погибшего сибиряка Вампилова). Из Иркутска на Байкал мы уезжали нагруженные сборниками, и там Д.К. устраивала вечера сибирской поэзии.

Мы жили на турбазе, тогда единственной на побережье Байкала. Путешествие вдоль берегов озера раз в четыре дня осуществлял небольшой пароходик «Комсомолец», кают в нем не было. От водного путешествия пришлось отказаться, удалось съездить только на один из островов — Ольхон. Там мы впервые попробовали у рыбаков знаменитого омуля, и то потому, что к самодельному копильному агрегату из металлической бочки подошла, любопытствуя, Д.К. — и нам было предложено угощение. Турбаза предоставляла только жилье, но наша филологиня оказалась весьма подготовлен-

ной к знакомству с природой Байкала. Мало того, что она объясняла нам с Тamarой Васильевной, как возникли «шагающие» деревья, узнавала в совершенно трансформированных растениях и цветах родственников нашей северной флоры. Каким-то образом она разыскала старую травницу, с которой мы ходили по лесистым берегам и узнавали особые силы знакомых и обычных, но могучих здесь трав. Вообще у Д.К. обнаружилась необычайная способность заводить знакомства. Уже вернувшись с Байкала, на теплоходе, идущем по Ангаре от Иркутска до Братска (следующая точка нашего маршрута), она так заинтересовала собой директора Братского алюминиевого завода, что мы все трое стали гостями в его доме, а он — неутомимым гидом по молодому городу. И никогда бы нам не попасть в машинный зал Братской ГЭС или в цеха БРАЗа, никогда не узнать столько про этот удивительный город и про каждый из его неповторимых районов, если бы не эта встреча. Так что ни разу не пожалела я, что отправилась в путешествие с дамами, казалось бы, вовсе не туристского склада и возраста. Да и «зигзаг» в Туву — не моя идея: она пришла в голову именно Д.К., и уже в Абакане. Быть так близко от этой экзотической страны, которая только во время войны вошла в состав Советского Союза, и не повидать ее — это вздор! Она и в тувинском столичном Городском музее сумела так очаровать своей заинтересованностью зрителя шаманского зала, что мы вдруг оказались в кабинете директора музея и познакомились с одним заправдашним шаманом (директор был переводчиком). Короче, наше путешествие во многом было бы не столь насыщенным, если бы не ненасытная страсть Д.К. к новым впечатлениям.

Прошло время. Расскажу немного о жизни на даче в 1992–1994 годах. У меня была от «Мемориала» комнатка с верандой в трехкомнатном доме дачного кооператива в Комарово. В лесной части, вдали от моря. Где-то между Комарово и Репино. Удобства минимальные. Печное отопление. Но все-таки не город, чистейший лесной воздух. Дина Клементьевна, которой пошел восьмой десяток, ходила уже с тростью, обратив в нее высокий зонтик. Все эти три года она проводила со мной на даче целый месяц. В ее распоряжении была комната, в моем — веранда. Но это условное деление — только на ночь. Днем именно веранда была столовой, гостевой, игровой. Д.К., как известно, любила готовить, но на даче она полностью

передавала мне поварские обязанности, может быть, оттого, что она неуютно себя чувствовала на коммунальной кухне, где все толпились у одной плиты. Программа дня не отличалась разнообразием. После завтрака мы отправлялись в магазин за хлебом, творогом и сметаной, иногда шли в ближний, иногда, специально для удлинения моциона, — в дальний, в район станции. На этом постоянное расписание заканчивалось. Лесную охоту Д.К. не любила, это я — лесовик. Но обычно, пользуясь тем, что, в отличие от моего старшего друга, я «жаворонок», к завтраку удавалось принести чернику или малину. По грибы отправлялась только когда Д.К. уходила или уезжала в гости. Жажда общения, привычка к многолюдью толкала ее к многочисленным визитам. По соседству с нами жила ее приятельница и сослуживица по Герценовскому институту Ревекка Лазаревна Златогорская. Преподаватель французского и немецкого языков, автор многих методических пособий. Обе были неутомимы в разговорах, спорах. Ревекка Лазаревна, замечательный ходок, несмотря на возраст, утаскивала Дину Клементьевну то к «будке» Ахматовой, то на ее могилу, то в Репино, где в пансионате жили их общие знакомые. Иногда в дальний путь отправлялись мы вдвоем — на дачу к Тамаре Васильевне Чирковской, к Марку Григорьевичу Качурину. Среди новых заинтересовавших ее знакомцев, живших тоже неподалеку, но в собственном доме, была семья Слободиных: весьма пожилая пара, Мария Васильевна и Яков Михайлович, и их сын Владилен. Яков Михайлович — научный сотрудник Технологического института, уже на пенсии, Мария Васильевна — сначала смолянка, затем бестужевка, позже работник одного из издательств, их сын — геолог. Такое или иное, но общество для нее и для меня находилось постоянно. А если в какой-то вечер мы оказывались одни, то после информационных выпусков разных «голосов» мы садились играть. Надо сказать, что игроком Д.К. была страстным; она и в игру вкладывала всю мощь своей натуры. Множество разнообразных игр в «слова», в которых, каюсь, я никогда не побеждала (чем вызывала радостный смех соперницы). Шашки и поддавки (здесь мои шансы были сильнее). И, что меня поразило в первый наш дачный сезон, а потом стало привычным, — это пасьянсы. Д.К. меня заразила ими. Но когда я, по академической привычке, стала читать литературу о пасьянсах и познакомилась с величайшим их множеством, то должна признаться, что о таких,

которые раскладывала Д.К., я не прочла нигде. Нигде не описан, в частности, «павловский» пасьянс, названный по имени его создателя академика И. Павлова; не зафиксирован и «пасьянс для двоих», который одновременно является и игрой на быстроту соображения, умение просчитывать много ходов вперед. Каюсь, я и здесь не поспевала за своей учительницей.

До самого моего отъезда на ПМЖ в Германию мы виделись очень часто, а уж по телефону беседовали — ежедневно. В трубке звучало ее «И-и-и-душка!» — и начинался нескончаемый разговор. Обо всем.

Д.К. была очень привязана к своим родным. Она ведь и из отдельной квартиры, полученной ею, перебралась на Марата, не потому, что хотела вернуться в привычный район, а чтобы помочь племяннику Боре улучшить квартирные условия. Она и мою семью, как многие семьи своих учеников-друзей, включила в родственник круг. И я обязательно должна была рассказывать о сыне, невестке, внучке, она знала на память все их дни рождения, радовалась их успехам. В юности, увлекшись фотографией, мой сын принес ей свои фотовпечатления о «Золотом кольце». Одна его работа ей особенно понравилась и, конечно, была ей подарена. Она всегда висела у нее на входной двери. Перед моим отъездом Д.К. сняла ее и протянула мне — будто предчувствуя, что я не смогу приехать проститься с ней. Теперь колокольный звон, которым проникнут этот пейзаж, звучит у меня, напоминая об обыкновенном, земном и редком человеке — Дине Клементьевне Мотольской.

Д.К. путешествует...

Взгляни, читатель, на карту Советского Союза и прежде всего удивись. На такую карту нанес (далеко не все!) точки путешествий Дины Клементьевны студент Политеха и мой ученик Манас Сеферян.

Но начало было другое: когда стали собирать «Сборник воспоминаний», увидели в комнате Д.К. целую полку путеводителей, скопившихся за жизнь, и переписали в беспорядке в тетрадь «Адреса ее путешествий». Потом Лена Ярош, моя ученица, «развела» эти названия по географическому принципу, т.е. по регионам. Как уж сама карта изменилась за перестройку, тебе и объяснять не нужно. Прости нас за неполноту и неточности. Но — удивись.

Самое потрясшее Манаса путешествие — поездка на Байкал с «зигзагом» в Туву (через перевал от Абакана на автобусе):

— И можно было поехать?

— Да, можно.

В течение года откладывалась какая-то доля зарплаты (Д.К. из доцентской, все остальные — тоже «бюджетники», слово сегодняшнее, а понятие советское — из учительской) — и на летнее путешествие хватало.

На Байкал в 1971 г. отправились втроем: Д.К. и Тамаре Васильевне Чирковской было в это время за 60, а самой молодой, Иде Ильиничне Славиной, описавшей это путешествие, — 50 лет. От Абакана на автобусе через перевал отправились уже без Тамары Васильевны. Она «сошла с дистанции», вернулась домой.

А. П. Чехов, который отправился в одиночку на Сахалин, на берегу Байкала выпил запасенную в Москве бутылку шампанского. Они вспомнили об этом слишком поздно и пожалели, что не могут последовать его примеру.

Самое последнее путешествие, в 80 лет, (по условиям комфорта — легкое) Д.К. совершила к родным в Америку. На самолете, разумеется!

Каждое лето она отправлялась в путь. В основном поездом, автобусом или на пароходе. Если ввести какую-то классификацию, то прежде всего — путешествия литературные. Пушкинские места: Пушкинские Горы, с Псковом, Изборском и Печорами, конечно. Гоголевские: это Нежин, Миргород, Полтава, Прилуки. Приплюсуем сюда Киев. Некрасовская Карабиха. Тургеневское Спасское-Лутовиново.

Ясная Поляна, в которой теперь так замечательно хозяйствует Владимир Толстой, прикативший из Франции сохранять (но сумел и приумножить) прадедово наследство. И единственный из всех директоров музеев-усадьб (поверим телевстрече и газете!) он преуспел в деле усадебного возрождения. Все продолжается: сев, сенокос, пасутся овцы, коровы дают молоко, курицы несут яйца, не вырубают и не продают лес, а молодые посадки заменяют умирающих лесных великанов. В полном порядке дом Л. Н.: на том же месте клеенчатый диван, на котором Софья Андреевна рожала ему детей, и рояль в гостиной, на котором играли Гольденвейзер, композитор Танеев и другие музыкальные знаменитости, сам Л. Н. и члены его семьи. Новое не в толстовской усадьбе, но за воротами с башенками, значит, возле нее — это кафе, гостиница для посетителей и еще кое-какие удобства, которых не было, но построил Владимир Толстой.

Кто едет в Ясную Поляну, уж, конечно, Тулу не минует, и Д.К. Тулу посетила.

Не поехать в Нижний Новгород (тогдашний Горький) и не увидеть каширинский дом и красильню она не могла. По дороге, когда плыла по Волге, побывала в Ульяновске.

Прибалтику и упоминать неловко: все интеллигентные ленинградцы в ту пору отдыхали в Юрмале, Паланге, Эльве.

Литва — это непременно Вильнюс и Каунас. Иногда театралы ездили и в Паневежис, на спектакли Мильтиниса и Някрошюса. (Но времена меняются, и нынче фестиваль спектаклей Някрошюса был уже в нашем Балтийском доме.) Витражи в маленькой церкви Каунаса; Зоологический музей — собрание и создание Тадауса Иванаускаса, где не могла не поразить Д.К. невероятная коллекция бабочек, привезенных со всего мира путешествующим одержимым ученым. Музей Чюрлениса, по залам которого Д.К. прошла несомненно. Наконец — Музей чертей, единственный в мире. А уж концерты колокольных звонов двух потомственных органистов, отца и сына, Виктора и Гиедрюса Купрявичусов, собирали толпы слушателей и всегда непременно кончались долгими, нескончаемыми аплодисментами. Могла ли в этой толпе не оказаться Д.К., истинная любительница музыки? У этого чуда есть продолжение в наше время: в Петропавловке играют на карильонах, которые нам подарены бельгийским мастером, открыта школа карильонного искусства.

В Эстонии москвичи и ленинградцы отдыхали в Эльве, а на маленьком, в шесть вагончиков, поезде Тарту–Валга ездили в Тарту (Дерпт), чтобы исполнить ритуал: подняться на Тооме-мяги, спуститься с горы, открыть дверь старинного университета, выпить чашечку кофе «У Вернера»... У себя мы рестораторов по именам не знали. Да и были ли они? В Таллин, нашу тогдашнюю Европу, ездили пройтись по узеньким улочкам, посмотреть на город с высоты, погулять в парке Кадриорг у моря, посидеть в кафе, купить замечательные ремесленные изделия: рукавички, носки. И Д.К. тоже их покупала.

Непременно назовем Ригу с Домским собором акустики поразительной, где наша музыкантша была на концерте.

Литературно-культурное окружение Москвы: Абрамцево, Коломна, Таруса и Окский заповедник посещены не в одно лето. Путешествующие в те времена (да и сейчас) ездили по Золотому кольцу: Владимир, Суздаль, Ярославль.

Но в Киргизию два раза (к Лёне и Милочке) во Фрунзе (теперешний Бишкек) и на озеро Иссык-Куль — туда мало кто добирался. А Среднюю Азию с Ташкентом, Самаркандом и Бухарой посещали е-ди-ни-цы. А для нее после Средней Азии уже Тбилиси и Ереван были не дальний свет — близкий.

Заповедник Аскания-Нова с его девственной степью. Памятные места Минусинска, Шушенское, так называемые Ленинские места — всюду она побывала.

Черноморским побережьем не удивишь: куда и поехать мокнущему под дождями ленинградцу греться, как не в Крым, в чеховские и волошинские места? По теплomu Днепру от Киева (дом-музей Булгакова на Андреевском спуске только готовили к открытию) до Очакова. По Волге от Ленинграда до Астрахани.

Сегодня сказали бы «круто»: она проплыла по Енисею от Красноярского края до острова Диксон; по Оби и Иртышу. А после «крутого» Енисея неловко называть туристские Петрозаводск и Кижы. Д.К. была в советских Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Звучит. Весомо и удивительно.

Остановимся, чтобы не наскучить читателю перечислением. Любопытная и любознательная, она открывала миры природные, архитектурные. Но главное — людей, с которыми с первой минуты легко вступала в контакт и очень часто приобретала друзей, и отношений этих — дальше уже не теряла.

* * *

...Хочу напомнить Вам, что во Львове у Вас есть друзья, которые Вас помнят и всегда с радостью встретят.

От Думарвских. 25.XII.75 г.

...Надеюсь, что эта маленькая книга напомнит Вам о Ярославле и вызовет желание снова приехать к нам. Очень буду рада Вас видеть.

...Летом обязательно приезжайте к нам в Самарканд. Вы видели, как у нас чудесно.

...Очень все ждем Вас в Москве...

...Возвращаясь из Одессы, мы делаем малюсенький крюк, заглядываем в Л-д, подхватываем Вас и — уже вместе — летим во Фрунзе.

11.07.74. Лёня, Мила

Буду счастлива, если Вы выберетесь ко мне в Арзамас

Ваша Катя Тунева. 1994.

В мыслях часто вижу Вас здесь, в Стерлитамаке, в своем доме...

Всегда Ваша, Римма

Желаем весенней бодрости, которая в Вас так заразительна, и путешествий, которые Вы так любите.

Ваши Володя и Эля

Вспоминают пермские студенты

Облагораживающее обаяние

Л. А. Шейман

Самое, наверное, светлое и сильное воспоминание у студентов первого военного выпуска филологического факультета Пермского университета — это счастье общения с Диной Клементьевной Мотольской. В 1943–1944 годах она читала у нас курс истории эстетических учений, вела семинар по русской литературе пушкинской эпохи и вместе с покойным Борисом Павловичем Городецким руководила работой студенческого кружка. А в 1945 году, ненадолго приехав из Ленинграда, куда успела к тому времени вернуться, готовила нас к экзаменам, читала обзорные лекции, принимала участие в работе государственной экзаменационной комиссии...

С первой встречи все мы подпали под неотразимое и облагораживающее обаяние личности Дины Клементьевны. Нас, конечно, не могли не пленить высокий профессионализм, теоретическая глубина, «глобальный», как сказали бы, вероятно, сегодня, художественно-культурный диапазон ее лекций и бесед. Подробнейшие, почти стенографические записи ее лекций (текст которых восстанавливается по черновикам коллективно!) хранятся у нас всех до сих пор и продолжают нести свою просветительную службу. И до сих пор мы обращаемся к мыслям, наблюдениям, замечаниям, высказанным в тогдашних научных докладах Д. К. Мотольской и в ее выступлениях по ходу обсуждения студенческих работ. Но все-таки главным для нас явилось гармоническое единство в Дине Клементьевне удивительной душевной красоты, пламенной и твердой гражданственности, а также очень органичного и неизменного эстетического восприятия действительности. В любой ее — не то что лекции, но даже и случайной реплике, казалось, отвечивал целый мир животрепещущих общественных, нравственных, литературных проблем, пропущенный сквозь призму ее темперамента...

Что и говорить, почитали мы многих наших профессоров — ведь среди них кроме названного уже Б. П. Городецкого были С. С. Мокельский, С. С. Данилов, А. Н. Савинов, А. Ф. Шамрай, Г. А. Замя-

тин, Н. П. Обнорский, И. М. Захаров, Р. Р. Гельгардт, М. А. Генкель...

Но мы больше всех любили Дину Клементьевну. Она была для нас не только образцом советского педагога и ученого, но и высшим авторитетом в вопросах совести и чести. Мы были непоколебимо уверены: на абсолютную кристальную искренность и страстную убежденность каждого суждения нашей «Диночки» всегда можно положиться!

Прошло более трех десятилетий. У многих из нас — не одна сотня своих учеников, ставших педагогами-литераторами. Но и сегодня для нас самым авторитетным судьей наших самых ответственных поступков остается неподкупное, доброе и строгое, искрящееся вечной молодостью слово Дины Клементьевны.

1978 г., г. Фрунзе

Помню еще Ваши слова о моем протопопе Аввакуме

Э.А. Полоцкая

Мое первое впечатление от личности Дины Клементьевны относится к январю 1943 г. в Пермском (тогда Молотовском) университете. Опоздав на ее первую для меня лекцию по древнерусской литературе, я стояла у двери аудитории и прислушивалась к ее звонкому голосу. Это был второй ее предмет (первый был посвящен теории литературы). Тогда, видимо, я и запомнила на всю жизнь диалог протопопа Аввакума с женой по пути из Москвы в Сибирь (но на современном языке):

- Долго ли муки сея, протопоп, будет?
- До самых смерти, Марковна, — ответил он.

И жена ответила:

- Инда побредем, Петрович.

И неудивительны строки одного из писем Дины Клементьевны ко мне 2002 года: «Помню даже Ваши слова о моем протопопе Аввакуме, и мне они очень дороги». Подобная взаимная память студента и преподавателя о давней его лекции в данном случае — удивительна.

Как и большинство преподавателей историко-литературного факультета, Дина Клементьевна была эвакуирована в Пермь из Ленинграда (да и нас, студентов, из разных городов страны было не меньше, чем местных). Большинство из нас жили в общежитии, и Дина Клементьевна со своей матерью, эвакуировавшиеся из Ленинграда, — тоже. Они часто нас приглашали к себе и угощали то блинчиками, то другой вкуснотой... Когда к концу войны мы разъехались по разным городам, общение с ними не прекращалось.

Одним из самых, точнее, самым любимым учеником Дины Клементьевны был Лёня Шейман, которого мы тогда называли «академиком», настолько он был сведущ в филологии, и не только в ней. Он и стал впоследствии академиком Московской академии педагогических и социальных наук и заслуженным учителем Киргизской республики, где многие годы жил в г. Фрунзе (теперь — Бишкеке). Дина Клементьевна гордилась им и тяжело пережила его уход из жизни — за несколько месяцев до своей кончины.

Возвратившись в Ленинград, Дина Клементьевна продолжала преподавать в Педагогическом институте им. Герцена. Тогда же возвращались домой из Перми студенты-питерцы: Инна Левит, Мила Друскина, Евгений Марцинкевич и многие другие. Общение Дины Клементьевны с московскими, киевскими и другими бывшими пермскими студентами продолжалось долго, а с некоторыми — до конца ее жизни.

Мы с ней встречались после Перми иногда в Ленинграде. Незабываема наша долгая прогулка пешком к Михайловскому замку. А какой радостью для меня было всегда ее появление в Москве! Не забуду, как она помогала мне в моих муках над заглавием книги о Чехове для московского издательства «Советский писатель». И это она, а не я нашла точное название для моей первой монографии: «А.П. Чехов. Движение художественной мысли» (1979). Когда из Питера переехала в наш город Мария Леонтьевна Семанова, мы с Диной Клементьевной ходили к ней в гости. Помню, как в один из чудесных солнечных дней по дороге к Марии Леонтьевне мы с ней стояли, облокотившись о какую-то стену, и наслаждались мороженым. Не могу представить никого из преподавателей в такой ситуации...

Но неожиданно — и для нас всех, знающих ее, и для нее самой — она была уволена с работы («по возрасту»), получив, кажется,

именно в этот страшный для нее день в дар от Б. Егорова один из Блоковских сборников. Услышав от нее об этом «уходе», я вздрогнула: стало жаль ее и страшно за студентов. Хорошо хоть, что какое-то время она еще продолжала на почасовой оплате свой курс «Введение в литературоведение». В. Сажин в «Невском времени» (2005 г., 18 июля) вспоминал, как перед лекцией для первокурсников своего «Введения в литературоведение» она неизменно рассказывала о новостях в литературе, с точными оценками их идеологического содержания. Помню и я, как ее возмущало резкое отношение официальной критики к «Новому миру» Твардовского.

Наше личное общение с Диной Клементьевной длилось долго, вплоть до 1996 г., когда я была на Чеховской конференции в Питере. Помню, как она живо интересовалась докладами конференции, посвященной 100-летию «Чайки», и, в частности, моим — о балете, созданном М. Плисецкой и Р. Щедриным.

Любовь к жизни во всем ее великолепии при критической оценке некоторых проявлений ее политических сторон — свойство, присущее Дине Клементьевне. При этом прежние контакты с молодежью она сохранила до конца своих дней. Ее ученица Галина Золотухина в последние годы была почти ежедневно при ней, помогая, чем могла, в том числе в ее переписке с друзьями и учениками. В общении со мной, как, вероятно, и с другими близкими ей лицами, Дина Клементьевна предпочитала, когда могла, письмам — телефонный разговор. До конца жизни она помнила имена моих детей и внуков. И всегда проявляла интерес к моим работам.

А как ее радовали письма, в которых я иногда цитировала стихи новых авторов! В последних письмах Дины Клементьевны были слова благодарности за наши поездки (давние, конечно) в Мелихово, за посещение Дома-музея Чехова на Садово-Кудринской, дом 6, где он жил, и т.д. Глубокое знание своего предмета и политической ситуации в стране удивительно сочеталось в Дине Клементьевне с человечностью и добротой.

Спасибо судьбе, что она свела меня с такой необыкновенной личностью, как Дина Клементьевна Мотольская...

Ноябрь 2006 г.

Какой же это был год?..

Е. В. Марцинкевич

Во-первых, я хотел бы отметить великолепную мысль создать сборник памяти Д.К. Это не только потому, что она этого заслуживает, но и потому что вместе с нею в нашу жизнь вошла такая пора, эпоха, как теперь сказали бы громко, период постижения русской культуры XIX в. и начала XX. Для моего поколения — людей, начавших учиться в университете в 41–42-х гг., это было целое событие. И мне чрезвычайно радостно, что сборник может состояться.

Память — это вещь странная. Она держит какие-то эпизоды, а связь между этими эпизодами уходит, и поэтому я только отдельные моменты из тех далеких лет сейчас напомним и расскажем.

Какой же это был год? Конечно, 42–43-й год. Тогда наш Ленинградский университет разделился на две части. Одна уехала в эвакуацию в 42-м году в Саратов, другая — чуть позже, уже к осени 42-го, переехала в Пермь. Тогда город этот назывался Молотовом. И я, проучившись несколько месяцев 42–43-го года на филфаке Саратовского университета, переехал в Молотов для того, чтобы продолжать учение там. Это не был Молотовский, это был уже наш Ленинградский университет, наш филологический факультет на базе Молотовского университета. Он тогда громко назывался именем Горького. Так вот, деканом факультета у нас тогда был профессор Городецкий Борис Павлович. Он читал нам и XVIII век, и XIX, Пушкинскую и Гоголевскую эпохи, и для нас, молодых людей того времени, надо отметить — с некоторой усмешкой моих нынешних 80 лет — он был бог. Мы были влюблены и в то, как он рассказывал, каким образом вел свое повествование, как любил раскладывать книжечки, которыми пользовался в своей работе, как он любил зачитывать цитаты, — ну, в общем, мы его боготворили.

И вот в один прекрасный день (это уже был январь/февраль 43-го года) он привел к нам на занятия нового педагога. Молодая женщина, невысокого роста, такая кругленькая, полненькая, очень динамичная, вошла вместе с ним. Он, высокий приятный мужчина, казался рядом с ней в годах. Ей было тогда лет 35, не больше. И он представил нам ее: новый педагог; теорию литературы, вопросы эстетики и некоторые темы литературы XIX в. будет вести у вас Дина Клементьевна Могольская. И начались занятия. Я по сей день пом-

ню даже не то, что она рассказывала, сколько то, как она говорила. Была какая-то удивительная прелесть в ее звонком голосе (она сохранила эту звонкость до глубокой старости). И поразила точной законченностью своих фраз. Вспоминая пушкинское «как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», надо сказать, что у Д.К. не было никогда никакой ошибки. И это было настолько музыкально, настолько точно строилась по повышению голоса фраза. Затем она шла к концу, появлялась запятая, придаточное предложение и в финале точка. Это говорилось со вкусом. Мы учились не просто теории литературы, мы учились тому, что значит самооценность слова и предложения в русской речи, благодаря примеру, который являла сама Д.К. Она осталась для меня одним из самых высоких образцов.

Там, в Перми, собралась довольно любопытная компания людей преподающих. Классическую филологию и латынь вел у нас Сергей Петрович Обнорский (высокого роста, уже в годах), человек колоссальной культуры и ума и знания античности. Он был педантичным человеком, всегда замечал все наши ошибки не только в латыни, но и в произношении, в построении фраз, в различного рода стихах.

Все нормальные ребята были в армии, а не совсем нормальные, глухие или полуслепые, вроде меня, — таких было пятеро. Первым учеником был Лёня Шейман. Лучшим и у профессора Городецкого, и у Д.К. Вторым был я, неизвестно почему. Какие-то заслуги отмечали и Борис Павлович, и Д.К.

И было трое молодых людей, писавших стихи: Виткевич, Шабранский, Илья Окунев. Они все окончили более или менее благополучно и разбежались по стране... Это был уже 45-й год... А тогда они все писали стихи. Это давало повод Городецкому подсмеиваться над тем, что это «разнообразный пейзаж». Шейман писал эпиграммы, а Д.К. говорила, что в поэтическом мире всегда бывали дилетанты, которые ничего не достигали, но всегда двигали развитие искусства. Это и ценно. Молодые поэты были благодарны ей за поддержку.

Д.К. вела у нас курс по Чехову. Рассказы Чехова, не пьесы. При этом в современном чеховедении я такое встречал очень редко. Предтечей такой работы, лишенной социологии, марксистских формулировок, был именно ее курс. Я и сегодня помню ее анализ

«Дуэли» и «Палаты № 6». Поэтому я и выбрал для своей дипломной работы (это был уже 44/45 г.) именно рассказы Чехова. И писал ее всю эту зиму. А Д.К. к этому времени уже вернулась в Ленинград, приступила к своей работе в Герценовском институте. Я отправил ей на отзыв — она была официальным оппонентом и рецензентом моей дипломной работы. Живо помню, как проходила защита диплома. Нас было всего 15 человек: 5 парней, остальные — девицы. Вытаскиваю № 1. Итак, должен защищаться первым я. Вторым оппонентом был Сергей Петрович Обнорский, которому я приволок 300 с лишним страниц печатного текста за два дня до защиты. Он посмотрел на меня с изумлением: «Неужели Вы думаете, что я смогу все это прочитать?» И я крайне удивился, увидев его на защите с написанным уже отзывом о внимательно прочитанной, а не бегло просмотренной работе, с пометками в тексте. А от Д.К. вовремя пришло письмо с очень хорошим отзывом. То, что Д.К. отметила, осталось мне на всю жизнь очень дорогим воспоминанием. Она подчеркнула тогда, что одно из условий самостоятельной работы — способность войти в мир, в образную систему, в стилистическую манеру автора, о котором пишешь. Это значит найти себя в нем или его в себе, и с этого начинается самостоятельная жизнь. Она это отметила, и, честно говоря, я прыгал от радости. Некоторое время я еще оставался в Перми.

Надо отметить еще одну деталь не учебной жизни, но она очень хороша, эта деталь. Это был 44 год. Тогда мы были увлечены постановкой пьесы Островского «Бесприданница». У нас была руководительница, бывшая актриса, был состав студентов, игравших в пьесе.

Д.К. помогла в создании точности рисунка каждой роли... Она не отнеслась к этой студенческой самодеятельности снисходительно, поверхностно, а очень внимательно вслушивалась на репетициях в то, что мы делали. И, кстати, тогда возникла идея представления каждого исполнителя той или иной роли. Мы выходили по очереди на авансцену перед занавесом и произносили самые характерные слова героя. Скажем, для меня, игравшего Паратова, такими словами были (я их и сейчас помню): «Что такое “жаль”, я, господа, не знаю». Это была подсказка Д.К. Получился хороший спектакль. Кстати, первой заметкой Лёни Шеймана в пермской «Звезде» была именно рецензия на спектакль. И единственная фра-

за, которую редактор заставил сочинить, это что большинство участников этого спектакля — Ленинские и Сталинские стипендиаты.

Я вернулся в Ленинград уже женатым человеком. Это был 46-й год, осень. Благодаря Б.П. Городецкому, тут же начал работать лектором в концертном учреждении. Это было 60 лет назад, когда я впервые вышел на сцену. К сожалению, Д.К. меня никогда не слышала со сцены. Правда, ей сплетничали обо мне. Яков Семенович Билинкис работал рядом внештатным лектором, часто слушал меня и пересказывал Д.К. И когда я приходил к ней, она пересказывала мне, что сказал обо мне Я.С.

Конечно, тот круг способностей, который отличал Лёню Шеймана, — круг совершенно исключительный. Лёня был любимым учеником по оригинальности способностей, которые ему были даны природой. Он тоже занимался лекторской работой в Одессе до того, как переехал в свой Бишкек. И был там одним из известных лекторов. А потом занялся своей научной работой. Он часто писал Д.К. А мне незачем было писать, я просто приходил или мы разговаривали по телефону. И встречи наши продолжались довольно долго, где-то до 80-х годов. Потом мне стало по 25 причинам труднее приходиться. Но тем не менее приходил и всегда дивился тому, что, несмотря на возраст, на слепоту, глухоту, она никогда не разрешала мне помочь накрыть стол к чаю, принести чайник из кухни в ее комнату, сама все делала и говорила, что она сама принесет, сама поставит, нальет, вот только покажите, куда налить. Очень четко помнила, где что у нее лежит — какие книжки, какие тетрадки, письма. И просила прочесть что-либо из той или иной статьи или книги. Вот такой она осталась у меня в памяти. Такой же труженицей. С таким же звонким голосом. И я искренне признателен судьбе, что она дала мне в свое время не просто учительницу, педагога, который заботится о знаниях, а человека, который пробудил во мне ощущение того, что значит русская литература для духовной жизни каждого русского человека. Вот эта человеческая, нравственная духовная сторона была для меня, может быть, важнейшей в жизни.

Филологи Сорок Первого

(Гимн-кантата пермских студентов)

Расцветали яблони и груши,
Занялся над Камушкой рассвет,
Выходили на Берлин «катюши»,
Мы кончали Университет...

Нас растила староста Катюша,
Нам Обнорский «Энеиду» пел,
Нас кормил горошницей Добрушин,
Мы вкушали шпиг и «УПД».

Нам читали польский и немецкий,
Не щадя ни времени, ни сил.
Нам БП — профессор Городецкий
Все секреты Пушкина раскрыл.

Перед нами щеголял Мокульский,
Нам Захаров отдавал досуг...
Все мы — дети Диночки Мотольской;
Ведь она — наставник наш и друг!

Нас пленял Паратов-Марцинкевич,
На Ларису глядя как пират,
Нам Шабранский, Окунев, Радкевич
Посвящали жар своих баллад.

Сам Ботвинник или сам Ильинский
Забегали к нам на огонек.
А сильфиды сцены Мариинской
Нам дарили трепет нежных ног.

Никогда не били мы баклуши,
Мы срубили мегатонны дров.
Заучили мы, «солены уши»,
Миллионы лекционных слов.

Знали мы, всё лучшее — на Каме —
Альманах «Прикамье» и «Звезда»;
Бредили мы все Березниками,
Слушали далекие суда...

От Перми Второй — до Разгуляя,
От Заимки — к самому ВМАТУ
Мы ночами в праздники гуляли,
Распевая песни на ветру.

Мы юны — и все нам будет внове,
Чудеса подстерегают нас:
Ждет Владимир — Шуру Вишнякову,
А Туневу Катю — Арзамас.

Ждут Тамару камские камни,
Ждут ребята — каверзный народ.
(Нам дождаться б тридцать пятой смены —
И она нас снова соберет!)

Новые откроет жизни грани
Валя, позабыв про «месяца»,
И забросит мелодраму Франя —
Лингвovedов гордость и краса!

Женю ждут, Егорову, картины,
Савинов ей все отдать готов: —
Всех полотен диапозитивы,
Пантеон березовых богов.

Ждут кого-то юрты на Тянь-Шане,
Школы, клубы — на Неве-реке...
А пока мы все — молотовчане
И вступаем в жизнь мы налегке.

Вышли мы из лет огня и стали,
И пройдем мы сквозь столетий дым...
Свой журнал мы «Молодость» назвали, —
Значит, быть нам вечно молодым!

Расцветали яблони и груши,
Занялся над Камушкой рассвет.
Ты нам дружбу подарил и душу —
Вечно здравствуй, Университет!

Май, 1980, Фрунзе

Воспоминания разных лет

Очень маленькая, хорошенькая, совсем молоденькая...

Е. Михайлова

Среди 200 человек — шумные, подчас бесцеремонные, чуть-чуть воображающие ленинградские школьники; взрослые, достаточно степенные, уже обучавшиеся на педологическом факультете, ликвидированном к тому времени; выпускники педагогических техникумов, успевшие вкусить опыт общения со школой; скромные, трудолюбивые девочки, выпускницы сельских школ, кстати, потом во многом опередившие городских.

Чуть ли не в первый день занятий всему курсу дали новое испытание (экзамен?): мы писали изложение отрывка из воспоминаний Поля Лафарга о Марксе. По результатам этой работы (учитывались культура речи, стиль изложения, грамотность, общее оформление, даже почерк) нас «расфасовали» по группам. Ужасно задирали нос до первой сессии 1-я и 2-я группы. Впрочем, не напрасно: занимались мы хорошо.

...В огромной аудитории I корпуса, где около доски были подмости, а на них стояла кафедра, две сотни новеньких студентов ожидали НАЧАЛА. Вдруг на возвышение взбирается и подходит к кафедре очень маленькая, хорошенькая, совсем молоденькая женщина и звонким, почти девчоночьим голосом здоровается с нами. Легкий шум в аудитории и вздох удивления. Это Дина Клементьевна Мотольская, и ныне здравствующая (31 декабря 1996 года ей исполнится 89 лет). «Поэтика» — так назывался ее предмет (теперь это «Введение в литературоведение»).

Да простят меня за вульгаризм, но эту огромную аудиторию (повторяю — 200 человек) она «согнула в бараний рог» за какие-нибудь 20–30 минут и покорила навсегда. После каждой лекции она непременно говорила нам или об открывшейся новой выставке, или о премьере в театрах города, или о появившихся в Доме книги новых изданиях.

Наша первая студенческая лекция была и для Дины Клементьевны первой преподавательской лекцией аспирантки Василия Алексеевича Десницкого. Это о ней он сказал после защиты диссертации: «Она — дитя моего сердца».

Дом на Марата и дом на Мойке, или Сюжет о бродячих сюжетах

Е.А. Мовчан (Дымшиц)

Есть люди, которые проходят через всю вашу жизнь; и даже если вы редко встречаетесь или на какое-то время совсем теряете их из виду, они все равно живут где-то внутри вашего сознания, время от времени возникая в памяти. Таким человеком была для меня Дина Клементьевна Мотольская — тетя Дуся. В моей семье Дину Клементьевну почему-то называли Дусей. Она была близким другом моего отца — Александра Львовича Дымшица. Они вместе учились в аспирантуре Герценовского института, там подружились, и дружба их никогда не прерывалась. Существует семейная легенда, что своим именем — Елена — я обязана как раз Дине Клементьевне, что когда я родилась, они с папой решили подыскать мне достойное имя и с этой целью обратились к весьма своеобразным Святцам — сборнику поэзии символистов. (Спасибо, что в результате этих изысканий я не оказалась какой-нибудь экзотической Аспазией или изысканной Ледой.) Так ли это было в действительности, я не знаю, но легенда мне нравится явной незаурядностью ее действующих лиц: два этаких увлеченных филолога, романтических, влюбленных в поэзию — одним словом, не от мира сего. При этом ни он, ни она отнюдь не были «небожителями», оба они вполне вписывались в реальный мир, в окружающую действительность, только у них всегда был еще один мир — мир поэтический, прекрасный мир литературы, в котором они жили так же, как и в реальном, только, думаю, более увлеченно, более радостно, а может быть, и более счастливо.

Когда я была школьницей, папа часто приводил меня в дом тети Дуси. Ее дом всегда был, что называется, «по пути». Куда бы мы с папой ни шли, миновать дом тети Дуси было невозможно: он находился в самом центре — на углу Невского и Марата. Кроме того, это был очень притягательный дом — в него всегда хотелось зайти. Там, в типично петербургской квартире, царил атмосфера покоя и доброжелательности и чего-то еще, чему тогда, в своем подростковом возрасте, я не могла дать определение и лишь позднее нашла — интеллигентность, та истинная, высокая интеллигентность, которая происходит от слова «интеллект». В этом доме всегда радовались

нашему приходу. Тети Дусина мама, такая же миниатюрная, как и она сама, ставила чайник. Нас усаживали за круглый стол, стоявший посреди комнаты, вскоре на нем появлялись красивые вазочки со сладким: шоколадными конфетами, печеньем, вареньем, и мы пили чай. Взрослые разговаривали, а я сидела молча, даже не пытаюсь вникнуть в их разговор, поскольку говорили они на такие темы, в которых я ничего не понимала. И несмотря на то, что была я в этой сцене абсолютной статисткой, мне все-таки очень нравилось в ней участвовать — наверное, потому, что герои были так очаровательны и умны и просто сидеть с ними рядом было большим удовольствием. Поэтому каждый раз, когда мы гуляли с папой и он спрашивал, хочу ли я зайти к тете Дусе, я радостно отвечала «да». И этот особенный дом навсегда остался в моей памяти красивой картиной, живой и теплой, озаренной умом и добротой его хозяйки.

Окончив школу, я, несмотря на уговоры отца поступать в медицинский институт, все-таки пошла на филфак в Герценовский: путеводной звездой был фильм Марка Донского «Сельская учительница». Судьба моя сложилась по-другому — учительствовала я очень недолго, — но образ, созданный Верой Марецкой, до сих пор остается великим примером. Я поступила в институт в 1954 году — в самом начале хрущевской оттепели, когда идеологический лед сталинской эпохи только-только начинал таять. Нашими кумирами сразу же стали два преподавателя — Дина Клементьевна Мотольская и Юрий Павлович Суздальский. Думаю, что не ошибаюсь, когда пишу «нашими», а не «моими». Именно они, помимо того, что были людьми редкостного обаяния, сделали очень важное дело — расширили границы нашего мировосприятия. Невозможно забыть, как Юрий Павлович своим необыкновенно красивым бархатным низким голосом читал нам Гомера и Гесиода, как вводил нас в мир героев Софокла и Аристофана. И мы шли за ним, ведомые его чарующим голосом, и познавали тот неведомый нам мир, из которого вышла вся европейская культура, и русская в том числе. Они были очень разные: Юрий Павлович и Дина Клементьевна. Он — эпически-невозмутим, она — лирически-эмоциональна.

Дина Клементьевна читала нам «Введение в литературоведение» — предмет, казалось бы, совершенно не требовавший эмоциональности и тем более лиризма. Но там, где нет своего отношения к предмету, где нет этого лиризма, этой эмоциональности, — там

действительно «мертва теория». Теория литературы в лекциях Дины Клементьевны была не просто живой, она была увлекательной. Ее лекции строились, как художественные произведения, каждая обладала своим сюжетом, за развитием которого было необычайно интересно следить. В моей памяти осталось немало таких сюжетов, но один из них произвел тогда особенно сильное впечатление — назову его «сюжет о бродячих сюжетах». На той лекции Дина Клементьевна рассказывала нам о формализме и прочих «изма» в филологической науке. В начале 50-х как раз завершилась продолжительная дискуссия о литературоведении, на которой речь шла, в частности, об академике А. Н. Веселовском и (цитирую по Литературной энциклопедии 1962 г.) «были вскрыты слабые стороны методологии В.», и «имело место осуждение научного наследия В. в целом». Воспользовавшись таким поводом, Дина Клементьевна довольно подробно рассказала об этом замечательном филологе и его «порочной» методологии: о сравнительно-историческом методе и теории литературных заимствований, а также о его книгах, посвященных творчеству Жуковского и Пушкина. Привела она и некоторые примеры, которыми ученый подтверждал свою теорию бродячих сюжетов. Особенно поразило наше воображение, что, по Веселовскому, сюжет «Евгения Онегина» заимствован из сказки «Журавль и цапля». Мы привыкли совсем к другому литературоведению — во-первых, сильно идеологизированному, во-вторых, поделившему всю литературу на «темы» и «образы». Здесь было что-то совсем другое, и это другое настолько увлекло нас, что мы кинулись искать книги Веселовского. Их, конечно же, нигде не было, но наша любознательность в конце концов была вознаграждена, мы раздобыли «Три главы из исторической поэтики», с большим трудом одолевали их и были очень горды собой.

Из этого маленького сюжета о Веселовском я вынесла и один не литературный, а вполне жизненный урок, очень ценный в условиях несвободы печати. О том, что, критикуя некое явление, можно дать о нем достаточно подробную информацию, а уж дальше те, кто способны самостоятельно мыслить, отбросят оценки и воспользуются информацией. Под таким углом мы потом читали статьи в «Вопросах литературы» и других толстых журналах, где критиковались современные западные течения или произведения, которые у нас не публиковались. И сами мы пытались работать в журналистике

по этому принципу. Такой урок преподавала мне Дина Клементьевна. А ведь этого могло и не быть: совсем необязательно было ей так много внимания уделять формальной школе, да еще и приводить примеры и цитаты из раскритикованных филологов. Наверняка это не входило в программу и, скорее всего, отнюдь не поощрялось. Но она хотела дать нам полные знания, заинтересовать живым словом, заставить мыслить и вникать, а не повторять заученное.

Дину Клементьевну любили студенты: после лекций долго не отпускали, а потом шли за ней по коридору, окружив плотной стайкой. Многие приходили к ней домой, и уже там продолжались беседы о литературе. Я не входила в этот ближний круг. Стесняясь своего отдельного знакомства с ней, старалась держаться в стороне.

После моего отъезда из Ленинграда — сначала по распределению в Армению, а затем в Москву — мы виделись редко. Потом ушел из жизни папа, потом она... И вот уже по прошествии времени после ее смерти я в очередной раз приехала в Петербург. Буквально на следующий день после моего приезда мне позвонила из Москвы приятельница, редактор журнала «Иные берега» Наталья Старосельская и без всяких предисловий стала объяснять, что нужно раздобыть фотографии Дины Клементьевны... Тут она запнулась, не разобравшись с фамилией, и, даже не удивившись, что я сразу ее назвала, сказала, что материал о ней должен пойти в ближайший номер. Вот такие бывают неслучайные случайности. И я оказалась причастной к прекрасной публикации, которая вышла в четвертом номере этого журнала за 2006 год. Статья Марка Качурина называется «Последний человек 1907 года» и с большой любовью рассказывает о Дине Клементьевне Могольской и ее студенте Льве Шеймане, поехавшем по распределению преподавать русский язык и литературу в киргизскую сельскую школу и проработавшем в Киргизии 30 лет, об их дружбе и многолетней переписке. А со страниц журнала на меня смотрит тетя Дуся — чудная Дина Клементьевна своим умным, ободряющим взглядом.

Москва

Рядом с незабвенной Диной Клементьевной Мотольской

К. И. Соколова

21 мая 2005 года в 6 часов вечера скончалась Дина Клементьевна Мотольская, 25 мая была кремирована.

Я так боялась ехать в крематорий, чтобы попрощаться с Д.К. Я боялась, что не выдержу, не смогу сказать и двух слов — расплачусь. Я боялась длинных, порой (простите) пустых речей, которые так не любила Д.К. Но я ошибалась.

Уже с печальным опытом жизни, уже похоронившая многих дорогих людей, я была тронута до слез, когда один за другим, без суеты и затянувшихся пауз выходили студенты Д.К. разных поколений, даже приехавшие издалека. Их речи не были многословны, но каждое слово было преисполнено любовью, благодарностью, преклонением перед жизненным подвигом незабвенного учителя и друга. Благодаря Вашим студентам, дорогая Д.К., как бы сама собой создалась особая атмосфера прощания с Вами, искренняя, достойная, благородная. А я, замороженная, стояла и, как мне казалось, вместе с Вами повторяла известные пушкинские строки:

Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

Так прошел день прощания. Мы с Валентиной Федоровной не поехали на поминки и решили тихо, вдвоем посидеть у меня и отдать дорогим воспоминаниям.

Скоро наступил и девятый день, я не могла успокоиться. Д.К. прожила долгих 97 лет и стойко держалась до конца. В последние годы мы уже редко встречались в силу разных трагических обстоятельств и в ее, и в моей жизни. Мы даже не могли свободно общаться по телефону: я ее слышу, она меня — нет (и наоборот). Иногда общались через «переводчика». Но я знала, что Д.К. есть, а значит, существует и некая стабильность в мире. После ее ухода что-то большое нарушилось, оборвалось. Мир стал другим, и я не могу найти в нем себе места, плачу и не могу поверить, все время думаю и даже разговариваю с ней, перечитываю наши общие научные труды (а их немало) и вспоминаю, вспоминаю...

Одно воспоминание наплывает на другое, о чем же писать? Что главное? Пожалуй, самым главным для меня явилось то, что мы с Д.К. стали друзьями в самом большом, лучшем, искреннем и глубоком смысле этого слова. Мы любили друг друга. Эту мысль, как ни странно, выразил один незнакомый мужчина, наблюдавший нашу встречу. А дело было так. Не выдержав, наконец, долгой разлуки, я бросила все неотложные дела и, не позвонив (я знала, что Д.К. дома), поехала к ней. Но оказалось, что дома ее нет, она вышла только что в какой-то ближайший магазин (кажется, одна трамвайная остановка) и скоро придет. Белочка предложила мне подождать, но я решила встретиться с ней на остановке. Выхожу и вижу: Д.К. еще не уехала! (К счастью, трамваи ходили редко.) Я что-то крикнула, она повернулась, увидела меня, и мы, как безумные, со слезами на глазах кинулись друг к другу. Мы плакали, обнимались, целовались, и, видимо, наша встреча удивила окружающих. Мужчина средних лет с улыбкой подошел к нам и ласково сказал: «Вы подруги, очень любите друг друга, давно не виделись, и такой радостной стала для вас эта встреча!». Мы несколько опешили и что-то бормотали в ответ: «да... да... подруги, да... любим... спасибо». А потом, съездив в магазин, полакомившись там пончиками (она их очень любила), возвратились и долго еще были вместе в ее дорогой и привычной для меня комнате, только уже на Марата, а не на Невском проспекте.

Строго говоря, я не была ученицей Д.К. (т.е. не была ее студенткой), так как училась не в Герценовском институте, а в университете. Но после окончания аспирантуры и защиты диссертации я пришла на кафедру русской литературы педагогического института имени А.И. Герцена (тогда «омолаживали» кафедру, и в качестве «молодых» вместе со мной пришли на кафедру Я.С. Билиннис, Н.Н. Скатов, В.Ф. Никифорова). Мне поручили читать параллельные с Д.К. курсы: «Введение в литературоведение» на заочном отделении литфака и на дефектологическом факультете. Д.К. первая дружески приняла меня на кафедре уже как коллегу и помогла мне. Я до сих пор не могу понять, как она выдержала шквал вопросов, обрушившийся на нее с моей стороны по поводу нового для меня курса. Она разрешила мне посещать ее лекции, и я видела, что после лекции вопросов было немало и у студентов, так что, окру-

женная ими и в перерыве, и после лекции, она продолжала «работать».

Как-то на первом экзамене по русской литературе XIX в. на дефектологическом факультете я обнаружила, что студенты совсем не знают Пушкина, не знают вообще, что такое *лирика*, и я объявила спецсеминар по творчеству Пушкина. Он состоялся (потом такой же семинар был у меня и на литфаке). В связи с этим я написала свою первую статью о лирике Пушкина в плане теоретическом — о композиции лирического стихотворения («Не дай мне бог сойти с ума»). Д.К. статья понравилась, мы вместе кое-что осмыслили, дополнили в связи с другими стихами Пушкина. Так появился наш первый научный доклад, который я и читала на кафедре. Доклад одобрили. Помню, Борис Федорович Егоров спросил, как это мы пишем вместе, как Ильф и Петров? Я ответила: по-разному. И это действительно так. Обсудив основные направления, мы тут же начинали вместе (вернее, по очереди или даже перебивая друг друга, уточняя) четко формулировать прозвучавшие мысли и сразу же их записывать. Дело в том, что мы научились с полуслова понимать друг друга. Иногда, например, в статье «Лирическое произведение» (сб. «Пути анализа литературного произведения». М., «Просвещение», 1981) вступление, анализ стихотворения «На холмах Грузии», кажется, писали вместе, «Монастырь на Казбеке» анализировала Д.К., стихотворение «Калмычке» — я.

Потом все написанное как-то соединилось легко и просто в одну целостную статью. А дальше случилось вот что: Д.К. экземпляр сборника послала своему приятелю-литературоведу в Ташкент и скоро получила ответ. Наша статья ему очень понравилась, особенно анализ «Калмычке». Это стихотворение его давно интересовало, и, прочитав его анализ, он многое открыл (или прояснил) для себя. После этого Д.К., не говоря мне ни слова (может быть, меня и в городе не было), написала ответ, в котором считала необходимым уточнить, что анализ его писала не она, а Кира Ивановна Соколова. Я, когда узнала об этом, очень огорчилась. Я сказала Д.К., что статья наша — общая — и все это не требует никаких уточнений. Но Диночка Клементьевна (я иногда ее так называла) всегда была очень щепетильна в этом отношении, боялась, как бы чужую хорошую мысль не приписали ей. И вообще она была во многих отношениях человеком удивительным: любила приносить на кафедру при-

ятные для коллег известия, дарить людям радость. А ее радость, например, состояла в том, что она всегда (первая!) сообщала, что на ту или иную работу появился в печати хвалебный отзыв или сноска, а может, даже и не в печати, а в устной форме. Так, однажды она мне радостно сообщила, что о моей статье упомянул и даже дважды на нее сослался Фридлиндер в своей книге «Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI» 1983 года (правда, книгу с моей статьей, а значит, и статью отнес к 1925 г., когда меня еще и на свете не было). Но ведь и другие, очевидно, просматривали это известное печатное издание, но мне сообщила только Д.К. Как она увидела сноску? Почему нашла? Видимо, очень хотела. Спасибо ей.

Последний неожиданный подарок от Д.К. я получила совсем недавно, когда ее уже не было... Однажды Д.К. сказала мне, что ее московская приятельница Э. Полоцкая пишет книгу о Чехове. Она спросила ее, знакома ли ей статья К.И. Соколовой о «Ваньке». Был ответ — не знакома, Д.К. посоветовала прочитать и сообщила мне об этом разговоре. И опять прошло несколько лет (не меньше 10, и опять в мою жизнь пришли новые тяжелые утраты, не стало мужа, ушла из жизни сама Д.К.). Среди множества книг и книжных полок у меня есть одна «заветная» — на ней стоят книги, подаренные мне моими друзьями. Я иногда подхожу к ней, беру книгу и перечитываю, вспоминая авторов и свою прошлую жизнь тоже. И вот на самом верху полки, под стоящими вертикально книгами (туда я засовывала обычно авторефераты), я замечаю нечто более объемное и как будто чуждое здесь, достаю и обнаруживаю книгу Э. Полоцкой (Пути чеховских героев. М.: Просвещение, 1983) с трогательной надписью — мне. Я остолбенела. Когда, где, при каких обстоятельствах эта книга могла попасть ко мне? Конечно, только через Д.К., но когда дорогая Диночка Клементьевна могла передать ее мне? Ничего не помню. Даже намек на какой-то реальный факт в голове нет. И самое ужасное — у меня нет ни телефона, ни адреса Э. Полоцкой, а ведь прошли годы, а я даже не поблагодарила ее. Я расстроилась еще больше, когда тут же захлеб стала читать эту книгу и обнаружила цитату из моей маленькой статейки и ссылку на нее. Мне, очевидно, было столь же горько и столь же празднично, как Ваньке в Рождественскую ночь, но не посылать же благодарность «на деревню дедушке»? И опять случилось чудо: позвонила Ната-

ша Левина, говорила со мной о мемуарах о Д.К., а потом снова позвонила через час — сообщила, что она уже говорила по телефону с Э. Полоцкой, которая неожиданно позвонила ей по поводу собственных воспоминаний о Д.К. и, узнав о недавно найденном мною ее подарке, все поняла и передавала мне привет. Боже мой! Что со мной было... Я поняла, что Д.К. через кого-то передала мне эту книгу в очередной трагический период моей жизни, может быть, я была в больнице, может быть, на операции, не знаю, но знаю только, что это был подарок двух прекрасных добрых женщин, которые хотели поддержать и поддерживали меня в трудное время. Спасибо им.

Я уже писала о доброжелательности Д.К., естественно, не только ко мне. Она была открыта людям и всегда готова помочь всем. Я даже не помню, чтобы она кому-нибудь в чем-то отказала.

Готовность помочь выражалась и в том, что Д.К. постоянно читала множество работ, не только студенческих и аспирантских, но и работы коллег, слушателей ФПК, писала многочисленные рецензии на статьи, диссертации; общалась со слушателями ФПК на лекциях по теории литературы, разрешала им посещать свои лекции. Я всегда удивлялась, как она все это успевала делать. Интересно, что ни в рецензиях, ни в выступлениях на кафедре при обсуждении диссертаций или докладов она никогда не навязывала свою точку зрения, умела слушать других и уважать чужое мнение. Поэтому ей все доверяли. На заседаниях кафедры у нас бывали и острые научные дискуссии, но что-то я совсем не помню Д.К. спорящей. Она допускала существование разных точек зрения, особенно по отношению к искусству, и скорее давала советы, к которым стоило прислушиваться. По сравнению с ней я могла выступить в более острой форме, но в оправдание себе скажу, что аспирантам часто подсказывала пути решения или какие-нибудь идеи (тогда они у меня были). И надо сказать, что аспиранты — народ очень благодарный. Недаром они так любили Д.К. Я уже, кажется, писала, что мы с ней никогда не спорили, легко приходили к обоюдному согласию, всегда доверяли друг другу, и я свободно могла выражать ей свое мнение по любому вопросу, и научному, и житейскому.

Только в одном случае мы разошлись: я категорически, может быть, даже жестко выступала против поездки Д.К. в Америку по приглашению родственников. Тем более что у них была уже одна «дорожная» трагедия. Я очень боялась за Д.К., как она в ее возрасте

перенесет дорогу, слишком сильные впечатления и от встреч, и от американской жизни. Но Д.К. меня не послушалась и, слава богу, сумела пережить и дорожные трудности, и сильные впечатления, и когда, приехав домой, позвонила мне, я была несказанно счастлива.

Теперь продолжаю разговор о нашей совместной работе уже методического характера. Мы с Д.К. много думали, как усовершенствовать подготовку студентов — будущих учителей литературы, как научить их «читать на языке образов». И вот, благодаря прежде всего настойчивости Д.К., мы, пожалуй, впервые добились введения в программу литературной подготовки студентов просеминарских занятий по поэтике на первом курсе. Мы разработали программу этих занятий, определили и обосновали место поэтики в системе литературоведческих дисциплин, количество часов и все это представили в деканат. И случилось чудо! Программу утвердили (не знаю даже, на каких инстанциях), «поэтика» вошла в жизнь факультета. Довольно скоро результаты стали уже ощутимы, поднялся уровень курсовых и дипломных работ, общая литературная и культурная подготовка наших студентов. К сожалению, через несколько лет, когда я уже ушла на пенсию, курс поэтики благополучно отменили.

Введение курса по поэтике совпало с предложением Министерства просвещения написать методическую работу «Темы контрольных работ по курсу «Введение в литературоведение» для студентов-заочников первого курса литфака. И мы уже втроем: Дина Клементьевна, Зоя Александровна Воробьева и я — сели за этот каторжный труд (конечно, бесплатный; кажется, он пошел как научная плановая работа). Дело это было хотя и интересное, творческое, но очень трудоемкое: мы должны были, естественно, самостоятельно проанализировать сто с лишним произведений. Нам важно было, чтобы контрольные работы студентов-заочников не носили формальный характер, были самостоятельным анализом-размышлением, а мы помогли им, давая «руководящие» указания, советы, вопросы, и рекомендовали литературу. По существу каждый из нас должен был проанализировать все избранные нами произведения — для своей разработки (30 с лишним) и все другие, чтобы прочитать, дополнить, исправить, отредактировать написанное коллегами.

Мы все это сделали, и наша книжечка разошлась по разным институтам и городам, выдержала 4 издания. Конечно, и каждого из нас анализ такого количества произведений сделал «асом» своего дела. Но какой это был труд! Я потом еще ездила в Москву на конференцию в институт заочного обучения с докладом на эту тему, но едва ли кто-нибудь из присутствующих воспринял целиком наш метод работы с заочниками — он был слишком трудоемким. Но мы во главе с Д.К. к халтуре не привыкли и своего времени не жалели — таким был наш дорогой учитель — Д.К. Больше не буду пока писать о работе, так как от одних этих воспоминаний я уже устала. Лучше расскажу о том приятном, что я испытала в доме Д.К., трудясь над контрольными работами и нашими общими статьями.

Мы с Д.К. садились за работу обычно утром в субботу (конечно, написав свои наброски предварительно еще дома), сидели до вечера. Мои мужчины (сын и муж) безропотно отпускали меня, ведь я ехала к Д.К. работать!!! (Мне кажется, я даже поднималась в их глазах.) Правда, вечером Д.К., Софья Моисеевна и я всегда смотрели КВН, который еще только начинал свою потом уже долгую жизнь. Это был КВН удивительный — молодой, острый, остроумный; ребята находчивые, смелые, талантливые, это было соревнование умов, и мы его никогда не пропускали (замечу, что сейчас КВН — вроде художественной самодеятельности, совсем не то и в сравнение никакое не идет с первыми передачами).

Я упомянула имя Софьи Моисеевны, мамы Д.К., о ней хочется сказать особое слово.

С.М. — удивительно терпеливая чудная женщина, прожившая долгую жизнь и до конца сохранившая светлую голову, ясный ум. Я как сейчас вижу ее сидящую в уголке, на своем диванчике перед круглым столом в первой комнате. Мы с ней вместе пили чай, иногда обедали. Мне кажется, она любила меня, как и я ее. А один случай просто потряс меня какой-то материнской заботой обо мне.

Мы с Д.К., как всегда (в субботу или в воскресенье), сели работать. А вечером я должна была идти в ресторан на 60-летний юбилей Любови Ивановны Кулаковой (по-моему, Д.К. не ходила, т.к. ей не с кем было оставить маму). Ресторан «Московский» находился на Невском проспекте, недалеко от дома Д.К., но очень далеко от моего дома (я жила тогда на Гражданке, метро еще не было, транспорт плохой). Естественно, ехать домой переодеться соответ-

ственно юбилейно-ресторанной обстановке было невозможно. И праздничное платье я положила в сумочку, туфли тоже. И вдруг Д.К. мне говорит, что мама волнуется, как же я пойду на юбилей в «рабочем», «каждодневном» платье, если оно даже и приличное для работы. Я засмеялась, улыбаясь вышла к С.М., поблагодарила ее за такое внимание ко мне и просила не беспокоиться: перед уходом я обязательно ей покажусь. И вот, надев красивое французское платье плиссе сиреневого цвета (оно не мнется) с небольшим декольте, кулон, красивые туфли, причесалась и вышла «на суд» С.М. Она была очень довольна, сказала, что теперь за меня не беспокоится, выгляжу я прекрасно и могу идти хоть в театр, хоть на банкет. Я была очень тронута и благодарна С.М. Всем сердцем я почувствовала, что признана своей в этом доме. Спасибо ей, удивительной маленькой седой женщине, которая терпела многочисленных «гостей» Д.К., беспрестанные телефонные звонки. Она, очевидно, уставала, но никогда не жаловалась. Естественно, когда С.М. умерла, я проводила ее в последний путь на кладбище и навсегда сохранила ее светлый образ в своем сердце. Спасибо дорогой Софье Моисеевне за дочь, за открытость их дома людям, за великое терпение. Спасибо за внимание ко мне.

Д.К. была исключительно образованным, эрудированным, одаренным человеком. К ней тянулись люди не только потому, что она добра и отзывчива, но и потому, что у Д.К. было что открыть, что сказать людям. Я повторяюсь, желая подчеркнуть, что с Д.К. всегда было интересно. Она превосходно знала русскую литературу от древностей до последних новинок советской литературы, разумеется, имеющих какую-то художественную ценность. Безусловно, она была специалистом по литературе XIX и XVIII вв. тоже, тем более, что ею была написана книга о Ломоносове; об этом мало кто знает. Татьяна Антоновна Белова перепечатывала ее текст и очень хвалила. Но книга о Ломоносове так и не появилась в печати: то ли планы редакции изменились, то ли книга опоздала, то ли еще что-то непонятное случилось. Но Д.К. не любила вспоминать об этом, а рукопись, может быть, затерялась где-то в издательских кабинетах. Любила и знала Д.К. поэзию Серебряного века.

Я всегда поражалась, как Д.К. успевала быть в курсе культурной и литературной жизни современности, следила за новыми течениями в литературоведении, знала, в каких журналах появляются про-

изведения, которые надо *непрерывно* прочесть, знала, какие дискуссии вспыхивают в Доме писателя, на страницах журналов или газет. Естественно, любимым журналом Д.К. в 60-е годы был «Новый мир» А. Твардовского. И ее нельзя было представить идущей к студентам без очередной книжки «Нового мира» в руках. Выхода ее она ждала с нетерпением и читала, что называется, «от корки до корки», но учила читать, начиная с конца, с отдела критики и публицистики: именно здесь наиболее отчетливо проявлялись новые веяния времени.

Д.К. была также в курсе театральной жизни, она следила за премьерами не только в ленинградских, но и в московских театрах. Любила театр Товстоногова и Акимова. Кстати, в театр Акимова иногда приглашались студенты и преподаватели на генеральные репетиции с последующим обсуждением. Это было очень интересно. Д.К. даже подсказывала, какие фильмы стоит посмотреть и т.д. Все это она несла своим студентам и нам тоже. Студенты всех поколений любили Д.К., и на традиционном празднике «Последнего звонка» ей предназначались самые теплые слова любви и благодарности. В этом отношении у нее соперников не было.

Хочется вспомнить и еще об одном празднике. 31 декабря 1977 года на кафедре мы поздравляли Д.К. с 70-летием. Она вообще-то не любила такие «мероприятия». Но мы, любившие ее, естественно, не могли пропустить такой юбилей.

Как-то само собою сложилось, что именно я должна была написать нечто вроде «адреса» и купить кафедральный подарок. Никаких «адресов» я никогда не писала и не умела это делать, так как не умела писать ничего официального, поэтому написала не «адрес», а просто слова любви и благодарности. Вот его текст:

«Дорогая Дина Клементьевна!

Сегодня у Вас день рождения, и так как в сутолоке жизни не всегда удается сказать теплые, дружеские слова, мы пользуемся случаем, чтобы выразить Вам наше глубокое уважение и искреннюю симпатию. Ваше человеческое «Я» так обаятельно, так чуждо всякой официальной парадности, что хочется, не перечисляя заслуг (они несомненны), просто поблагодарить Вас за то, что Вы — с нами, что Вы — такая; сказать, что даже время, кажется, утратило свою власть над Вами: присущее Вам сопричастие всему, что происходит в мире, ощущение постоянно обновляющейся жизни, творчес-

кая мысль и любовь к людям — свидетельство неиссякаемой молодости Вашей души.

Может быть, поэтому нам всегда очень дорого общение с Вами — и в студенческой аудитории, и на кафедре, и в научном споре, и в дружеской беседе за чашкой кофе, а еще лучше — среди книг, в уютном кресле Вашей комнаты. Встречи с Вами всегда приносят радость открытия, толкают на размышления, творчески обогащают нас, как встречи с талантливым интересным человеком, широко мыслящим, глубоко и тонко понимающим искусство, обладающим острым чувством современности, как встречи с человеком не просто умным, но бесконечно добрым и щедрым, с чутким, отзывчивым сердцем, открытым всем людям.

Спасибо вам, милая Д.К., за Ваш большой Человеческий талант, который помогает нам, Вашим друзьям, товарищам по работе и который нужен многим и очень разным людям.

Мы от души желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, творческих радостей. Пусть всегда приветливо светит зеленый огонек в Вашем окне и только хорошие вести приносит телефонный звонок в Вашей квартире».

А вот с подарком оказалось труднее. В самом деле, что можно было подарить Д.К.? Я измучилась, опрашивая всех членов кафедры. Книгу? Но, как в известном анекдоте, книга у нее уже есть. Кто-то предложил часы — но мы их уже, кажется, дарили. Электрический самовар? Но это слишком прозаично. Одним словом, никто ничего не хотел, вернее не мог посоветовать. Правда, у меня было великолепное издание книги по древнерусской архитектуре, и я предложила эту книгу, приложив ее к чему-то другому (на книге все расписались), но к чему ее «приложить», так никто и не сказал. Тогда я, рассердившись, пошла в магазин одна — без единой мысли в голове — и купила что первое увидела и что хотела, чтоб подарили мне — только что появившиеся тогда в наших магазинах французские духи. С красивым заветным флаконом вернулась на кафедру. Первым встретила Я. С. Билинкиса и показала ему подарок. Тут же получила в ответ: «Кирочка, но это пошло». Можно подумать, что он предложил что-то другое, «благородное». Я, правда, не растерялась и ответила: «Это смотря для кого! Но к Д.К. не относится: ничего пошлого к ней не пристанет». Больше я уже никому ничего не показывала. Диночка Клементьевна подарку действительно была

очень рада, а главное, она получила возможность одаривать окружающих, предлагала духи не только «понюхать», но и требовала платочки, чтобы каждый частицу аромата французских духов мог унести с собой. Я с грустью наблюдала, что размер флакончика как будто уменьшался. Но Д.К. была счастлива — так мне казалось — и я вместе с ней.

Когда-то в 70-х годах Д.К. ушла на пенсию, вернее, ее «ушли». Но тогда разрешалось пенсионерам работать на четверть нагрузки, получая пенсию. И у Д.К. остался лекционный курс, а на экзамены часов не хватило, их записали мне. Но Д.К. всегда приходила на экзамены. Я хотела, чтобы она больше отдыхала, приходила на короткий срок. Но она мне говорила: «Раньше Вы мне помогали принимать экзамены, теперь — я Вам».

Но уход на пенсию тяжело переживался Д.К., она привыкла своей лекцией открывать учебный год у первокурсников, всегда готовилась к ней. А сейчас ее лишили этого. Во всяком случае в этот печальный день 1 сентября (не помню точно какого года), когда она оказалась в «ранге пенсионера», ей было очень тоскливо. Где-то во второй половине дня у нас в квартире раздался звонок, и мы увидели Д.К. Она сказала, что впервые чувствует себя как бы не у дел и поэтому решила приехать к нам. Мы все, конечно, были рады госте, понимали ее тяжелое состояние и, как могли, развлекали или, вернее, отвлекали ее от горьких дум. Я говорила, что она по-прежнему будет со студентами, мы с ней будем часто видеться, а ей надо беречь себя. Но беречь себя она не умела...

Замечу кстати, что мой муж Евгений Александрович и сын Саша любили Д.К. Саша, тогда студент матмеха ЛГУ, обычно сидевший за письменным столом в своей комнате, всегда выходил встретить и проводить Д.К., подать ей пальто. Помню также, что однажды Д.К. и Саша оживленно беседовали о современной молодежи.

Не помню точно когда, может быть в 1980 году, мне пришлось читать курс Д.К. «Введение в литературоведение» на литфаке. Я не хотела его брать, всячески сопротивлялась, но Д.К. настаивала, говорила, что только мне хочет его отдать. И я не могла ослушаться ее, изменить ей, да и подготовленного человека не было. Так я стала читать курс Д.К. Она все время спрашивала, взяла ли я новые темы. Какие-то ввела — кажется, современные тенденции в литературу-

ведении и еще что-то, не помню. Я читала этот курс несколько лет, вела практические занятия и поэтику. Все это было мне очень интересно, тем более что я продолжала дело и традиции Д.К.

Весной 1989 года Н.Н. Скатов позвонил мне по телефону и сказал, чтобы я сдавала документы на очередное переизбрание, а я ему неожиданно ответила, что подаю заявление об уходе на пенсию. Ни на какие уговоры я не пошла, но оставалась работать на четверть нагрузки еще лет семь.

Для нас с Д.К. настали трудные времена. Но она еще крепко стояла на ногах, ходила в магазины, принимала гостей, ее не забывали. Я тоже приходила, но все реже и реже. Мне надо было воспитывать осиротевшего внука (его мать в 1987 г. внезапно умерла) и серьезнее следить за мужем, помогать ему, так как он еще работал, а времена начинались трудные: вскоре он серьезно заболел, и мне уже было не до работы...

А теперь мне хочется отметить некоторые особенно трогательные черточки характера Д.К., своего рода «штрихи к портрету».

Так, я заметила, что если у кого-то случалось горе, Д.К. сразу же «срывалась с места», если даже практически помочь уже ничем не могла. Она мгновенно приехала, как только узнала, что Саша, мой сын, погиб в горах в снежной лавине и тело его уже нашли. Без звонков, с Татьяной Антоновной Беловой они были у нас. Другие члены кафедры тоже знали, конечно, сочувствовали, но боялись нас беспокоить в такое трудное время, а Д.К. об этом не думала, она просто не могла поступить иначе и не размышляла.

Когда Евгений Александрович умер (2002 г.), кто-то сообщил ей об этом, и она тут же позвонила мне. Ехать, конечно, уже не могла, но сказать много хороших, добрых слов о Е. А. могла и все высказала. Я хорошо слышала ее, а она нет. И через «переводчика» получила от меня слова любви и благодарности.

Смешно сказать, но и для меня характерны те же порывы, я, не задумываясь, срываюсь с места, еду, бегу на горе, даже если меня там не ждут.

Милая привычка Д.К., которая заразила и меня, — делать друг другу маленькие подарки — иногда какие-нибудь деревянные безделушки, иногда книги. Я любила дарить друзьям и Д.К. цветные шерстяные платки. Но были подарки, особенно ценные для меня. Например, подаренный Д.К. томик прижизненного издания Пуш-

кина (она их собирала). Мы дарили эти подарки часто просто так, не привязывая их к какому-нибудь значительному дню. Я однажды увидела крепдешин — точно любимых тонов Д.К. (что-то коричнево-бежевое) — и подумала, что это для нее, и купила. Даже договорилась, что хорошая портниха сошьет ей платье-костюм для лета. Портниха обещала позвонить, когда освободится. И случилось так, что я подарила этот отрез к Новому году (к дню рождения). Д.К. роптала, я не обращала на это внимания: понравилось — и все. Шло время, и надо же такому случиться — портниха позвонила мне в самые трагические дни — гибели Саши, когда я была как ненормальная. Сначала я даже ничего не могла понять, какая портниха, зачем портниха, но потом «дошло» — для Д.К. Я дала телефон Д.К. и сама тоже позвонила ей. Я очень просила, чтобы она обязательно сшила этот костюм, мне это важно. Она даже потеряла дар речи от удивления, что я в такие трагические минуты забочусь о ее костюме, но, очевидно, не осмелилась возражать мне. И костюм «состоялся». Мне действительно это было приятно. Тогда в моем помутившемся сознании все как-то невольно связывалось с Сашей, и даже казалось, что неожиданный звонок портнихи словно последний привет его Д.К., которую он любил. Конечно, я ничего подобного не говорила Д.К., может быть, она что-то почувствовала, а я всегда была рада видеть ее в этом наряде.

После смерти Софьи Моисеевны Д.К. стала иногда выезжать летом из Ленинграда, чаще в Москву, там вместе с друзьями жила в каком-то пансионате. С особой благодарностью хочу отметить, что, куда бы она ни уезжала, всегда подавала о себе весточку: напишет открытку, письмецо, сообщит, когда приедет. Это очень трогательно, спасибо ей.

Может быть, многим покажется удивительным, но Д.К. любила накормить гостей чем-нибудь вкусеньким, сделанным своими руками. Однажды мы с Евгением Александровичем были у нее в гостях в семейном кругу и там ели изумительную куру в пакете. Я потом долгое время тоже угощала своих гостей этим блюдом.

Помню, что она пекла яблочный пирог, очень вкусный.

Но что меня удивило: ей очень понравилась «сеledка под одеялом», которую она ела у меня. Обычно это блюдо делают просто. Но мой рецепт очень сложный и, конечно, получается вкуснее. Както перед Новым годом она позвонила и попросила по телефону со-

общить рецепт. Это было трудно и долго, но Д.К. все очень тщательно записала. Я уже не помню, получилось ли у них из селедки что-нибудь вкусное, но важен сам факт кулинарных увлечений Д.К., неожиданный для меня, наверно, и для других тоже.

Вспомнила еще одну маленькую «изюминку» нашей жизни. Мы любили с Д.К. заходить в кофейный буфет и не торопясь, спокойно беседуя, выпивать чашечку кофе с мороженым. Чаще это было после занятий или в «окно» между ними. Иногда к нам присоединялся Ю.П. Суздальский, слушатели ФПК, еще кто-нибудь из симпатичных людей. Порой мы забывали о времени и «засиживались».

Завершая эти воспоминания, я хотела бы сделать какие-то выводы, обобщения; но едва ли они возможны по отношению к такому удивительно широкому по многообразию интересов и богатству душевных качеств человеку, как Д.К. Но я попытаюсь. Прежде всего отмечу ее кровную связь с институтом, студентами, коллегами по работе. Главным в ее жизни, кажется, была работа, научная, учебная, воспитательная, духовная, вообще работа со студентами, порой непредсказуемая и трудная. Д.К. не старела душой, всегда и во всем была обращена к вечно меняющейся жизни, а значит, к человеку, но не к человеку вообще, а к каждому человеку, умному и не очень, доброму и не очень, к любому человеку, прошедшему через ее сердце за 97 лет жизни.

В сердце Д.К. никогда не было равнодушия ни к жизни, ни к людям, а жила — любовь. Поэтому с глубокой признательностью я завершаю мои записки подлинными словами Д.К., не раз обращенными ко мне и моим близким: «Кирочка! Я люблю Вас, я люблю Вашу семью, я люблю Ваш дом».

А я снова и снова говорю: спасибо дорогой, незабвенной Д.К. за то, что многие годы она была со мной рядом, подарила мне свою любовь и дружбу, стала моей подругой.

Память остается с нами

И. А. Битюгова

Когда ко мне обратились с просьбой написать о Дине Клементьевне Мотольской, я высказала сомнение, имею ли на это право: я не была ее коллегой по Педагогическому институту им. А.И. Герцена и мне не довелось присутствовать на ее лекциях и занятиях, оставивших столь незабываемый след в сознании студентов. Но возникший между нами в последнее 30-летие ее жизни научный и душевный контакт не позволяет мне отказаться от посвященного ей прощального слова.

Я познакомилась с Диной Клементьевной в конце 1960-х—начале 1970-х годов, когда мне довелось выступить оппонентом в Герценовском институте на защите кандидатских диссертаций (Ю.В. Лебедева, И.А. Кронрод, Н.А. Лобковой, В.А. Благово). В перерыве на одной из этих защит мы встретились с Диной Клементьевной в проходе между рядами зала, и лицо ее вдруг осветилось такой приветливой открытой улыбкой, что я не могла не сказать, как много о ней слышала от ее ученицы Э.В. Щербановской, в разрешении трудностей педагогической и личной жизни которой она в ту пору принимала деятельное участие. Дина Клементьевна с юмором отреагировала: «Представляю, как я вам надоела». После этого вскоре нас особо познакомил Юрий Павлович Суздальский, дорогой для нас обеих человек, бывший мой сокурсник по Университету, закончивший античное отделение, товарищ юности моего соседа по квартире, а позднее мой друг. Эта рекомендация явилась основой последующего полного доверия, возникшего между нами.

По приглашению Дины Клементьевны я сначала несколько раз побывала у нее в Ульяновке, а потом постоянно навещала на ул. Марата, куда она переехала к родственникам.

Дина Клементьевна проявляла такую живую заинтересованность как к общественным и творческим, так и к личным сторонам бытия, что откровенное, искреннее общение с ней ее сотоварищей по профессии, ее учеников, бывших и новых, и просто близких по внутреннему складу знакомых скоро становилось взаимной организационной потребностью. Не могу не вспомнить, что последний визит к Дине Клементьевне перенесшего несколько инфарктов Юрия Павловича Суздальского совместно с его женою Людмилой Пет-

ровной и мною состоялся как прощальный: на следующий день приглашенный студентами в институт на обсуждение, он умер во время выступления за кафедрой.

Побывала Дина Клементьевна однажды и у меня дома и познакомилась с моей мамой, которая оказалась на год ее старше, и, как выяснилось, родились они в один день, под Новый год, 31 декабря. С тех пор, пока мама была жива, они, проникнувшись симпатией друг к другу, в этот день передавали через меня по телефону взаимные двойные поздравления.

Так как мне в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) довелось принимать участие в подготовке трех академических изданий — Тургенева, Некрасова и Достоевского, а Дина Клементьевна вместе со своим соавтором М.Г. Качуриным (также моим соучеником по Университету) размышляла над составлением, а затем совершенствованием учебника для старших классов школы и методического пособия для педагогов по литературе второй половины XIX века, мы неоднократно обсуждали с ней и проблемы изучения писателей этого периода. Говорили и о появлении в послеперестроечные времена новых подходов, граней в освещении литературы. Так, например, собираясь писать для задумывавшейся в 1980–1990-е годы в ИРЛИ «Тургеневской энциклопедии» обзор о «Накануне», я рассказала Дине Клементьевне о своем намерении учесть недавнюю статью об этом романе Ю.В. Лебедева, который стремился кроме так называемого «добролюбовского» социального аспекта романа выявить его внутренний философский смысл, не только, как отмечалось ранее, связанный с Шопенгауэром, но и восходящий к христианским началам. Дина Клементьевна не со всем соглашалась, но слушала с большим интересом, отметив, что автор статьи «их», то есть и ее, герценовский выпускник. Мои размышления о романе Достоевского «Идиот», основанные на изучении черновых планов к двум редакциям романа и осмыслении на этом и эпистолярно-мемуарном материале его творческой истории, Дина Клементьевна принимала. С одобрением она отнеслась к моей поздней небольшой статье «О вере, вине и ответственности», прочитанной сначала в Москве в 2001 году в виде доклада на международном симпозиуме «Ф.М. Достоевский в современном мире» и опубликованной среди других материалов этого симпозиума («Литературоведческий журнал». 2002, № 16). В этой статье сопостав-

ляются предсмертные наброски Достоевского к неосуществленному «Дневнику писателя» 1881 г., его роман «Братья Карамазовы», повесть В.Г. Короленко «Не страшное», повесть А.П. Чехова «Дуэль» и «Мистерия о милосердии Жанны д'Арк» и публицистика Шарля Пегги, французского писателя конца XIX—начала XX века, во многом перекликавшегося с Достоевским. На этом основании подчеркивалась мысль, наиболее объемно выраженная в последнем романе Достоевского Зосимой в его речи, обращенной к ученикам, о взаимосвязанности всех людей, их поступков и их последствий, о необходимости для каждого человека прежде всего думать о своей «вине», личной ответственности за происходящее и «тайне» дарованного ему ощущения связи с «миром иным, миром горним».

Много мы с Диной Клементьевной говорили и о Чехове, о сложности и многомерности воспроизведения им жизни, о высоте его идеала, который, с моей точки зрения, допускал спор о личном подтексте в выраженном его героиней желании «увидеть небо в алмазах».

Обсуждали мы с Диной Клементьевной и доклады, читаемые на конференциях в Музее-квартире Достоевского в Кузнецком переулке, находящемся недалеко от ее дома на улице Марата. Первое время Дина Клементьевна сама бывала в эти дни в музее, а позднее, когда это было уже ей трудно, мы, несколько человек, приходили к ней в разных сочетаниях (я, И.Л. Альми, Д.Л. Соркина, А.В. Архипова и другие): или в перерывах («перекусить»), или после заседаний и рассказывали обо всем интересном или спорном, что услышали. Дина Клементьевна живо на все реагировала, одобряя доказательное, живое, талантливое и осуждая надуманное.

Бывала я у нее и в другом дружеском сочетании — вместе с Л.П. Суздальской и Л.А. Виролайнен. Мы делились своими переживаниями, рассказывали о своих дочерях и о своей работе. Людмила Петровна — о преподавании студентам немецкого языка, рецензиях на лингвистические работы, общении со знакомыми из Германии. Лаура Александровна — о своих переводах с финского языка; рассказывала о дочери Маше, ее статьях, часто философских, взрослении и интересах внука. Я — о своей работе в Пушкинском Доме, впечатлении от заседаний, защит, о поездке весной 1999 г. в Буживаль, во Францию, на конференцию «Гете—Пушкин—Тургенев» и заседаниях в особняке Виардо с возвышающимся

рядом на пригорке домом писателя, в котором Иван Сергеевич умер. Дина Клементьевна была очень заинтересованной благодарной слушательницей каждой из нас.

Как-то уже в последние годы ее жизни я шутливо воспроизвела слова увиденного мною по телевизору 110-летнего юбиляра, кажется, из Владивостока, который на вопрос об источниках своего долголетия ответил: «В молодости, в первую мировую войну, курил, потом бросил. Не пьянствовал, но людям за праздничным столом настроение не портил и бокала 2–3 выпивал, вот и сегодня подниму его вместе с сыном, внуком и правнуком. Любил только одну женщину, свою жену. Никогда не интересовался политикой». Дина Клементьевна посмеялась и сказала, что все ей близко, кроме последнего.

Действительно, она продолжала следить за всеми событиями общественной, литературной и музыкальной жизни. Она уже не видела и слышала только одним ухом, которым поворачивалась к гостю или в которое вставляла наушник и слушала радио или телевизор. Так как ее часто посещали разные люди, то порою от нее можно было узнать что-то совсем новое. Она оставалась гражданином до своего самого последнего дыхания. Умирала Дина Клементьевна в больнице на Литейном пр., промучившись недолго, никого не обременив и уйдя в другой мир со светлым, почти до последнего момента, сознанием. Провожали ее на траурный автобус в солнечный весенний день с любовью.

Имя И.А. Битюговой узнали гораздо раньше, чем она стала ученым-филологом. Блокадная школьница, она участвовала в детском литературном конкурсе, и Вера Инбер, приглашенная в жюри, записала в своем вскоре изданном «Ленинградском дневнике» 28 мая 1943 года: «Ученица 9-го класса 47 школы Инна Битюгова написала сочинение под скучноватым названием “Что мне дала работа в совхозе”. Но на деле оно полно очарования и поэзии».

«Постепенно жизнь растений увлекла меня. Мне казалось, что я выращиваю маленьких человечков. Вот они, еле видные, слабенькие, зеленые, а вот уже окрепли их тоненькие ножки и гордо поднимаются зеленые головки... Я представляла себе две дороги. Одна ведет на фронт, другая —

в мой город. И по этим дорогам бегут один за другим зеленые овощи-человечки. Вот один из них подбегает к большому каменному дому. В квартире на кровати сидит маленькая белокурая девочка. Ее руки тонки, как палочки, глаза печальны, щеки ввалились. Это враги принесли ей голод. Но мой маленький зеленый человечек сильнее многотысячной армии врагов. Он пришел на помощь слабой девочке. Щеки ее розовеют, руки округлились, глаза снова блестят. Она поднимается, идет — и я чувствую, что в ней воплотилась моя мечта. Другой овощ-человечек бежит по второй дороге. Кругом враги... Бросают в него бомбы, снаряды, но он неуязвим. Вот он вбегает в землянку, где боец-разведчик склонился над картой. Трудный предстоит ему поход. Вдруг видит боец — он не одинок, о нем думают и заботятся советские дети. Съел боец овощ и почувствовал, что в его жилы влилась богатырская сила. Смело пошел он в разведку и вернулся с победой...»

В. Инбер тронуло не только содержание, но и оформление этого детского сочинения: «На обложке рассказа Инны Битюговой изображены в красках свекла, брюква, турнепс и мелкие редиски: все с милыми дружелюбными лицами».

Ее голос...

Н. Г. Смирнова (Бескинд)

Право, не только «у зим бывают имена» — случается, имена бывают у институтских курсов. Наш, первый, звался «Дина Клементьевна».

Кто же еще возникал перед нами в этой большой аудитории на 2-м этаже? Совсем не помню. Кажется, Виталий Федорович Шишкин... А может, это было потом, да и предмет его неприлично сейчас вспоминать, но человек он был милый...

В общем, я начала, кажется, с середины, а потому еще одно отступление. Сын учился в хорошей школе (526), а поступив в Электротехнический институт, был поражен неинтересными преподавателями. Я философствовала: «Если есть за год хоть один яркий педагог в вузе — это прекрасно. Вот у нас...»

Боже, какое блаженное время — I курс! И возраст, и вокруг 1955 и 1956 годы — вот попали в «минуты роковые»! На сцене, на возвышении (так казалось или так было?) — миниатюрная женщина: улыбка, сияние глаз, и голос, голос... Под обаяние речи, порхающих маленьких рук, тонких черт лица мы уплывали, таяли, мы куда-то погружались и верили, верили... Еще бы — «Введение в литературоведение» — нас туда влекла Дина Клементьевна. Открывались начала, смыслы, и казалось все таким захватывающе-интересным, а впереди будет так же, и даже лучше! Я думаю сегодня, что тонкость, интеллект и обаяние первых преподавателей — бесценны. Мелодика голоса Дины Клементьевны — это был камертон, чтоб возникли наши голоса.

Удивительно, как она сразу распахнулась к нам: никакой дистанции, интерес к первокурсникам, живой разговор. Вот великий урок для меня на всю жизнь... Я видела в ее глазах радость и благоговение перед нами, наивными, неумными, самоуверенными птенцами институтского гнезда. Да, ей было интересно говорить с нами обо всем за пределами лекции, а искренность ее чувств нес голос, частица души Дины Клементьевны. Как пишет Бродский, «...от всего человека вам остается часть речи».

В моих, столь странных, возможно, для кого-то воспоминаниях, звук, речь, тембр нежнейшего голоса витает при имени Дины Клементьевны.

А лекции первого курса через 30 лет я подарила своей ученице, которая поступила в институт Герцена.

О Дине Клементьевне. Сорок лет спустя

В. Н. Сажин

Без году сорок лет назад окончив факультет русского языка и литературы, вряд ли бы я сам нашел сейчас лучший повод для необходимого, как мне представляется, осмысления прожитого тогда в институте, чем 100-летний юбилей Дины Клементьевны Мотольской: наряду с исключительно дружескими отношениями, которые у многих студентов нашего курса были с Владимиром Николаевичем Альфонсовым, Юрием Павловичем Суздальским, Николаем Николаевичем Скатовым, Владимиром Георгиевичем Маранцманом, дружба с Диной Клементьевной стояла особняком и была в такой степени непосредственной, доверительной и глубокой, что позволила некоторым из нас удостаиваться этой дружбы на протяжении еще 35 лет после окончания института, до последних дней долгой жизни Дины Клементьевны.

Мне показалось важным в этом случае хотя бы в некоторых штрихах и деталях воссоздать картину тех обстоятельств, в которых мы пребывали (и в институте, и в стране) в 1964—1968 годах — это время нашего обучения на факультете.

Два политических события обрамляли эту картину: по прошествии полутора месяцев с начала нашей учебы, 14 октября 1964 года, был отстранен от своего поста Хрущев и появились две новые руководящие страной фигуры — Брежнев и Косыгин, а через два месяца после того как мы получили дипломы учителя, 21 августа 1968 года, войска Варшавского договора вошли в Чехословакию. Каждое по-своему, эти события интерпретировались как ключевые в возвращении от «оттепели» середины 50-х годов к тоталитарному государству сталинского типа.

Тому из нас, кто в это крайне политизированное время хотел уклониться от ее, политики, влияния, поступить так было крайне трудно: дело не просто в том, что, например, за освобождением Хрущева последовало обязательное собрание «актива» института, на котором некий партрайкомовский деятель разъяснял смысл постановления пленума ЦК КПСС, не только в неизбежных систематических политинформациях — сама система обучения была построена таким образом, что история всепроникавшей коммунистической партии и труды Ленина изучались на протяжении четы-

рех лет в шести разных курсах: истории СССР, истории КПСС, марксистско-ленинской философии, научного коммунизма, политэкономии капитализма и политэкономии социализма.

Сама литература — всё-таки один из основных объектов изучения на факультете — была интенсивно включена тогда в политическую жизнь и существовала по ее специфическим законам: идеологически негодный или проштрафившийся из литературной жизни решительно изгонялся. Так в феврале 1964 года был арестован, а в марте осужден на 5 лет принудительных работ поэт Иосиф Бродский, а в адрес одного из выступавших на суде в его защиту, Ефима Григорьевича Эткинды, преподавателя факультета иностранных языков Пединститута, который читал также спецкурсы и на нашем факультете, было вынесено частное определение «об отсутствии идейной зоркости»; весной 1967 года к IV съезду писателей СССР с письмом, требующим отмены цензуры для литературы, обратился Солженицын, и это послужило началом гонений на него (а также репрессий в отношении нескольких писателей, требовавших обнародования этого письма, которое Солженицыну не позволили огласить); в 1966 году завершился процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем, посмеявшимися опубликовать свои «клеветнические» литературные произведения за границей, и они были осуждены, соответственно, на семь и пять лет лагерей строгого режима, а вслед за ними отправлены в лагерь Ю. Галансков и А. Гинзбург, выпустившие так называемую «Белую книгу», посвященную процессу Синявского и Даниэля.

Мы пришли в институт, который имел не так уж давнюю собственную бурную историю политической жизни, она продолжалась (на наших глазах и в некоторой скромной степени с нашим участием): незадолго до нашего появления из института был исключен третьекурсник Александр Фенёв, в 1962 году он открыто читал свои стихи, за которые, как за «антисоветскую пропаганду», был осужден на три года лагерей; экстерном в 1961 году окончил институт Леонид Бородин, который в 1967 году за участие в антисоветской организации был отправлен в заключение на шесть лет; в 1968 году был арестован выпускник института середины 50-х годов Леонид Ентин, приятель названных выше, только что осужденных Галанскова и Гинзбурга (сестра Леонида Людмила Ентина в этом году вместе с нами заканчивала обучение); тогда же,

в 1968 году, написал письмо в защиту Галанскова и Гинзбурга редактор нашей институтской многотиражки «Советский учитель» Борис Иванович Иванов, — он тотчас был исключен из партии и уволен; наконец, вспомним о том, как весной и осенью 1956 года Михаил Коносов вместе с будущим пушкинистом Сергеем Фомичевым и еще несколькими студентами 1 и 3 курсов выпустили два номера стенгазеты «Литфронт литфака», где в многочисленных статьях каждый на свой лад авторы поносили соцреализм, при этом содержание газеты, вопреки обыкновению, не согласовывалось ни с парткомом, ни с администрацией; дело приобрело общегородской резонанс, и на факультет разбираться в ситуации специально приехал первый секретарь обкома КПСС Ф. Козлов; в итоге Коносов вынужден был перейти на вечернее отделение, а Фомичев и вовсе уехать доучиваться в провинцию.

Поступив учиться, мы, конечно, совершенно не имели представления о том, что происходило на факультете до нас. Но степень политизированности многих из нас, как видно, была столь высока, что мы, будто нарочно, стали совершать то, что грозило неминуемым скандалом. Впрочем, и мера либерализма на факультете была такова, что, даже помня о недавних эксцессах, никто из факультетского начальства не воспрепятствовал нам выпускать машинописный «Альманах» с некоторыми по-юношески задиристыми материалами, затем достаточно деликатно предложили прекратить подспудное распространение по факультету брошюрок под названием «Старовер», и лишь выпуск стенгазеты «Vita» с целым букетом пацифистских и критических по отношению к политической жизни материалов вызвал разбирательство с участием парткома, окончившееся, впрочем (вот еще штрих к характеристике либеральной атмосферы на факультете), без единой жертвы.

Обнаружив в себе артистические таланты, мы не преминули поставить на институтской сцене что-нибудь политически хлесткое: таковой оказалась, например, постановка «Голого короля» Е. Шварца с легко читавшейся идеей неминуемого разоблачения лживого деспотизма; или инсценировка рассказа Ильи Зверева «Художник Тютюкин», о классическом конфликте художника и общества, разыгравшемся (и это было забавнее всего) в среде шестиклассников, подавивших талант одноклассника своим критическим отношением к его творчеству, так называемым «общественным мнением».

Не делая особого различия между Окуджавой, Галичем или Новеллой Матвеевой, мы с воодушевлением пели:

И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной...

и задиристо повторяли строки А. Вознесенского:

Уберите Ленина с денег.
Он для сердца и для знамен!

Многие из нас сознавали, насколько именно вследствие идеологических препон мы обделены самой материей нашей специальности — литературой. Надо правильно оценить: всего лишь сорок лет тому назад мы должны были отыскивать редкие, давних лет издания (а в некоторых случаях и таковых не могли обрести) писателей: М. Волошина, Б. Пильняка, Н. Гумилева, Д. Хармса, Вяч. Иванова, М. Ремизова, Мих. Кузмина, З. Гиппиус, В. Набокова, В. Ходасевича...

Как раз в те годы, о которых я говорю, влетавшие в нашу жизнь, как беззаконные кометы, одностомники Платонова (1965; напомним, что ни «Чевенгура», ни «Котлована» мы тогда не знали), Бабеля (1966), Цветаевой (1965), Пастернака (1965; конечно, «Доктор Живаго» был никому не ведом), Белого (1966), незадолго до того вышедший «Мелкий бес» Сологуба, первая после 1933 года публикация стихотворений О. Мандельштама («Москва», 1964, № 8) или открытие «Мастера и Маргариты» Булгакова («Москва», 1967, № 11; 1968, № 1) — всё это были лишь парадоксальные подтверждения того идеологического пресса, под которым пребывала литература (нужно еще напомнить, что том Пастернака сразу после суда над Синявским, из-за его предисловия, попал под запрет; редколлегия «Библиотеки поэта» за издание книг Белого, Пастернака и Цветаевой была разогнана; да и сами эти книги было невозможно купить из-за той системы книгораспространения, которая тогда существовала: иному счастливицу, участнику фольклорной экспедиции, удавалось какую-то из этих редкостей добыть, на зависть другим, лишь в значительно удаленном от центра сельском книжном магазине).

Вместе с тем, поле текущей литературы в эти годы (а можно то же сказать и о театре, и кино) было исключительно насыщено яркими явлениями, как говорится, будоражившими умы. Но эта литература, по преимуществу, не была исключением из общей идео-

логизированной атмосферы времени: ценилось в ней, прежде всего, то, что являлось идеологически оппозиционной главенствовавшей коммунистической пропаганде (или из чего такую оппозиционность можно было вычитать). Не говорю уж об «Одном дне Ивана Денисовича» (1962) Солженицына или мемуарах И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1961–1966). Но и антишолоховская книга С. Залыгина «На Иртыше» (1964), и «Июль 41 года» Г. Бакланова (1965), и «Тишина» (1962) или «Двое» (1964) Ю. Бондарева, и «Бабий Яр» А. Кузнецова, и «Мертвым не больно» (1966) В. Быкова, и «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можая (1966), и «Теркин на том свете» (1963) А. Твардовского, и еще многие книги в те четыре года, о которых я вспоминаю, становились объектом бурных дискуссий (в том числе и у нас на факультете), подспудным мотивом которых становилось обсуждение проблем политической истории СССР и современности.

Всё это: тотальный идеологический контроль всех сторон жизни и самого процесса обучения, разнообразные, вплоть до лишения свободы, кары за любую попытку высказывания мнения, не совпадающего с официальным, ограничение доступа к огромному массиву интеллектуально и художественно значимой отечественной литературы и, что не менее важно, сосредоточение духовных интересов мыслящей части общества в значительной степени на вопросах политики и идеологии, — свидетельствовало о болезненном состоянии, в котором общество тогда пребывало. Мы были его частью.

Частью этого организма, безусловно, была и Дина Клементьевна Мотольская.

Однако я хочу сказать о тех свойствах, которые отличали Дину Клементьевну Мотольскую в том мире, в котором в описываемые годы мы существовали, и благодаря которым многим из нас посчастливилось до последних дней ее долгой жизни удостаиваться приятни Дины Клементьевны.

Первое. «Введение в литературоведение», — курс, который первокурсникам читала Дина Клементьевна, — было, по сути, введением во всю проблематику современной литературной жизни. Речь шла об Аристотеле, Лессинге, иных эстетических теориях и литературоведческих категориях, но начиналась или оканчивалась (или прерывалась) всепроникавшей информацией о том, чем и как су-

шествует современный литературный процесс, микрохарактеристиками его участников и ожесточенно противоборствовавших тогда идей. Иной раз могло показаться, что это преждевременно врывающийся подспудный курс современной литературы, — но через четыре года, когда по учебному плану дошел черед до курса «Советская литература», ничего из того, что обсуждала с нами Дина Клементьевна, в нем и в помине не оказалось. Конечно, было бы преувеличением сказать, что Дина Клементьевна прочитала нам в курсе «Введения в литературоведение» еще и курс современной литературы, но безусловно, помимо положенного по учебному плану, посвятила нас, и это, пожалуй, самое важное, в необъявленный курс умения читать, анализировать прочитанное и ориентировать в подлинных и мнимых литературных ценностях.

Второе. Дина Клементьевна Мотольская, прекрасно владея даром лектора, обладала еще удивительным талантом слушателя. Я потому называю это талантом, что с годами убедился, как немного на свете людей, которые, спросив, как у вас идут дела, не перебили бы уже на второй минуте вашего ответа: «А у меня...» — и не перешли бы тут же к протяженному монологу, демонстрируя этим, что первоначальный вопрос был лишь уловкой к тому, чтобы завести разговор о собственных делах.

Не такова была Дина Клементьевна: она не просто искренне, но, я бы сказал, напористо проявляла интерес ко всем сторонам жизни своих учеников (замечу в скобках, что это ее благородное свойство, увы, осложняло контакт с ней в последние годы, когда Дина Клементьевна стала терять слух, а ее не покидало именно желание слушать и слышать рассказы своих собеседников). Таким беседам, когда больше говорит ученик, нежели учитель, конечно, было не вместиться в рамки учебного времени. Тогда общение с Диной Клементьевной перемещалось в ее дом. Я думаю, трудно исчислить всех, кто перебивал у нее в гостях: уверен, что многие не по обязанности совершали эти визиты, но именно вследствие очевидной энергичной заинтересованности Дины Клементьевны в том конкретном человеке, с которым она в данный момент общалась. Эта самоотреченная (особенно в последние годы) устремленность к другому в качестве ответной реакции вела к тому, что Дину Клементьевну многие посвящали не только в свои научные и творческие дела, но и в самые приватные обстоятельства жизни.

Наконец, третье. Дина Клементьевна защищала нас от инфекционной болезни тотального идеологизирования всех аспектов жизни (и болезнь эта, кажется, культивируется и в наши дни) одним эффективным способом. О чем бы ни шла речь: исторических событиях, политических новостях, коллизиях литературного сюжета или перипетиях частной жизни собеседника, — Дина Клементьевна всегда обращала разговор к нравственным аспектам обсуждаемого. Всякий раз оказывалось, что самые политизированные проблемы имеют более существенную, нежели идеология, плоскость — нравственную. Тогда неожиданно обнаруживалось, что совершенно не важно, фигурально выражаясь, к какой ты принадлежишь партии; главное: где источник нравственных постулатов, которыми ты руководишься? При всех неминуемых идеологических различиях многочисленных друзей Дины Клементьевны, этот нравственный источник, я уверен, был общим для всех нас.

Уроки Дины Клементьевны

М.Л. Стусина

Приветствием наш курс встречала Дина Клементьевна.

Первый день в институте. Первая лекция — «введение в литературоведение». Что это такое, представляли себе смутно. Потому и не удивились, когда началось с библиографии. Сведения о книге надо читать на титульном листе: имя автора, точка, название полностью без кавычек, точка, тире, город, где книга увидела свет, точка после Л или М, остальные города полностью, двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка. Так это и осталось в памяти на всю жизнь. Врезалось по значимости момента. Много позже осозналось, каким безукоризненно точным и концептуальным был этот первый шаг в профессию: филология — любовь к слову, чужому слову, знание того, что другие люди думали, говорили и писали до тебя, уважение к предшественникам, умение быть пунктуальным в мелочах.

В этой теперь уже канувшей в прошлое пунктуальности была культура, увы, тоже канувшая куда-то. Но осталась старомодная привычка — открывать книгу, статью, работу студента или коллеги с конца, со списка литературы, с примечаний, комментариев; по тому, как они выполнены, определять уровень сочинения. И что удивительно: простенький и наивный этот критерий не дает сбоев, помогает мгновенно отделить «своих» — знающих и хранящих — от «чужих» — себе позволяющих.

Это был первый урок Дины Клементьевны, и дан он был мягко и ненавязчиво, как все, что она делала. Скажем так: она никогда не акцентировала деталей, но они всегда были не просто значимы, но значительны. Обязательная «Литературная газета» в руках, или «Новый мир», или «Вопросы литературы» — и совершенно невозможно представить себе в этих руках номер «Нашего современника» или «Октября», хотя, несомненно, она их тоже читала по профессиональной необходимости и даже иногда говорила о том, что там напечатано. Но как запомнилось навсегда, что в произведении нет ничего лишнего, случайного — всякая деталь важна и работает на раскрытие замысла автора, так вошло в сознание и то, что может и должно быть в руках у приличного человека.

Еще одна деталь. Дина Клементьевна обычно стояла не за кафедрой, а перед рядами столов, не столько читала лекцию, сколько с нами разговаривала. И вполне можно было (грешна, частенько этим пользовалась) прямо по ходу задать ей вопрос или высказать какую-то свою мысль. Она всегда отвечала и, как правило, сразу. Похоже, наша реакция была для нее важнее собственного заранее продуманного построения. И в этом тоже был урок на будущее, особенно существенный для тех, кто потом стал учителем.

При этом она никоим образом под нас (думаю, что и ни под кого другого) не подстраивалась и от собственного понимания того, что и как надо делать, не отступала. Это стало особенно видно на четвертом курсе, когда Дина Клементьевна читала нам теорию литературы. Теперь, очень много лет спустя можно признаться, что этот ее лекционный курс тогда вызывал у меня довольно сложные чувства. Я была уже во власти другого, скажем — неклассического, литературоведения, занималась математическим анализом стиха, уповала на точность формул, за которой мерещилась окончательная точность смысловая. И на этом психологическом фоне медленное развертывание темы: «Ефим Григорьевич Добин в чрезвычайно интересной книге «Герой. Сюжет. Деталь» написал, что..., а П. П. Палиевский в третьем томе четырехтомной «Теории литературы» по этому же поводу заметил..., в то время, как В. П. Кожин в спорной, но очень значимой работе...» — явно провоцировало раздражение. Ну что бы ей попросту не сказать, что сюжет — это то-то, а значимость детали в том-то. Быстро, просто, ясно и отчетливо.

Господи, как же нам тогда хотелось быстро заполучить в руки простые и ясные истины, как наивно верилось в их существование. А Дина Клементьевна была настоящим ученым, потому прекрасно знала, что никаких незыблемых истин в науке нет, есть лишь бесконечный поиск истины, в ходе которого открывается реальная сложность проблем. К этому поиску она нас и старалась приобщить, а еще — теперь-то это уже понятно — она старалась научить нас уважать чужое, а иногда и совершенно чуждое мнение, потому что без этого уважения нет и не может быть никакой науки, как и никакой нормальной человеческой жизни.

Ни секунды не сомневаюсь теперь в том, что наше недовольство — не такое уж и скрытое — Дина Клементьевна ощущала и причины его понимала. Уверена, что она прекрасно знала, как

сделать лекции понятными, эффектными и успешными. Но она не могла себе позволить отступить от принципов, которые для нее были существенными. В этом нечастом сочетании видимой мягкости с глубинной твердостью, терпимости и широты взглядов с принципиальностью, возможно, и заключался секрет ее особой привлекательности. На ее лекции, даже в ситуации, когда они не нравились, нельзя было не прийти. И не потому, что за это ожидалась кара на экзамене — мысли такой не было. Скажу честно: ходила не на теорию литературы — на Дину Клементьевну, которую нельзя было пропустить, как некое удивительное явление жизни, как один из главных подарков судьбы в институтские годы.

А на экзамене, когда уже было отвечено все положенное по билету, она вдруг задала дополнительный вопрос: «Марина, скажите, пожалуйста, что Вас не устраивает в нашем литературоведении?» Совершенно не помню, что я тогда несла в ответ, но твердо могу сказать, что вопрос остался со мной на всю жизнь и, наверное, в чем-то очень существенном эту последующую жизнь определил.

И когда я об этом вопросе думаю, и еще об одном, неразрывно с ним связанном, — о том, что мне нравится в нашем литературоведении, опять-таки вспоминаю Дину Клементьевну. Несколько лет назад, во время работы над статьей о Чернышевском, я перечитала практически все написанное об этом писателе. Небольшая статья Дины Клементьевны для школьного учебника литературы — среди самых лучших: безукоризненно точная фактически, она вызывает интерес к очень нестандартному герою, после нее Чернышевского хочется читать. Если уж совсем честно, то именно эта для детей написанная статья и определила мою симпатию к нему и готовность взяться за работу. Вот как надобно писать! Это последний урок Дины Клементьевны.

Никто, к сожалению, не знал...

Д. С. Корец

Я запомнила ее с первой же лекции 1 сентября 1954 года. Она спросила, знаем ли мы, кто создал решетку напротив Казанского собора. Никто, к сожалению, не знал.

Она читала курс «Введение в литературоведение», но это было введение в культуру, поэзию, в искусство слова. Я записалась в ее семинар и до сих пор помню, как она разбирала с нами повесть «Фаталист» из «Героя нашего времени». Долгое время, работая в школе, я использовала записи этого семинара Д.К. Она провела тончайший анализ поступков, размышлений Печорина и Вулича и просто «перевернула» наши представления об этих героях. Она учила нас читать, чувствовать слово и наслаждаться словом.

После ее лекций, семинаров никакие курсы методики литературы, по-моему, были не нужны.

У Д.К. я писала курсовую работу по поэтике пейзажной лирики 30-х годов. Ходила к ней на консультации, которые она часто устраивала у себя дома, на Пушкинской. Она умела так говорить со студентом, что ты чувствовал, будто в самом деле делаешь какие-то открытия, и она радовалась и восхищалась твоим открытиями.

Низкий поклон, большое спасибо Д.К. за то, что научила нас (я думаю, что она больше других это сделала) преподавать литературу как искусство слова.

«...Учитель многих и многих поколений филологов-герценовцев»

Н.А. Станчек

Почти полвека вдохновенное слово Д. К. Мотольской звучало в стенах Педагогического института им. А. И. Герцена. Ее имя обычно связывают с кафедрой русской литературы. И это, конечно, справедливо. Но вот о том, как много и плодотворно трудилась она в области методики преподавания литературы, знают не все. Во всяком случае, когда в 2007 году был опубликован очерк «Кафедра методики преподавания литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена. История (1920–1989)», многие с удивлением спрашивали меня, неужели действительно Дина Клементьевна в течение шести лет заведовала кафедрой методики преподавания литературы. Но это было именно так.

Сразу после революции и вплоть до 1944 года кафедра методики литературы то выступала как самостоятельная единица, то методисты входили в состав кафедры русской литературы. Руководил двумя кафедрами В. А. Десницкий.

И вот, когда в 1944 году институт вернулся из эвакуации, по предложению В. А. Десницкого заведующей кафедрой методики литературы была назначена его ученица — Дина Клементьевна Мотольская. Выбор был неслучайным. Еще в 1936 году в «Ученых записках» ЛГПИ им. А. И. Герцена была напечатана статья Д. К. Мотольской «Исторический обзор методики преподавания литературы в дореволюционной школе».

Когда Д. К. Мотольская взяла на себя руководство кафедрой, школа была в тяжелом положении. За время войны многие находки методики 20–30-х годов были забыты, главным и даже единственным направлением работы стало патриотическое воспитание на уроках литературы. Но когда в военных действиях наметился решительный перелом, на первый план выдвинулась и задача изучения литературы в школе как искусства слова. И в работах сотрудников кафедры, руководимой Д. К. Мотольской, значительное место начинают занимать вопросы изучения мастерства и языка писателей. Это было ново и очень своевременно в те годы.

В 1950 году Д. К. Мотольская перешла на кафедру русской литературы, однако связи ее с методикой не прервались. Ее статьи

публиковались в «Ученых записках» кафедры, она была соавтором пособий, адресованных школе. Самыми значительными ее работами в этой области стала написанная в соавторстве с М. Г. Качуриным монография «Методика факультатива по литературе в 8 классе» (М., «Просвещение», 1980). И, конечно, ее участие в учебнике по литературе для 9-х классов, выдержавшем 15 изданий, и пособии к учебнику «Изучение русской литературы в 9 классе» (13 изданий). Д. К. Мотольская была в этих книгах автором главы «Н. Г. Чернышевский» и раздела «Мировое значение русской литературы», а сам учебник и пособие к нему по существу стали настольными книгами учителей и учеников почти двух десятилетий — начиная с конца 60-х и вплоть до середины 80-х годов.

Кроме того, Д. К. Мотольская неоднократно выступала оппонентом на защите диссертаций по методике. Те, у кого она была оппонентом, считались счастливчиками, им завидовали. И было чему позавидовать! Это я могу засвидетельствовать на собственном примере, так как Д. К. была оппонентом на защите моей кандидатской диссертации. И дело совсем не в том, что она была снисходительной, скорее наоборот, она была строгой, но это была мягкая, добрая строгость... Она стремилась выявить все хорошее, ценное, что было в работе, искренне радовалась, если находила что-либо важное для школы. Так, моя диссертация посвящена была вопросам эстетического образования старшекласников, и Дина Клементьевна радовалась, что на смену чисто идеологическому изучению литературы в школе приходит более серьезный подход. А в ее советах сквозила такая вера в мои силы, что это окрыляло и обязывало.

Когда мы разговаривали с Д.К. о моей диссертации, я почему-то вспомнила руководителя моей первой курсовой работы в Университете — Б. М. Эйхенбаума. Он предложил мне, первокурснице, подумать над темой фатализма в творчестве М. Ю. Лермонтова. Когда я спросила его, что мне стоит прежде всего почитать из научной литературы, он посоветовал внимательно перечитать произведения М. Ю. Лермонтова, поскольку по этому вопросу толком ничего не написано, и радостно сообщил, что в том-то и состоит весь интерес темы, что все, что я открою, будет новым, ранее неизвестным. В его словах было так много уверенности в моих силах, что я больше всего боялась не оправдать его ожиданий.

Почему-то, общаясь с Д. К., я вспоминала Бориса Михайловича. Я совсем не хочу сравнивать их научный потенциал. Я просто хочу сказать, что Д. К. принадлежала к тем, к сожалению, не так часто встречающимся преподавателям, которые не просто хорошо, внимательно относятся к студентам, а для которых совместная работа с младшими коллегами по-настоящему интересна и является потребностью их души.

Мы работали с Д. К. на разных кафедрах: она — на кафедре русской литературы, я — на методике литературы. Поэтому я общалась с ней не так часто и у меня не так много в запасе наблюдений, которые позволяли бы мне рассказать о ее реакции на то или иное событие или научное обсуждение. И все же мне приходилось, если пользоваться современными терминами, встречаться с ней в неформальной обстановке, в узком кругу.

Дело в том, что Дина Клементьевна была дружна с Тамарой Васильевной Чирковской. У нее, несомненно, были и другие друзья, она была общительным человеком. Но это была старая, проверенная временем дружба. Обе они были примерно одних лет (три года разница в возрасте), обе пришли на факультет еще в предвоенные годы, наконец, их связывала и работа на общей кафедре, когда Дина Клементьевна была заведующей кафедрой методики. А Тамара Васильевна и я отвечали за организацию работы кафедры по учебному телевидению и ее координацию с Ленинградским телевидением. Мы часто трудились вместе дома у Тамары Васильевны, и я была свидетелем ее теплых, доверительных бесед с Диной Клементьевной. Одна такая встреча мне особенно запомнилась. Это было в конце 70-х годов.

В это время Тамара Васильевна была уже в преклонном возрасте и оформила на меня доверенность на получение денег за целый цикл учебных передач по теории литературы для 4–7 классов. И вот однажды я принесла ей эти деньги, за весь цикл передач по теории литературы. Как раз в это время у нее в гостях была Дина Клементьевна.

Но Тамара Васильевна не соглашалась взять деньги, так как оказалось, что при повторе этих передач без согласования с ней была исключена и заменена часть текста (примерно 10 процентов от написанного). При этом надо заметить, что в титрах, по тогдашним правилам, наши имена не указывались. Обычно автор выступал и в

качестве ведущего, но Тамара Васильевна считала, что учебные передачи для младших школьников не должны вести люди в ее возрасте и специально подготовила учителя для этой роли. Так что тем, кто принимал передачи, не было известно, кто их автор. Однако Тамара Васильевна сказала, что не может считать передачи своими в таком переделанном виде, а следовательно, не может взять деньги. Но и я не могла оставить деньги у себя, так как вообще не имела никакого отношения к этим передачам.

Что же делать? Воевать с телевидением в 70-е годы было совершенно бесполезно. Мы никак не могли придумать, как с честью выйти из такой ситуации. И тогда мы решили сдать эти деньги в фонд Мира, о чем я и сообщила главному редактору учебных передач телевидения. Чтобы понять всю двусмысленность этой ситуации, отмечу, что в те годы сбор денег в фонд Мира был широко разрекламированной официальной акцией. Обычно деньги сдавали целые учреждения, иногда так поступали люди, получившие Государственные премии. Поэтому в нашем поступке заключалась небольшая доля иронии. Похоже, на телевидении это поняли.

В заключение хочу лишь пояснить, почему я так подробно написала о событии, где Дина Клементьевна не была главным действующим лицом. Я верю в мудрость пословицы: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

Когда я обдумывала, что написать о Дине Клементьевне, я разговаривала со многими бывшими моими студентами, хорошо ее знавшими. К сожалению, я не умею писать с чужих слов, но я помню, как светлели их лица, как загорались глаза, как теплел их голос. Так бывает только тогда, когда вспоминают не просто любимого и уважаемого преподавателя, но и достойного, душевного человека.

Рядом...

Г. С. Золотухина

Я поступила в институт в 1956 году. Со мной вместе учились Наташа Альтварг, Лёня Аронзон, Герман Филиппов, Юра Шмерлинг и Лариса Хайкина, Ира Земскова, Лариса Шевченко и Лариса Иванова, Неля Панкратова и многие другие, кого, наверное, помнят те, что были на один-два курса старше или моложе нас.

Дина Клементьевна читала у нас «Введение в литературоведение», и поначалу она показалась мне преподавателем суховатым, даже «официальным», что, как я думала, и должно было соответствовать ее сухому теоретическому курсу (все теории казались мне очень скучными).

Д.К. была куратором нашей группы и вела практические занятия.

Мы сидели в аудитории, разбирали какие-то стихи, и в аудиторию вошла кошка. Д.К. взяла ее на руки и так, поглаживая, продолжала вести занятие, что было очень мило, и мы выделили ее из всех преподавателей — я и другие.

Еще один эпизод. Я сидела в кабинете литературы и читала «Литературные мечтания» Белинского, а Д.К. беседовала там с какой-то северянкой. Я вначале читала, читала, а потом стала слушать. Беседа была очень долгая, очень въедливая. Разбиралась каждая фраза, каждая мысль очень вдумчиво, очень внимательно. В результате Д.К. поставила ей «3», и меня это очень поразило, потому что другие наши педагоги так долго с посредственными студентами не возились.

Спасаясь от рутинной скуки, некоторые преподаватели разнообразили прием экзаменов профессорскими экстравагантностями.

Я помню, как одной девочке из нашей группы попались на экзамене «Коробейники» Некрасова, и она упорно называла их «корабельниками». Касторский поставил ей тройку и сказал: «Иди, мать моя, на тебе «3»».

Потом из институтского фольклора я узнала, что так говорил старый Десницкий. Только он был добрее, хотя и выражался резче: «Дура ты, мать моя, на тебе четверку на хлеб». (С тройкой стипендии не давали.) А М.Н. Ботвенник говорил в подобных случаях так: «Зачем такой красивой девушке наука?» И ставил четверку.

Другие преподаватели могли на экзамене разговаривать между собой, а Д.К. поразила меня тем, что всегда выслушивала каждого и возилась с самыми бесперспективными людьми очень вдумчиво и очень внимательно, не теряя надежды услышать от них что-нибудь разумное.

Я не отличница, у меня были и троечки. Шишкина мне тройку влепила. Я ей заявила, что 2-ю часть «Поднятой целины» не читала и читать не буду. Из-за этой тройки и еще какой-то меня не хотели допускать к защите диплома. Я узнала потом, что Д.К. отстояла меня. Она запомнила мой ответ на экзамене (анализ стихотворения Некрасова), ей понравилась моя курсовая работа, и она доказала, что я вполне способна написать дипломную работу.

Когда я выбирала тему, я не смотрела, кто руководитель, главное — чтобы тема была по душе. Я выбрала такую: «Пушкин в своих письмах о писателях-современниках». Руководителем оказалась Д.К. Я была этому очень рада, потому что давно уже возникла наша взаимная симпатия.

Я была у нее дома, познакомилась с ее мамой. (Они жили тогда на Невском.) И вот с тех пор я с ней близко знакома.

Защита прошла хорошо. Работа, конечно, слабенькая, я перечитала недавно, но единственное ее достоинство — я абсолютно не могу списывать, и Д.К. это оценила. Ей понравился один кусочек, она мне потом все время его вспоминала. Я привожу слова Пушкина о Жуковском: «Что за прелесть чертовская твоя небесная душа!» — и обращаю внимание на оригинальное и остроумное сочетание, казалось бы, контрастных понятий.

Д.К. хотела опубликовать это мое наблюдение, но я уехала по распределению в Сибирь, и дело заглохло.

Работала там год и вернулась, потому что тяжело заболел отец. Я приехала летом, а осенью он умер. Я осталась здесь, потому что была очень больна бабушка, а брата не было, он служил во флоте. С большим трудом (я ездила в Москву, в министерство) меня тут оставили.

После папы скоро умерла бабушка. Я уже не была так привязана к дому и навестила Д.К. Стала у нее бывать. Просто разговаривали, беседовали с удовольствием. Потом черт дернул кандидатскую делать — соискателем. Д.К. поддержала меня, помогала советом. Моя соискательская работа о «Братьях Карамазовых» показалась ей ин-

тересной, и я собиралась и диссертацию посвятить этой теме. Я сдала два кандидатских экзамена, но тяжелая болезнь мамы и ряд других неблагоприятных обстоятельств привели к тому, что из моей научной затеи ничего не вышло.

Время от времени я навещала Д.К. Когда она переехала за Автово, там у нее бывала. Потом бывала у нее 3–4 раза в год. А когда ей стало хуже и хуже, стала приходить все чаще и чаще. Потом — почти каждый день до конца. Часто оставалась ночевать.

Она очень страдала. Но именно в это тяжелое время раскрылись многие замечательные черты ее личности.

Во-первых, меня поражало в Д.К. ее полное несовпадение со мной: ее колоссальная выдержка, воля и умение всегда быть на высоте. Несмотря на то, что она была и слепа, и глуха, она никогда не позволяла себе расслабляться. Она никогда не могла допустить, чтобы ее застали в каком-нибудь непритязательном виде. Днем она позволяла себе полежать, но утром она вставала в 8 часов. Я говорила: «Д.К., полежите, поспите еще». Но она обязательно должна была встать, одеться, убрать постель. Такая самодисциплина меня поражала. Она всегда была в полном порядке.

Во-вторых, поражала ее необычайная память, заботливость обо всех. Она никогда никого не забывала, волновалась, кто как себя чувствует, и до последнего времени каждый день звонила по трем-четырем адресам, справляясь о здоровье или поздравляя с днем рождения. В общем, она всех и всегда помнила.

И, конечно, необычайная доброжелательность. Наверное, Д.К. единственный человек в моей жизни, от которого я не услышала дурного слова о ком-либо. Она говорила только о том, кто и как ей помог.

Она пережила большой страх во время борьбы с космополитизмом и рассказывала, как ее утешали, пытались ей помочь, и ее, слава богу, миновала большая беда.

Она с благодарностью вспоминала Я.С. Билинкиса, который стоял на том, чтобы единственный номер «Нового мира», выписанный на кафедре, отдали ей.

Она не могла забыть, как в эвакуации одна женщина, жена известного театроведа, отдала ей свое платье и Д.К. поехала в нем на совещание в Москву. С уважением вспоминала она о своем бывшем муже и, мне кажется, всю жизнь жалела, что они расстались. Она

рассказывала, что он получил повышение и новое назначение. Нужно было ехать в Сибирь. А мама не хотела, и Д.К. оставить ее не могла.

Однажды она со смехом рассказывала, как кто-то предложил ей выйти замуж уже в пожилом возрасте. Вероятно, у нее была еще сильная любовь в начале войны, но человек этот погиб. Она сама не раз искала (вслепую!), пыталась найти книжечку с его надписью.

Часто вспоминала она о курсе Лёни Шеймана и говорила, что такого единения, взаимопонимания и взаимной любви она больше в жизни не встречала. Может быть, сказалась война, трудные обстоятельства жизни.

Она много рассказывала мне о Лёне, восхищалась его мужеством. Она продиктовала мне свои воспоминания о нем. Мы закончили эту работу 15/V 2005 г., а на следующий день ее увезли в больницу, откуда она уже не вернулась.

Удивительно, что, слыша много похвал в свой адрес и радуясь им, Д.К. относилась к себе критически. Она говорила мне, что она лодырь, что не стремилась к научной карьере, что до 3-го курса она еще старалась, а потом влюбилась и не стала уделять много внимания научной работе.

Из своих статей она больше всего ценила то, что они вместе с Кирой Ивановной Соколовой написали о лирике Пушкина.

Пушкина она особенно любила и очень хорошо относилась к В. Непомнящему, который его прекрасно читает и глубоко понимает. Больше всего она любила стихотворение «Монастырь на Казбеке», часто просила меня его читать и сама читала наизусть — до самых последних дней. Наверное, это маленькое стихотворение было ее утешением, отрывая от земных горестей и вознося в заоблачную высь.

В течение многих лет Галя Золотухина вела переписку Д.К.: читала ей полученные письма и отвечала на них под ее диктовку. Поэтому в каждом письме М. Г. Качурина и М. А. Шнеерсон — благодарность «нашей милой посреднице», «нашей милой, доброй связистке, без которой наша переписка была бы невозможна».

Такая маленькая, держит внимание огромной аудитории...

И. В. Селиванова

Летом 1949 я сдала экзамены на филфак Университета с проходным баллом, но в списках зачисленных себя не нашла. Такая же участь постигла еще нескольких ленинградцев; объяснение оказалось простым: на наши места зачислили зарубежных абитуриентов. И, чтобы не потерять год, несколько девушек подали свои документы на филфак Герценовского института с намерением на следующий год перевестись в университет.

Но первая же встреча с Василием Алексеевичем Десницким (друг М. Горького, знакомый Ленина), его рассуждения о роли педагога слегка поколебали наши намерения.

И совсем не захотелось никуда уходить после первых лекций Д.К. Полюбился ее высокий громкий голос, неповторимая дикция, манера медленного четкого чтения, огромная убежденность, истовость настоящего учителя.

Умиляло то, что она, такая маленькая, держит внимание огромной аудитории. И в то же время было в ней что-то родное, домашнее. В перемену она всегда была окружена студентами. Поэтому так легко мне было представить ее у нас дома, казалось, что она подружилась бы с моей мамой, что впоследствии и произошло.

Читала она курс теоретический. Понятия реализма, народности, партийности; имена Белинского, Добролюбова, Чернышевского слышались чуть ли не на каждой лекции. И совсем иначе звучал ее голос, в нем не было обычной «истовости», когда ей приходилось говорить о свежих постановлениях партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», — к сожалению, никаких подробностей не помню. Нынешнему поколению студентов не представить условий, в которых приходилось преподавать Д.К. и другим преподавателям факультета. Особенно тем, семей которых никак не коснулись ни террор 30-х, ни репрессии 50-х.

...Мне довелось работать на литфаке в середине 60-х гг., когда лекции читали Я.С. Билинkis, Н.Я. Берковский, Б.Ф. Егоров, В.Н. Альфонсов, а на факультете иностранных языков вел семинары Е.Г. Эткинд. Но Д.К. была любима новым поколением студентов, как и нами. Это было время увлечения Твардовским и «Новым

миром», выход каждого номера которого отмечался как событие. Целый стеллаж «Новых миров» так и стоит в коридоре перед комнатами Д.К. Разумеется, она знакомила со всем, что было дорого ей, студентов. Без этого она жить не могла.

Моей соседкой и близким другом стала очень пожилая женщина, почти слепая, но не потерявшая ни энергии, ни горячего интереса к окружающей жизни, Аида Иссахаровна Басевич, дочь петербургского инженера-строителя, в прошлом студентка Зубовского института. В 20-е гг. она была арестована за организацию помощи сокурсникам, которых взяли раньше. Вспомнили о ней на собрании моряков, в доме обнаружили книги Кропоткина — и сострепали обвинение в анархизме. Отправленная в Сибирь по этапу, она провела в тюрьмах и ссылках более 17 лет. Д.К., услышав от меня о ней, навестила ее.

А так как мы с мамой жили этажом выше, то поднялась и к нам, познакомилась с мамой, с интересом смотрела нашу библиотеку. Встреча Д.К. и мамы была очень теплой. С тех пор Д.К. и сама позванивала мне, осведомлялась о маминим здоровье. А ей становилось все хуже и хуже. Мне дороги были эти звонки и разговоры.

...Я вернулась к Д.К. только в последний год ее жизни, точнее, за несколько месяцев до ее конца. До сих пор ощущаю удар в сердце — вижу ее слепые глаза — слепые, воспаленные. В течение многих лет невидящая и неслышащая — какую же силу духа, какую любовь к жизни нужно было иметь, чтобы не отчаиваться, не опуститься; во многих же реакциях на приходящих, книги остаться прежней молодой энтузиасткой. Старость и страшные недуги в этот момент отходили. С большой озабоченностью она как-то сказала мне, что ей не дает покоя одна старая мысль — почему многие стихотворения Пушкина, очень серьезные, даже трагические, написаны легким, веселым хореем? Вот если бы пришел Лёня Дубшан, то, наверное, смог бы объяснить. Она была счастлива, когда ей читали. Наташа Левина читала ей «Онегина», мне довелось читать Тютчева. С каким напряженным вниманием и радостью слушала она знакомые и любимые строки.

Поражало то, что она помнила десятки имен своих учеников, темы их курсовых и дипломов, диссертаций, обстоятельства их семейной жизни. Никакого погружения в себя, а живой и искренний

интерес к другому человеку, чрезвычайно редко свойственный такой глубокой старости.

Когда она задремывала, я просматривала книги ее библиотеки и останавливалась на тех, на которых были дарственные надписи.

Визиты мои к Д.К. закончились в марте 2005 г.: я готовила к печати книгу о моем отце. Частые и долгие поездки в издательство отнимали все время и все силы. А телефонные звонки, конечно, не заменяли живого общения. И в больницу я тоже не успела прийти попрощаться. Потеря не только любимого учителя, но и родного человека — так я ощущаю уход Д.К. Теперь прихожу к ней чаще, чем при жизни: Д.К. похоронена в нескольких минутах ходу от могилы моих родителей.

«Да, я знаю, что такое любовь!»

Б. Ф. Егоров

Маленькая, живая, с лучистыми глазами, Дина Клементьевна сразу же обратила на себя внимание. Я познакомился с нею на какой-то конференции, еще на заре оттепели, еще до моего прихода на кафедру Герценовского пединститута. А уж когда меня пригласили в 1968 году заведовать кафедрой русской литературы, то общение с Диной Клементьевной стало если не ежедневным, то почти ежедневным. В круговерти дел и поездок, увы, размышлялись человеческие взаимоотношения; я, к сожалению, недостаточно крепко и глубоко дружил со старшей коллегой, но ее образ всегда клубился в душе.

Дина Клементьевна — типичный российский интеллигент с его двумя главными качествами: превосходство духовного над материальным и преобладание отдачи себя другим над эгоистическим желанием брать себе от других. А индивидуально Дина Клементьевна отличалась в обеих ипостасях исключительно яркой интенсивной деятельностью: такие люди от Бога, от рождения созданы для воспитательно-педагогической работы со студентами и аспирантами.

Наряду с общим обликом Дины Клементьевны в памяти сохраняются нестандартные частные эпизоды. Она читала, стараясь читать все ценное, что печаталось у нас: романы, сборники, журналы... Старалась читать и самиздатное и тамиздатное. Старалась узнать о белых (а иногда и кровавых!) пятнах в нашей истории. Однажды (шли вместе домой) я заметил: «Какой ужас, какая потеря для отечественной науки гибель Николая Вавилова». Дина Клементьевна тут же, не задумываясь: «Да, гибель Вавилова, Мейерхольда, Михоэлса — страшное горе для нашей культуры». И стала подробно говорить о потерях 1937 и последующих годов в театральной сфере.

А еще не могу не сказать об интимном эпизоде. Был у нас напряженный разговор о конкретных людях и конкретных отношениях. И в самом начале разговора (я был инициатор) я задал щекотливый вопрос: «Дина Клементьевна, вы знаете, что такое любовь?» Ох, как она оживилась! Как загорелись ее глаза! И удивительно весомо произнесла: «Да, я знаю, что такое любовь!» — и после этого трудный разговор принял более гладкое продолжение.

Жаль, что в 1970-х годах, самых интенсивных по общению с Диной Клементьевной, я не вел дневника: ведь многое можно было бы восстановить, ныне, увы, ушедшее из памяти.

Я ее очень любила...

Е. М. Таборисская

С 1973 г. до смерти Дины Клементьевны я ее знала, ею восхищалась, с нею имела счастье общаться. Когда я в 1978 г. защитила диссертацию, Дина Клементьевна устроила для меня и моих друзей дивный пир у себя на квартире на ул. Маршала Жукова. Она угощала нас чудным пирогом с яблоками, в тесто которого полагалось класть вареные яйца.

Что я ей? Чужая аспирантка, которая дружила с ее бывшей студенткой Аней Штейнгольд... Дина Клементьевна рецензировала мою кандидатскую и одобительно отозвалась о ней. Но это тоже не повод. Она была редкостной, щедрой, внимательной. А со временем я выросла в окружение Дины Клементьевны.

Нечастые визиты на улицу Марата, где Дина Клементьевна жила последние 20 лет, были для нас всегда праздником общения. У нас была традиция приносить Дине Клементьевне цветы. Даже когда она уже ничего не видела, цветы ей доставляли удовольствие. А мы старались покупать цветы душистые.

Дина Клементьевна довольно часто вспоминала то школьные годы (она училась в Басковом переулке, а мы жили на углу Баскова и Восстания), то годы войны, блокаду, Пермь, но чаще рассказывала о своих бывших студентах, о которых знала все: кто, где, чем занимается, что делают дети, кажется, даже внуков всех знала.

Но главный вопрос: «Что Вы делаете? Над чем работаете?»

Она надиктовала мне интереснейшие воспоминания о пушкинских торжествах 1937 г., и мы их напечатали в институтском сборнике в 2000 г.

У меня на память остался трехтомник по теории литературы — бесценный.

Я ее очень любила.

«...Мало таких людей, но ими расцветает жизнь всех...»

М. И. Медовой

Мы учились в счастливое время. В счастливое не только потому, что хрущевская «оттепель» позволила набухшим почкам раскрыться. Конечно, несправедная власть все еще и долго еще потом казалась незыблемой, но у тех, кто не намеревался стать начальником, видимых симпатий не вызывала. Конечно, многое было тогда табуировано, и все же стремление к правде было осязаемым, а действительность обретала многоцветье.

Мы учились поистине в счастливое время, потому что в ЛГПИ им. Герцена тогда преподавали действительно замечательные люди. Не забыть эффектные лекции С.Б. Окуня, строгие и емкие чтения другого историка — Г.Р. Левина, рассуждения педантичного (тогда казалось, по-немецки педантичного) Б.Я. Геймана, напористое повествование обаятельного Я.С. Билинкиса. Мы слышали виртуозные лекции, казавшиеся произведением искусства, Е.Г. Эткинды, поражающие красотой мысли выступления легендарного Искоза — А.С. Долинина. Н.Я. Берковский поражал неспешностью, большими пробелами между словами и фразами, насыщенностью возникавших в тишине аудитории формулировок, отточенностью мысли. На этом фоне лекции Д.К. Мотольской у многих вызвали вопрос, *насколько* они хороши (в том, что хороши, пожалуй, едва ли кто сомневался). Д.К. читала «Введение в литературоведение» и «Теорию литературы» и строила эти курсы, как музыкант фугу. Богатство ее полифонии обнаруживалось постепенно, и только со временем выяснилось, что ее курсы были на редкость полезны.

Педагог, рассчитывающий на сиюминутный успех, на общее признание, — плохой педагог, а Д.К. была педагогом прекрасным, учителем, побуждающим к совершенствованию, к труду. Она не поучала, а размышляла, указывала на возникавшие тогда в науке тенденции и исподволь снимала «хрестоматийный глянец», разрушала привычные подходы. Д.К. учила любоваться текстом, открывать в деталях сущность явления, улавливать перспективы его развития и корни.

Уже после окончания института мне удалось побывать на одной из ее лекций. Потом я сказал: «Д.К., нам Вы этого не читали». — «Я ведь меняюсь», — насколько я помню, ответила она, и была права.

Д.К. была открыта новому, всматривалась в меняющуюся жизнь с пониманием и доверием. Она была человеком демократических устремлений, поэтому с большой симпатией относилась к Твардовскому и его «Новому миру». Помню, как взволнованно она прочитала мне: «Когда русская проза пошла в лагерь, в рудокопы, а кто потолковей — в актеры...» Тогда не пользовались омертвевшим словом «тоталитаризм», но говорили о трагизме существования, преемственности, исторической правде, движении истории.

Д.К. была противником несправедливости, как бы и в чем бы она ни проявлялась, предпочитая перетерпеть, «не противясь злumu». Она оставалась верна себе, сохранила веру в жизнь вопреки всему. В этом убедил меня последний разговор с ней, в центре которого оказался «Верный Руслан», книга, о которой она говорила восхищенно, вздохнув, подчеркивая ее трагедийную сущность.

Она была человеком музыкальным. И хотя ее пианино всегда было завалено книгами, а о музыке она предпочитала не говорить, то немного, что удавалось услышать, звучало весомо и было глубоко прочувствовано. Ей нравился Ван Клиберн (его фотография в компании с Ахматовой, Пастернаком и Твардовским стояла за стеклом книжной полки), и о его игре, как и об игре Горовица, Д.К. говорила не вообще, а с пониманием пианистической техники. Вероятно, она следила за музыковедческой литературой. Во всяком случае, с большой теплотой отзывалась о работах Ю. Кремлева.

Д.К. любила «омузыкаленное слово», ей нравилась поэзия Н. Матвеевой. Она любила повторять «Эти дома без крыш», глядя на соседние коробки из окна дома 52 по ул. Маршала Жукова, куда ее переселили, предварительно, как полагается, обманув, — объявив, что ее дом на Пушкинской после ремонта станет гостиницей.

В стихотворениях Д. Самойлова радовало ее сильное нравственное чувство. «Поэт и Анна» нравились ей необычайно. Как поэт и прозаик ее привлекал В. Солоухин. Когда она, вынужденная ухаживать за больной матерью, успевала читать, можно только гадать. А она успевала еще и бывать в театрах. Из актеров, помнится, выделяла молодого Юрского, влюбленного, по ее словам, в актерскую игру, из режиссеров — Эфроса.

Суждения Д.К. о людях и книгах были строгими и пронизательными. При этом она никогда не настаивала на своем, допускала иное мнение: порой, выслушав собеседника, поправляла себя.

Внутренним, музыкальным слухом улавливала Д.К. фальшь, в чем бы она ни проявлялась: в поступках ли, в словах ли, в трудах ли. Она ценила искренность и убежденность, талант и работоспособность, всегда радовалась успехам своих питомцев. На полочке небольшого шкафа теснились сувениры: деревянные, глиняные, фарфоровые безделушки, подаренные ей учениками. И Д.К. помнила: «Эту куколку подарила Инна Альми, это — от Наташи Альтварг...» И т.д.

Д.К. дорожила людьми, и это делало ее жизнь содержательной и значительной.

Путем зерна

Л. С. Дубшан

Нам было по семнадцать-восемнадцать в 1967-м, когда мы пришли на первый курс, а ей — 60. Бабушка. Маленькая, в больших очках. Внимательная, доброжелательная... Нет, все-таки сквозь сорокалетнюю толщу мне к ней тогдашней не пробиться, получается какая-то стилизация, безответственная и бессильная (м. б., основывающаяся на встречах гораздо более поздних). Но уж никак не «бабушка», это домашнее слово здесь, точно, не подходит, — она была общественница, «homo politicus», человек политический и человек полиса, человек партии, той, которая именуется — интеллигенция (в слове этом, если не ошибаюсь, звучало у Дины Клементьевны мягкое, юго-западное «ц», — оставшееся от ранних ее украинских лет). Разумеется, — советская интеллигенция, но и шире. Свою помещенную в Сети автобиографическую заметку она начала знаменательными словами: «Я родилась в интеллигентной семье. Мои родители участвовали в социал-демократическом движении. Мать хорошо знала Троцкого...». Подчеркивалась, таким образом, потомственная принадлежность к интеллигенции радикальной, революционной, и не станем тут скептически улыбаться, — кто оспорит двигавшую этим сословием силу благих намерений? И то, что предметами изучения Дина Клементьевна сделала Чернышевского с Добролюбовым, было, конечно, выбором в подобном же духе — родовом, интеллигентском. Как и твердая ее приверженность к шестидесятнической, новомировской, «оттепельной» идеологии, к Твардовскому с Лакшиным, которых она неустанно (все помнят) в своих лекциях пропагандировала.

Она воспитывала и учила, она просвещала (слово «просвещение», взятое не в «учпедгизовском» только смысле, но в большом историчерком объеме его значения, тоже, я думаю, к Дине Клементьевне как-то подходит). О том, как именно «вводила» она нас в литературоведение, ничего определенного сказать не могу — конспекты ее пропедевтических лекций у меня не сохранились. Осталась, однако, рукопись первокурсника, сочинение под длинным ученым заглавием «Особенности ритмико-синтаксического строя стихотворения Пушкина «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...» и их эстетическое значение», и, судя по тому, как храбро

я там орудую терминами — всякими «пиррихиями», «цезурами» и «клаузулами», — дело обучения вчерашних невежественных школьников филологической азбуке было поставлено эффективно. И еще одна древняя работа — курсовик, написанный, как указано на титульном листе, под руководством «доц. Д. К. Мотольской»: «Роль раздела «Волны» в композиции поэтической книги Б. Л. Пастернака «Второе рождение»». Это уже II курс. (Почему она мною руководила и в тот год? — читала-то ведь только на первом курсе и на четвертом. Или я был в ее семинаре? Не помню.) Любопытно вот что: в тексте я ссылался на «вступительную статью к сборнику 1965 года» и кусок из нее цитировал, а принадлежала эта статья в пастернаковском томе БС «Библиотеки поэта» Андрею Синявскому, который к данному моменту три года уже сидел в Дубровлаг. Кроме того, дело происходило после августа 1968-го, после Праги, когда идеологическая придирчивость у нас усилилась. Конечно, это была бравада, и, конечно, Дина Клементьевна все разглядела — и выставила на краешке последнего листа «отлично», расписалась, обозначила дату: 5/V-69 г. Сейчас думаю: не «подставлял» ли я ее? — мог ведь и еще кто-нибудь поинтересоваться.

Читаю списки использованной литературы, приложенные к сохранившимся работам, и в них тоже проступает теперь что-то мемориальное. В обоих перечнях значится, например, сборник «Слово и образ» 1964 года (статья В. Е. Холшевникова об интонации классического стиха, статья И. Б. Роднянской о Заболоцком) — это ведь с ее, Дины Клементьевны, подачи прочитано. И «Поэтический словарь» А. П. Квятковского — из ее рук, и книги Б. В. Томашевского о стихе, и «О лирике» Лидии Яковлевны Гинзбург, Е. Г. Эткинда — «Об искусстве быть читателем», — кажется, тоже.

Вот насчет «Лекций по структуральной поэтике» Ю. М. Лотмана, выпущенных в Тарту в 1964-м, не уверен, — до них я, может быть, дошел и другими путями. И, припоминая, подошел как-то к Дине Клементьевне с восторгами по поводу только что вышедшей книги Г. Гачева «Содержательность художественных форм (Эпос. Лирика. Театр)» 1968 года, — книги, где помимо прочего поразила меня вольная эссеистичность стиля — и удивился, что она мой энтузиазм не разделила. Хотя трехтомную «Теорию литературы» (где в авторах был Г. Гачев вместе с В. Кожинным, П. Палиевским, С. Бочаровым, В. Сквозниковым и др.) то и дело поминала, ценила, рекомендовала.

А еще покоится у меня в комодке своя «Теория литературы» — зеленая тетрабочка с названием дисциплины на обложке и с датой на первой странице — 25/XI-70. Это уже Дина Клементьевна просвещает четвертый, последний наш, курс — это конспект ее лекций, где излагались разнообразные былые подходы к словесности: историко-культурная школа, историко-биографический метод, компаративизм, историко-психологическая концепция... Пыпин, Котляревский, Сакулин, Веселовский Александр Николаевич, затем — Потенба, Горнфельд, Овсяннико-Куликовский... И записано все так подробно, так прилежно, — просто себя не узнаю. Вот Фриче и Переверзев с их «вульгарным социологизмом». А вот и Маркс с Энгельсом, чей социологизм совсем не вульгарен. И Ленин, Ленин, конечно же, — статьи о Толстом. И ОПОЯЗ. В какой-то момент мой почерк обрывается (что стряслось, куда я делся?) и начинается другой, чужой — чей же? Девичий, конечно (юноши ленивей, да и мало их у нас было). Упомянуты тут и Д. Лихачев, и В. Кожин, и отличный искусствовед Дмитриева Нина Александровна. К ним я впоследствии обращался немало, а вот классику отечественной филологии, XIX век, как не знал, так и не знаю. И не узнаю уже. С тем только, что успела сообщить Дина Клементьевна, и останусь.

А она для меня останется — вот в этих именах, в этих названиях научных школ. В библиографиях и справочниках, вкус к листанию которых воспитан ею. В добродетели филологического усердия, терпеливо ею прививавшейся и как-то все-таки нам привитой. В общественном небезразличии, пример которого она подавала.

Не маловато ли? — на три с половиной десятилетия знакомства. Где живые черты и черточки, слова и словечки, ситуации и случаи? Где пластика? Но лекции ее не были театром (у иных профессоров и преподавателей — блестящим), и реализовывалась она, я думаю, не в пластике, а как-то иначе. Атмосферически, что ли.

Или это у меня память так устроена, — что конкретно-предметное в ней почти не удерживается? Хотя вот недавно где-то я прочитал, что как раз то, что, казалось бы, напрочь забыто, — оно и является усвоенным наиболее полно. В нас растворенным, ставшим — нами.

Может быть, и так. Может, так и надо, — быть, как «зерно» из притчи, из стихов Ходасевича.

Или, как в стихах Пастернака, — тех, где нас призывают «погружаться в неизвестность». И у него же:

...Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье...

Гляжу на фотокарточку 1971-го, выпускного моего года. Мы в гостях у Дины, в ее отдаленной, новостроечной квартире. Тарелочки, бутылочки. Я нежно гляжу на Сашеньку Парамонову, Наташа Логунова — чуть ли не на меня, еще какие-то девочки друг на дружку, Коля Крышук, товарищ мой (учившийся в ЛГУ, но к нам, герценовцам, здесь примкнувший), — прямо в объектив. А хозяйка — чуть позади и как-то надо всеми. Как дух божества на античных рисунках Пикассо.

Нам здорово повезло...

Е. Н. Петрова

Мои воспоминания о Д.К. связаны с 1-м курсом, первыми занятиями в институте.

Я была студенткой 2-й группы, и нам здорово повезло: семинары по введению в литературоведение — загадочный поначалу для меня предмет — вела в нашей группе Д.К. И об этих занятиях я вспоминала все 40 лет.

Я вспоминаю маленькую женщину с ласково-умными глазами, с ниточками седины в черных густых вьющихся волосах, скромно одетую, спокойно-доброжелательную всегда по отношению к нам, студенткам-первокурсницам, которые почти ничего еще не знали и не умели.

Чем мы занимались на семинарах у Д.К.? Она учила нас самому трудному — конкретному анализу художественных произведений. И первое задание, которое мы получили на первом же семинаре, — перечитать роман Лермонтова «Герой нашего времени» и подумать об особенностях его композиции и ее роли в раскрытии характера Печорина.

Лермонтова я любила и, как мне казалось, знала... Его стихи прочитала все еще в 10 лет, в четвертом классе, и перечитывала много раз. Роман «Герой нашего времени» (в дешевеньком послевоенном издании) прочла впервые в пятом классе, как только книга появилась в нашем доме — купил отец. Двухтомник же стихов Лермонтова сохранился у нас с далекой довоенной поры (в войну, в блокаду, девушки из ПВО, которые жили в нашей квартире, сожгли почти все книги, которые были у нас. У них не поднялась рука на 6-томник Пушкина, двухтомник Лермонтова и на собрание сочинений Гоголя). Эти-то книги и были моим первым чтением еще в начальной школе.

Я перечитала — опять с увлечением — роман Лермонтова и статьи Белинского о нем.

Когда на семинаре Д.К. назвала мою фамилию, то сердце у меня ушло в пятки. Спотыкаясь, заикаясь, я путаюсь в ответе, мне стыдно и страшно. Но Д.К. ободряюще мне кивает, улыбается — и голос мой начинает звучать увереннее. Так вот — доброжелательно, тер-

пеливо, поощряя за каждое удачное слово в ответе — Д.К. слушает нас всех, и мы начинаем отвечать увереннее, спокойнее.

Д.К. учила нас сложнейшему конкретному анализу Лермонтова и других литературных текстов. Но главный урок, который я вынесла из этих семинаров, — понимание того, что такое настоящий учитель. Я училась у Д.К. прежде всего терпению и доброжелательности, спокойной требовательности и любви к своим ученикам.

Эта маленькая седеющая женщина с грустновато-внимательными глазами и мелодичным голосом интересовалась каждой из нас. Мы были для нее не студентами вообще, а конкретными личностями — Ленами, Динами, Танями, Сережами — со своими неудачами и удачами, заботами и радостями, личными проблемами и вопросами. И она всегда готова была помочь словом, советом, взглядом, приветливой улыбкой.

Горький писал: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Как ему не повезло, Горькому: у него не было рядом таких учителей, как у нас. И не было рядом такой вот доброй, терпеливой, умной, знающей наставницы — Дины Клементьевны. Не было ни Григория Абрамовича Бялого, ни Бориса Яковлевича Геймана (похожего на мистера Пиквика), ни моего дорогого учителя истории Виктора Николаевича Бернадского, умершего в день нашего выпускного бала...

* * *

Она вошла — пониже многих,
С седеющими уже кудрями,
И кто из нас сказал бы, кто бы,
Что сделает она вдруг с нами!
Приятный голос мелодичный
О композиции твердил.
Да, было б просто неприлично,
Что ты все это позабыл,
Или не знал, или не помнил,
Или не понял ничего...
«Героя...» строчки-катакомбы
Не открывал для нас никто.

Загадкой, тайною столь странной
Дышала книга... Как же так?
И стало многое туманным,
А ты-то думал... Вот чудак!
«Вчитайтесь снова в эти строки —
И, наконец, поймете, что
Поэт наш скорбный, черноокий
Хотел сказать... сказал... ну, кто?»

27.08.2007

Каждая лекция — открытие

Е. М. Кулявич

Первым самым сильным впечатлением после школы была Дина Клементьевна.

Огромная аудитория (на нашем курсе 150 человек), и слышно каждое слово.

Маленькая, худенькая, энергичная, всегда увлеченная. Каждая лекция — открытие. Такой поток сведений, что бежали в библиотеку, Эрмитаж, читали, смотрели новые итальянские фильмы.

Открытием было и другое: с преподавателем можно просто поговорить. И как интересно разговаривать, сколько можно узнать...

Мы уже давно сдали «Введение в литературоведение», перешли на 2, 3, 4 курс, но, встречаясь в коридоре или на улице, останавливались. И всегда было о чем поговорить.

И много лет спустя тоже интересно. И поразительно: всегда помнила многих наших однокурсников, интересовалась, как складывались их судьбы. Пишет ли стихи Лёша Адмиральский? Как работает его клуб во Дворце пионеров? Как Марина? Давно ли я видела Мишу Хейфеца и чем он сейчас занимается? Как мои дела в школе? Интересные ли у нас студенты на практике? Бываю ли я на лекциях Альфонсова и Бялого? Встретив меня однажды с мамой, потом всегда спрашивала о ней.

В последние годы Д.К. не выходила из дому. Я иногда бывала у нее. Грустно было видеть ее старой и беспомощной. Но теперь, когда ее уже нет, я вспоминаю ее полной сил, интереса к жизни и ко всем, кому довелось у нее учиться.

Она произвела на меня сильнейшее впечатление своим темпераментом

О.Б. Миттельман

Осенью 1953 года, на 1-м курсе литфака мы, свежевылупившиеся студентки (1-й курс, как и прочие, был почти целиком женским), встретились сразу с десятком новых преподавателей. Среди них тотчас выделилась Дина Клементьевна — прежде всего, страстным увлечением, с каким она читала свой академически бестрепетный предмет — теорию литературы. У нее теория, которая «всегда сера», зеленела свежими побегами примеров, ассоциаций и делалась крайне современной, порою даже — жгуче публицистической. В ее манере читать и общаться с нами явственно ощутимо было стремление влиять на молодую аудиторию, вести ее. Нет, не за собой вести, а — в верном направлении, нужном для роста самой молодежи, для советского общества, его культуры, будущего. Словом, она была человеком с ярко выраженной общественной позицией, как формировали тогда. Но под этой кипучей поверхностью была человеческая глубина, проступавшая чем дальше, тем заметнее: она была внимательна к молодым, мы ее интересовали не только как объект воздействия, а сами по себе. Мягкой она не была, напротив — требовательной, но умела понять наши колебания, слабости, сбои и спустить, и простить, если дела наши обстояли серьезно. Она была широка и человечна, тепла к людям, и думаю, это главное, почему бывшие ученики не забывали и не оставляли ее до конца ее дней.

Помню наши похмыкивания, иронические комментарии, когда в последующее — изменившееся — время Дина Клементьевна с той же убежденностью и напором излагала с кафедры взгляды и положения, существенно отличавшиеся от прежних. Мы насмешничали над ней, иногда ядовито, но характерно, что никто не заподозрил ее в лицемерии, настолько ясно было: она верит в произносимое сегодня так же, как верила вчерашнему. Этот феномен мы поняли позже, в немалой степени — из собственного опыта, тогда же, иронизируя, все-таки сохраняли неприязненное отношение к Дине Клементьевне.

Хочу, кстати, привести близкие по смыслу строки из письма Миши Хейфеца, приятеля с первых студенческих лет (он был на курс старше), сейчас — видного израильского журналиста. Я напи-

сала ему о своем посещении уже старенькой Дины Клементьевны и спросила, какой он ее помнит. Он ответил: «Как раз недавно вспоминал, встретив ее имя в «Российской еврейской энциклопедии». Она произвела на меня когда-то сильнейшее впечатление на первом курсе — своим темпераментом в первую очередь. Я не догадывался раньше, что можно так говорить о литературе. Наши с ней споры о Померанцеве и его статье «Об искренности в критике», про которую она тебе вспомнила, забыл начисто. Но помню, что мне статья очень понравилась, а Д.К., конечно, обязана была ее разноречивость. Думаю, что наш конфликт состоял не в этом, а в том, что она не умела спокойно преподносить обязательные рецепты — не могла не гореть. А гореть за дело партии было уже трудновато, потому что сама партия очень неточно знала, в чем ее интересы, и это носилось в воздухе. А мы, наглецы, которых петух еще сзади не клевал, позволяли себе это самое вслух замечать. Д.К. приходилось нелегко... Пожалуйста, передай ей, когда увидишь, мой самый сердечный привет».

Да, не могла не гореть и горела до конца. Вспоминаю, с какой горячей заинтересованностью она спрашивала мое мнение о Вл. Рыжкове, ее тогдашнем политическом любимце, на которого она серьезно надеялась. Ее до глубины души захватывала, тревожила жизнь общая, она всегда знала, что происходило в мире и в стране. Я редко у нее бывала — раза четыре за все годы после института, но всегда уходила с чувством признательности за теплоту и уважительного удивления перед молодостью ее души, ее открытостью людям. Ничего, кроме убывающей плоти, не было в ней старческого: память цепкая, точная (как она помнила нас всех! Таких разных, из разных выпусков и дальних лет), интерес — неугасающий и такая же доброта. Помню, как она тихонько и упорно всовывала одной в ту пору сильно нуждавшейся своей гостье деньги на лечение. Ее всерьез занимали наши обстоятельства, наша жизнь. Она широко читала, пока могла, и с ней, вокруг нее было интересно: люди разных возрастов и опыта, письма отовсюду, часто — из-за рубежа (это в 70–80-е!)... Запомнился вечер в ее маленькой кухне на улице Маршала Жукова, где было человек 8–10 и читали кем-то принесенные письма Довлатова из Нью-Йорка и Наташи Альтварг с израильско-лондонскими наблюдениями (Д.К. добавила еще о самой Наташе). Осталось впечатление двух ярких личностей и талантли-

вой прочитанной прозы. Все подобное несли и рассказывали ей, ибо знали: здесь слово отзовется, здесь его ждут и радостно примут и передадут дальше.

Большой ее бедой и настоящим несчастьем стало все больше изменявшее зрение. С какой искренней завистью она спрашивала меня: «Ваша мама много читает? Часами? (мама была ей ровесница). Какая она счастливая! Скажите ей от меня, что она очень счастливая, и я желаю ей такой оставаться!»

Потеря зрения была, наверное, самой болезненной из ее утрат в старости. Спасибо тем ее питомцам, кто, выкраивая время, приезжал читать ей вслух (знаю, что регулярно ездила Ира Перчёнок). Спасибо от неприезжавших...

Она прожила долго. Для себя, в ее ощущении, может быть, слишком долго, устала. Глядя со стороны — завидно долго и достойно, по-человечески. Наши листочки-воспоминания — свидетельством тому, дань одаренному хорошему и щедрому человеку, не напрасно прошедшему по земле.

* * *

В праздник пресветлейший, в Ваш день рожденья,
Литературы великая жрица,
Дактилем нашего стихотворения
Нам разрешите пред Вами поклониться.
Дина Клементьевна, вечная жрица литведа,
Здравицу в честь Вашу всюду вещают аоры.
Лет долгих жизни и солнечных Вам пожеланий,
Новых успехов в науке и новых мечтаний.

1975. Студенты I курса 1 группы

Человек, ставший событием в моей жизни

А. С. Роботова

Лето теперь уже такого далекого 1955 года... Я сижу на качелях, легонько раскачиваюсь на них, держа перед собой учебник по литературе. Читать его невыносимо скучно, но надо... Я собираюсь поступать на факультет русского языка и литературы в ЛГПИ имени А.И. Герцена. Но в полной мере не представляю, как сложно туда поступить, что все может кончиться катастрофой, если количество поданных медаристами заявлений будет превышать установленное число. Тогда предстоит сдавать экзамен, а сдать его на «отлично» очень-очень трудно.

От страхов, тревог и пессимизма меня спасает пребывание в Вырице, где я провожу лето, потому что здесь мой дом. Каждая поездка в город — серьезный ущерб семейному бюджету, и я не езжу туда, зная лишь дату, когда надо явиться медаристам.

И вот этот день наступает. Еду, возможно, на экзамен... Но медалистов, поступающих на факультет русского языка и литературы, приглашают в кабинет ректора. Нам объявляют, что мы уже зачислены в институт и экзамен сдавать не придется. Наверное, от скоротечности происходящего я сразу и не поняла тогда, что это бесценный подарок судьбы.

Позже, когда начались занятия, пришел страх. Было все непривычно и пугающе тревожно. Раскованные городские девочки, легко вступающие в контакт, в отличие от меня. Разговоры об экзаменах и страшных экзаменаторах, о проходном балле, об удаче, о каверзных вопросах и пр. У меня возникала мысль, что я с этим бы не справилась, не ответила бы я на такие вопросы, поэтому, в общем-то, занимаю чужое место...

Я думала, что в аудитории надо садиться, как в классе, на определенное место. С недоумением смотрела на тех, кто опаздывает, со страхом — на тех, кто задает вопросы преподавателям, беседует с ними во время перерыва. Как сейчас я понимаю, постепенно у меня развивался комплекс неполноценности. Мне казалось, что введение в языкознание — невероятная премудрость, что овладеть транскрипцией — это все равно, что освоить китайскую грамоту. Я боялась отвечать, боялась спрашивать, боялась показаться смешной и глупой.

Я хорошо помню своих первых преподавателей. Они воспринимались мною как небожители. Сами слова «профессор», «доцент» казались какими-то невероятными, пугающими, свидетельствующими о недостижимом пределе.

Ошеломляли блистательные лекции Юрия Павловича Суздальского и огромное количество имен богов, героев, персонажей античных трагедий, которые так легко им произносились, а нас поражали своей новизной, необычностью. Торжественное чтение преподавателем гомеровских гекзаметров. Пугало, как это все запомнить.

Я хорошо помню Дину Клементьевну, которая читала нам «Введение в литературоведение». Она выходила на подиум в знаменитой 237-й аудитории первого корпуса и начинала читать. По-моему, она не становилась за кафедру, поскольку была совсем небольшого роста. Чем она поразила меня? Почему встреча с ней стала духовным событием на жизненном пути? Позднее, когда я сама стала преподавателем вуза, профессором, у С.И. Гессена я нашла замечательную мысль о том, что образование человека есть «путешествие в стране духа, в мире человеческой культуры, в течение которого деятельность человека приобретает все более характер творческого призвания». В этом странствии человеческого духа событием может стать «мимолетный разговор, случайная встреча, прослушанный концерт или лекция, театральное представление».

В моем образовании-странствии таким событием стала встреча с Д.К. Думаю, и для многих моих однокурсников. Что в ней показалось необычным, отличающимся от других, не совпадающим с духом той суровой эпохи?

Сейчас, когда я много старше Д.К. того времени, я думаю, что к ней притягивало многое.

Естественность поведения, не совсем обычная для того времени. Все-таки многие были «застегнуты на все пуговицы». Она была единственной в этом роде. Обезоруживающе открытая улыбка — без сарказма, иронии, снисходительности. Доверие во взгляде — без напряжения, усилия, надевания «маски»; открытость поведения — в проявлении чувств, в обращении к аудитории, в призыве задавать вопросы, в стремлении быть в потоке «всеохватывающей взаимности» с нами.

Широкий культурный контекст лекций, что, думаю, по-настоящему не было оценено нами тогда. Ее духовный опыт и образова-

ность были много выше того, с которым сталкивалось большинство из нас в школе. Д.К. знала историю литературы «по вертикали» и «по горизонтали», что позволяло ей широко использовать приемы аналогии, сравнения, аллюзии. Конечно, для нас, школьников середины XX века («век шествует путем своим железным»), это было одновременно проявлением и образованности, и свободы духа, заключающейся не в смелых высказываниях и критике времени, а в свободе размышления, в свободном использовании знаний и их включении в разные системы координат.

Побуждение слушателей к чтению и самообразованию. Д.К. была в курсе событий книжного мира, журнальной периодики, театрально-культурной жизни и советовала это прочитать, увидеть, услышать, посетить. Она учила нас становиться гуманитарно образованными людьми, развивала и возвышала наши духовные потребности. Это позднее гуманитарное сознание стало рассматриваться как творческое, диалогическое. А тогда... нет. Но Д.К. это с успехом делала. По себе знаю: я стала много и разборчиво читать, интересоваться литературой и литературоведением, запоминать текст не для сдачи экзамена только, а потому что он становился интересным, важным для тебя. Многие имена поэтов, писателей я впервые услышала на лекциях Д.К.

Событием для меня стали ее практические занятия. Я их ужасно боялась. Я опускала голову, стремясь к тому, чтобы наши глаза не встретились, чтобы не возникла ситуация прямого ко мне обращения и призыва высказаться. Я считала, что не скажу ничего заслуживающего внимания, покажусь глупой и смешной. Это настроение усиливалось на фоне свободно рассуждающих девочек.

Но вот наступил этот час... Мы обсуждали композицию «Героя нашего времени», причины нарушения линейного повествования, связанные с художественной логикой автора. Я сжалась от предчувствия... Раздался голос Д.К.: «А как Вы думаете?» Соседка толкнула в бок. Я подняла глаза. Вопрос был обращен ко мне. Я стала сбивчиво, как мне казалось, говорить. Мне казалось, что все, что я говорю, это плохо, жалко, наивно, что сейчас я услышу уничижающую критику однокурсниц. Но я увидела перед собой такой поддерживающий взгляд Д.К., солидарные движения ее головы, доброжелательную мимику, всю ее позу, казалось, устремленную навстречу, и мне стало легко и просто. Д.К. похвалила меня, может, излишне

даже, найдя какие-то достоинства в ответе, увидев в нем нечто заслуживающее внимания. Это была именно такая встреча «в стране духа», «духовного сообщения». Это было начало возрождающейся веры в себя, свои возможности на этапе вузовского образования, полного драматизма, сомнений, разочарований. Эта встреча стала «точкой» духовного роста, обретения самостоятельности — и началом свободы.

Я не хотела бы «осовременивать» образ Д.К., наделять его тем, что ей не было свойственно. Но дело в том, что на ее тогдашнюю я смотрю из другой эпохи, став старше своего учителя на целых двадцать лет. Оценивая уже свой жизненный путь, должна сказать, что ее влияние во многом сказалось на литературных интересах и предпочтениях, на научном интересе, на выборе явленного образца поведения учителя.

Д.К. являла собой редкий сегодня образ университетского преподавателя (хотя мы учились в институте), к которому можно было прийти, взять книгу или журнал, поговорить о работе, поспорить о новых произведениях литературы, новых спектаклях и фильмах, посоветоваться по поводу возникших жизненных коллизий. Поражало редкое умение Д.К. помнить своих студентов, помнить их ответы, восхищаться ими и сохранять это на протяжении многих-многих лет.

Шли годы... Возникшая еще на первом курсе духовная нить иногда ослабевала, истончалась — ведь мы работали, преподавали, сами становились для кого-то учителями. В конце уходящего года, перед новогодним праздником вдруг спохватывалась (к сожалению, не всегда), что есть человек, который помнит тебя, тебя — из твоей юности, помнит, как ты отвечала на экзамене про пятую статью Белинского о Пушкине. Ты набирала номер, чтобы сказать слова поздравления с днем рождения и Новым годом. А тебя действительно помнили, тебе щедро говорили искренние и добрые слова. И, собиравшаяся одарить своей памятью, своими словами, ты оказывалась сама щедро одарена теплом, добром и памятью о твоей юности. Такой была Дина Клементьевна Мотольская, человек, который дал толчок духовному развитию многим поколениям студентов факультета русского языка и литературы и встреча с которым стала для многих событием жизни.

Дусенька

М. Г. Качурин

Так ее назвала няня — грузинка из Гори. В младенчестве Дина Клементьевна Мотольская жила в Баку. Няня подарила крохотной девочке это имя, которым ее всю жизнь — вот уже почти 95 лет — называют родные и ближайшие друзья.

О ней я хочу рассказать. Но прежде необходимо краткое введение.

Мне и Матушке довелось много поездить по Советскому Союзу. Когда наше материальное положение немного упрочилось, — я получил доцентскую, а потом и профессорскую зарплату, мне удалось убедить Матушку оставить учительскую работу. Дети подросли, охотно обходились без надзора. Охота странствовать еще не угасла. А меня часто приглашали в вузы, в институты усовершенствования учителей почитать спецкурсы. И лет за 30 мы побывали во многих краях — трудно их перечислить. Могилев, Минск, Славгород, Рига, Вильнюс, Таллинн, Мурманск, Архангельск, Соловецкие острова, Псков, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Чита, Иркутск, Агинский дацан, Ташкент, Самарканд, Бухара, Алма-Ата, Кисловодск, Минеральные Воды... Само собой, неоднократно — Москва. Все равно что-нибудь забыл.

И везде, куда бы мы ни прилетали или приезжали, нам задавали традиционный вопрос: «Вы Дину Клементьевну, конечно, знаете? Ну, как там она?» Мы ее знали. И это имя служило паролем и рекомендацией.

Эта миниатюрная женщина олицетворяла собой филфак института им. А.И. Герцена 58 лет — с 1924 по 1982 год. История факультета в единственном и уникальном издании. Дело даже не в том, что она почти всех и почти всё помнит. Ее все помнят, кто помнит этот факультет... А помнит она колоссальное число людей — филологов и учителей, окончивших институт почти за полвека и разъехавшихся по всем «городам и весям». Говорят, у факультета высокая марка. Если бы попытаться изготовить эту марку в виде, скажем, нагрудного знака, в центре следовало бы поместить портрет Дины Клементьевны. Были на факультете более громкие имена. Например, декан Василий Алексеевич Десницкий, преподававший методологию литературоведения (когда этот предмет еще существовал и

предполагалось, что в нем есть что-нибудь кроме догматического марксизма-ленинизма); изредка читал пушкинский спецкурс Борис Викторович Томашевский. Но более любимого имени, чем Дина Клементьевна Мотольская, не было. Года три-четыре она была заместителем декана. Кто-то прозвал ее «мудрая девица Тавад-Дут». Это персонаж из «Тысячи и одной ночи» — девица, которая посрамила в диспуте чванных ученых: она легко справилась с их задачами, а они не сумели решить ни одной из заданных ею и, по условию, вышли вон, оставив свои одежды. Бывало, что и декан обращался к ней: «Ну, Тавад-Дут, как будем решать сей вопрос?»

Студентов знала, как знают собственных детей, какими бы они ни были. Она читала теорию литературы, введение в литературоведение. И прекрасно читала, как читают самое заветное и самым заветным друзьям. Ее теория литературы имела истоки, если не ошибаюсь, в литературе XVIII века — в Кантемире, Третьяковском, Ломоносове, исключительно много сделавших для совершенствования русской поэзии. Она глубоко знала и высоко ценила Ломоносова, ей особенно были близки «Утреннее» и «Вечернее» размышления Божиим Величестве — близки по темпераменту — неумной жаждой знания, духом творчества. Когда в аудитории звенел ее голос: «Открылась бездна, звезд полна, / Звездам числа нет, бездне дна...», сердце шемило от контраста: маленькая женщина читает стихи великанского масштаба, и создается не комический эффект, а эффект грандиозности сил человеческих.

Вообще она в своей теории литературы умещала полновесно много предметов, не числившихся в учебном плане факультета: порядочность и гражданственность, творчество и гуманизм... Стоило ей только появиться где-нибудь, например, в рекреационном зале, вокруг нее всегда создавался кружок преподавателей и студентов, из-за которого ее вовсе не было видно, но слышен был голос — звонкий, мягкий, мелодичный (она, кстати, очень любила музыку, была завсегдатаем концертов в Филармонии и в молодости играла на рояле). Все, что надо было знать и уметь будущему школьному и вузовскому педагогу, можно было перенять у нее. И самое удивительное, что многие, очень многие действительно перенимали, при всей разнице собственных натур и нравственных качеств. Но не к этому только сводилось ее обаяние. В этой маленькой женщине была такая неукротимость интеллекта, такая душевная отвага, что она

всегда говорила то, во что верила. Я не могу утверждать, что ей не приходилось выражаться иносказательно, искать эвфемизмов: в ее распоряжении был богатейший арсенал русской классики, но за ее искренность я всегда бы поручился. Конечно, ей приходилось горько и тяжело в годы гонений на «критиков-космополитов», во время «дела врачей-убийц». На факультете достаточно было юдофобов и доносчиков. Ее терзали, прорабатывали... Но удивительное дело: вцепиться насмерть, выгнать с работы — как-то не получалось. Я думаю, что среди ее слушателей хоть и были, наверное, студенты-«сексоты», они не отважились на нее доносить: этому мешала ее детская беззащитность в сочетании с наивным бесстрашием. И еще раз повторю: ее любили, может быть, иногда невольно, вопреки себе; и кто мог бы навредить, страшился этого внутренне, как злодейства. Иуда предал Христа, но, говорят, повесился на осине...

Мне гораздо позже удалось слушать ее лекции, когда одним из краеугольных камней ее веры был «Новый мир» А.Т. Твардовского. Ей никогда не доводилось кривить душой, отстаивая линию «Нового мира», — ни тогда, когда эта линия «дозволялась», ни тогда, когда она преследовалась. Она и сейчас, когда из всех средств связи с людьми, кроме осязания, у нее остался только слух, сильно поврежденный, и голос, которым она старается говорить очень четко и размеренно, увлекает верностью своим святыням, свежестью мысли, немногословной мудростью. «Я — последний человек 1907 года», — говорит она о себе, потому что родилась в новогоднюю ночь. И можно добавить: первый человек 1908 года и всех последующих лет. Потому что я встречал людей более и заслуженно знаменитых, а лучших — не встречал. Есть люди первого ряда, которыми держится культура, честность, достоинство. Дина Клементьевна — из таких.

Рива у Дины Клементьевны не училась. Но когда они познакомились — это было примерно в 1959 году — их так потянуло друг к другу, как это бывает, когда встретятся родные души. Мы бывали друг у друга. Всех наших детей и внуков Дина Клементьевна знает не по именам только — по характерам и поступкам. А в ее отношении к Матушке, в ее памяти о Матушке, мне кажется, скрыто нечто, что и сам еще не разгадал.

А радоваться она так и не разучилась...

И.З. Перчёнок

Есть фотография: Д.К., Володя М., его милая Эля, которая очень нравилась Д.К. в отличие от В., Люба, Катя Ф., Галя Р. с Наумом — значит мы у нее на Ульяновке. Помню, как она радушно угощала нас из стариннейшей латки сделанным ею самой форшмаком (это было ее фирменное блюдо!). Но это из прежних времен.

Позднее мы приходили с Ф. к ней на Марата. Было это незадолго до 93-го... Пили чай за ее столом — кто из ее гостей не помнит этого обычного привычного ритуала?! Тогда еще она все делала сама, а горки всяческих сладостей всегда у нее лежали на столе, разложенные по тарелочкам. (Помню ее приезд и к Кате Филимоновой с пирожными, купленными ею в «Сладкоежке» на Марата, почти по-детски довольна она была своим знанием этой кондитерской. Вкусно она об этом говорила; угощать ей было приятно всегда. По случаю ее приезда мы все и собрались у Кати; а Катя жила на Гражданке, на Карпинского — не ближний свет для Д.К.)

На маленьком с мраморной крышкой столике стоял чайник и лежало заварочное ситечко. Сидела она на показавшемся мне странном стуле с короткой спинкой (но ей, маленькой, видно, ее хватало); на стуле лежала плоская подушечка. Слушали воспоминания о прекрасном ее классе, где было немало способных; но ей, наиспособнейшей умнице, все-таки находилось кому-то что-то из предметов объяснить. Заговорила о Сереже Христиановиче — однокласснике, ставшем ее мужем.

А запомнилось мне более всего то, как на следующий день Феликс, предварительно порывшись в справочниках (история науки была основным предметом его — неофициального историка — интересов), сказал: «Ты знаешь, кто был мужем Д.К.? Академик Христианович!!!» Спустя много-много лет до Д.К. дошел и некролог о нем, который я прочла ей.

Я, бывая позже и часто, а по временам и каждую неделю, слышала ее рассказы о том, какой ей приходилось быть дочерью: где бы, когда бы, с кем бы она ни была — необходимо было позвонить маме (точнее: нельзя было не позвонить). Слышала эмоционально неокрашенную констатацию. И только в самый последний период жизни однажды для меня прозвучала нота, в которой про-

скользнуло не осуждение С.М., нет — а что-то, объяснявшее отчасти, почему же это (разъезд с Сережей) случилось, и полюбить С.М. я уже не могла.

О посещении ее в глазной больнице после неудачной операции не помню ничего, кроме горького ее понимания: безрезультатно! (А как надеялась...) Не надо никому объяснять, что для нее была слепота: невозможность читать, когда и лупы — никакой силы! — уже не помогали!.. Потом это стало надолго в наших встречах-разговорах постоянной темой гореваний.

Регулярные мои приходы в дом Д.К. пошли после того, как она прочла мемориальный некролог о смерти Феликса в Москве, где он собирал книгу воспоминаний о гражданской жене А.В. Колчака, и позвонила мне.

Д.К. позвонила мне, я пришла — и стала приходить почти еженедельно.

Помню, что в один из первых приходов к ней меня удивило, что при всей любви к «Новому миру» и Александру Трифоновичу Твардовскому питали нас как будто разные литературные потоки. Мы жили в одно время, но весь самиздат прошел мимо нее. «Хроника текущих событий», перепечатанная на тонкой, почти папирозной бумаге, «Архипелаг Гулаг» на ротапинтере с обложкой без заглавия — не были ее чтением. Она была птицей стреляной и — умница! — береглась. Хоть неподцензурного и не читала, но хорошо знала, что за это бывает.

А я перепечатывала эту «Хронику» в ванной комнате (вот дура-то! Как будто оттуда стрекота машинки не слышно...). Была знакома со всеми, кто выпускал исторические сборники «Память»: материал собирали и статьи писали дома, набирал, печатал их в Париже Володя Аллой, переправляли в Россию с «диппочтой». Вышло 5 толстенных, туго набитых томов; редактор их, Сеня Рогинский, отсидел 4 года «от звонка до звонка»; 6-й № собрали, но не выпустили, а то и Сеня бы не вышел. Знакомая с *этим* и *этими*, не могла я принимать ее институтские неприятности за гонения.

Читали.

Чтение менялось, как менялась и сама жизнь, для нее открывавшаяся теперь уже сильно через других: телевидение, би-би-си и приходы всех вестников зрячей жизни. Какое-то время она продол-

жала выписывать привычное. «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Литературку». Статьи из «Литературки» читали по выбору ее; чаще всего — критические оценки новых книг и спектаклей. Когда я кончала, обычно задавался один и тот же вопрос: «Хвалит/ругает, как Вы, Ира, поняли?» Но прочно утверждался стиль: «да-нет». Такой для нее непонятно-чужой.

Некрологи читали всенепременно. Прочли Воспоминания о Я.С. Билинкисе и молодом Десницком в издании Герценовского института. Воспоминания Б.Ф. Егорова о Лотмане, которого она боготворила. Это было чрезвычайно важное для нее чтение. Это не было подведением итогов. Непроговариваемое, но важное невяроятно.

Так как читали каждый раз непременно, то некоторые книги за кухонным столом с Беллой. Так, вместе, за много вечеров, прочли книгу о Зяме (совершенно нетрадиционно составленная женой З.Я. Гердта — Правдиной книга воспоминаний о Зиновии Яковлевиче: текст каждого мемуариста она предваряла коротеньким рассказом — портретом автора: как оказался у них в доме, какое место в жизни З.Я. занимал). В разной степени близкие самому Зяме, но все любимые, а воспоминания о нем — только любовные. В этой любви можно было купаться.

Почти так же долго читали Дневники/мемуары Самойлова, некоторые его стихи и поэмы, книжку баек о нем Баевского, знакомого Д.К. А вот Штительмана «Повесть о детстве», которая вызывала у Д.К. массу ассоциаций с собственным детством, так прочесть и не успели. Какие живые у нее были реакции на все читаемое; даже на сочинения моих 5-6-7-классников. Какой непосредственной оставалась реакция даже тогда, когда мимика уже становилась неподвижной.

«Новый мир» стоял на полках в коридоре — и думаю — многие попаслись на этом полном собрании Журнала эпохи, эпохи «Нового мира» и А.Т. Твардовского. Она была сама из нее. «Знамя» долгое время выписывалось специально для Или.

Читали всегда. Часто Пушкина. С подачи Лёни Шеймана — «Обещание на рассвете» Ромена Гари, которого он нам и открыл.

Лёня в ее жизни был больше, чем центром: он посылал ей свой методический журнал, который выпускал для преподающих рус-

ский язык и литературу в киргизском Бишкеке, все заметки и замечания, в которых писали о нем (а он еще и в местном Хэсэде был великим деятелем). Следила с любовью за всеми его продвижениями. Наконец пришла его главная книжка о Пушкине, написанная вместе с его учеником казаком Сорокуловым. Вот тут-то и началось чтение многих. Регулярные письма/бандероли Лёни сначала читала (и отвечала ему) я, потом — Галя Золотухина. Все последнее, очень трудное время (Д.К. была слаба) Галя — в очередь с Евгенией Ивановной — бывали с ней каждый день.

Я нетерпеливый человек: так скучно мне было читать Д.К. подробнейшие Лёнины письма. И, — только отбирая и перепечатывая их для этого сборника, — поняла, что в них дышит история со всеми ее драгоценнейшими подробностями, которых нет ни у кого. Это вовсе не занудство, а историзм, исторический взгляд на день сегодняшний/вчерашний. Перед нами предстает целый кусок не просто жизни ученика, влюбленного в учителя, а история преподавания русского ученого в Киргизии в один из острых моментов взаимоотношений этих стран, равнодушного представителя русского языка, русской литературы и вообще человека страстного; фантастически энергичного; собравшего вокруг себя многих и разных ученых. Вынуть его из истории русского языка в Бишкеке — и будет огромная дыра во много лет.

Лёня и его жена Милочка — самые близкие и долгие друзья Д.К. Она ездила к ним в Бишкек (какая путешественница!), Милочка и Лёня приезжали к Д.К. в Ленинград. 40 лет переписки и знакомства/любви. Смерть Милочки была горем Д.К. — не только Лёниным. К каждой годовщине ее смерти писалось Лёне письмо.

Когда я привела в ее дом Надю Алексееву, то тут же на нее посыпался дождь книжных подарков — издания XVIII века, которых у Нади не было. И с первой же встречи она ввела Надю в свой круг, как вводила многих понравившихся ей. Готова была спрашивать, слушать, рассказывать. Моя Надя стала Надей Д.К. Это ее манера. Поэтому круг ее не сосчитать.

Д.К. не любила, чтобы мы «кучковались»: для нее эти встречи были полнее и дороже, когда мы приходили поодиночке. И поэтому, как я оказалась за столом с Марком Григорьевичем Качуриным и его женой, уже не помню. Но помню, что Д.К. предложила М.Г. прочесть Надину рецензию на сочинение восьмиклассницы Маши

Рыжаковой о стихотворении Лермонтова «Родина» (ей самой я прочла много раньше) и М.Г. сказал, что анализ стихотворения так тонок и содержателен, что вполне мог быть напечатан в газете для учителей «Первое сентября». Правда, с Надей мы приходили вместе. Но кроме случайной встречи с М. Г. Качуриным, один раз мы оказались в кухне за столом вместе с приехавшей из Лондона на конференцию Наташей Рубинштейн, которая воспользовалась возможностью увидеться со мной у Д.К. (знакомы мы были с Наташей Р. с незапамятных времен).

А как впервые встретились и познакомились с Наташей Левиной, а дальше активно заприятельствовали, не помню. Кажется, век были знакомы.

Пересечения все-таки случались. Откуда-то я была знакома с Людой и ее мужем, с директором музея «А музы не молчали» Олей Прутт. Откуда-то (от нее, от Д.К., конечно, из ее рассказов, она очень любила о своих рассказывать) я многих знала, и меня знали ни разу не видевшие.

В связывании и знакомстве (не обязательно очном!) она была не просто сильна. Страстна. И в ее рассказах все совершали если уж не замечательные, то, несомненно, деяния полезные и интересные. Действительно, в мире есть ли более важная сила, чем связывание людей? (Не толстовское ли это в ней? Литературные ассоциации нам, кажется, вполне пристали.)

Женственность была сильным ее природным началом. А проявления ее были многообразны. Любя красивую одежду, женские цапки, смотрела и на нас под этим углом. Зная мою слабость ко всему, что можно повесить на шею, подарила мне ручное северное шейное украшение из меха и бисера. Надетое на следующий день в школу, оно, конечно, не прошло незамеченным для ребят: такого (!) они еще не видали.

Радостного быта ее без полочки слева от стола, с бусами, безделушками — дарами любящих — и не представить. Однажды она с радостью, весело показывала мне хватушки для кастрюльки, с аппликацией поросенка, сделанного очень художественно к какому-то празднику. А радоваться, кажется, она так и не разучилась.

Теперь-то понимаешь, что нужно было не лениться, не забывать о мелочах, которыми можно было ее порадовать, об этой возможности радовать ее почаще; да и других любимых забываем, все дела

делаем. Хорошо помню, как она надела, чтобы мне показать (покра-соваться в ней!), прекрасную кофточку из мягкой светлой шерсти с вышивкой, привезенную Наташей Кузиной из Китая, и поначалу надевала ее только по праздникам. Но в последние месяцы, когда мерзла сильнее, стала носить каждый холодный день. Правда, в это время уже все дни были для нее холодными. В ней ее Наташа К. и похоронила, а все похоронное взяла на себя и сделала это совершенно незаметно...

Я несносная спорщица и не раз, когда не соглашалась с ней, то иронизировала и даже дерзила. Но когда я приходила к ней через неделю, то она спокойно и взвешенно отвечала на сказанное мною в прошлый раз. На меня вываливался итог недельной мозговой работы. И — мне казалось, — что это приносило ей удовлетворение.

Не могу только простить, что не учла ее слепоты и возможности составить хоть какое-то свое представление о баллотировавшемся в президенты Путине. Телевизор, радио делали свое дело: кричали одно. И как же она удивилась, узнав, что я голосовала не за него. У нее-то, незрячей, его не видевшей, сомнений быть не могло. А ФСБ, видно, не смутило. Но в моем-то ответе была ирония (зрячей и со слухом!). Непростительная, девчоночья.

Я совершенно не понимала ее вопроса: «Ира, когда Вы придете в следующий раз?» — и даже сердилась, потому что не понимала, как ей были дороги вести из другого мира. И потому она хотела знать: когда?

Если бы она знала, с какой любовью напишут о ней все, кто в этом томе...

Дом, где можно было отогреться душой

Р.М. Лазарчук

Д. К. Мотольскую я впервые увидела на вступительном экзамене в аспирантуру в октябре 1967 года. Не заметить и не запомнить Д.К. было просто невозможно: у нее было милое, доброе, приветливое лицо. С осени 1967 я стала посещать лекции Д.К. по введению в литературоведение. Они оставляли впечатление праздника, видно было, что Учитель и ученики уже успели узнать и полюбить друг друга. Лекции казались импровизацией, на самом же деле все было выстроено точно, логично, последовательно, и даже обращения к Солженицыну, «Новому миру», Твардовскому (Д.К. относилась к нему с огромным пиететом в течение всей своей жизни) воспринимались отнюдь не как «мимоходящие рассуждения»; настолько органично они входили в ткань повествования.

Д.К. была человеком внутренне свободным, независимым в своих суждениях. Она всегда интересовалась политикой. У меня до сих пор хранится листочек бумаги, на котором рукою Д.К. написано несколько цифр (для «конспирации» без опознавательных знаков). Это частоты «Немецкой волны», из всех «вражеских голосов» Д.К. больше всего доверяла этой радиостанции. Помню, как мы вместе с ней слушали информацию «Немецкой волны» о том печально знаменитом заседании Ученого Совета ЛГПИ им. Герцена, на котором рассматривали «дело» Е.Г. Эткинда.

Мне очень нравилось, как Д.К. рассказывала об эвакуации, о Василии Алексеевиче Десницком (он был научным руководителем Д.К.), о том, какими она, Танечка (Татьяна Антоновна), М.Л. Семанова были в молодости, о своих учениках, друзьях, близких, о путешествии по местам декабристов в Сибири и поездке в Америку. Д.К. обладала редким умением слушать и понимать людей. В тяжелых жизненных ситуациях я безгранично доверяла нравственному чутью Д.К. Ее «Вы правы» или «Вы не правы» принимались без колебаний.

В последний раз я видела Д.К. за два месяца до кончины. С ее уходом в моей жизни не стало дома, где можно было отогреться душой.

Наставник на полвека

Т. Г. Авлова

50-е годы

1954 год. В расписании I курса — введение в литературоведение, читает доцент Д.К. Мотольская. Слова «сентенция», «тенденция» в специфическом ее произношении. Сначала трудно записывать ее лекции, но вскоре дошло: надо воспользоваться паузами, повторами, рядами синонимов — и записи приняли вид записей под диктовку, настолько аккуратно и ясно они выглядели.

После стандартного подхода к литературному произведению, принятого в те годы в школе: тема, идея, образы (т.е. характеры персонажей), затем — художественные особенности, наконец, значение — чудесное открытие: художественная форма служит идее, они органически, неразрывно связаны — форма и содержание!! (Школьные учителя и учебники не то чтобы отрицали это, а просто не привлекали к этому внимания.) Одно из маленьких открытий, которые делает каждый учащийся под руководством умного и чуткого преподавателя.

Побаивались приглашений Дины Клементьевны на собеседование с конспектами — то одного, то другого студента по очереди. Боялась и я, но в конце семестра, когда оказалось, что собеседование пройдут не все (видимо, не хватило времени), возникло чувство разочарования. Тем более, что и практические занятия в нашей группе вела не Дина Клементьевна.

Экзамен мне дался легко, и отвечать было интересно. Фактически это была беседа. Вскоре после сессии к профессору Касторскому, обсуждавшему со мной будущую курсовую работу, подошла Татьяна Антоновна, лаборант кафедры. Показывая на меня, она сказала: «Сергей Васильевич, вот от ее ответа в восторге Дина Клементьевна». Касторский проворчал: «Нас захвалят, мы зазнаемся». Я же не могла сдерживать радостной улыбки и в своем дневнике в тот же день записала: «Дело не в том, что вообще кто-то от моего ответа в восторге, а в том, что Дина Клементьевна. Я положительно в нее влюблена!» Так же говорила и Валя Буженик из нашей группы, когда я ей поведала, что не думала раньше, как легко записывать лекции по введению в литературоведение: «А я не думала, что влюблюсь в Дину Клементьевну».

Два года спустя она очаровала второкурсниц бывшего истфака, не подозревавших ранее, что им придется изучать литературу (как нам — историю).

Именно из-за реорганизации (слияния) факультетов и введения «широкого профиля» и несмотря на добавленный пятый год обучения, мы не получили курса теории литературы, который у наших предшественников приходился на последний курс. Кто-то посчитал, что хватит с нас и «введения...».

Не расстаться с Диной Клементьевной позволил ее спецсеминар для пятикурсников, куда записались люди из всех групп, в том числе и несколько бывших истфаковцев.

Чувствуя ее интерес к молодежи и ее проблемам, я на третьем или на четвертом курсе привлекла Дину Клементьевну к обсуждению в приложении к факультетской стенгазете вопроса: «что вы думаете о свободном расписании?». Она охотно откликнулась, ответила, и... неожиданно эта невинная затея обернулась некоторыми неприятностями для нее и других отозвавшихся на обсуждение преподавателей. Чуть ли не на моих глазах ее вызвал к себе декан и почему-то сделал внушение (а шел второй или третий год «оттепели»!).

60-е...

Дина Клементьевна была одним из участников, а может быть, инициаторов затеи («проекта», как сказали бы сегодня) под названием «заочная аспирантура на общественных началах». Для потенциальных кандидатов наук это означало зачисление в аспирантуру без вступительных экзаменов, сдачу кандидатского минимума, работу над диссертацией, защиту и присвоение степени. Научные же руководители не получали ни копейки зарплаты за свое наставничество. Но запомнилось, с каким энтузиазмом брались Дина Клементьевна и другие преподаватели за эту не сулящую никакой материальной выгоды работу. Им было интересно заниматься с теми, кого заметили как студентов, подающих надежду, и кого сами же пригласили. К сожалению, ни я, ни моя подруга и сокурсница Нэлли Краснова не сумели воспользоваться лестным и заманчивым предложением, по ряду всевозможных житейских причин. Осталось радоваться за тех, кто преодолел препятствия (Наталья Левина,

Марк Медовой и другие), и лелеять чувство благодарности, что удостоились внимания.

«Неформальное» же общение с Диной Клементьевной Мотольской я поддерживала с присущим мне инфантильным эгоцентризмом и наивной бесцеремонностью. Еще в студенческие годы мне хотелось «завалить ее вопросами, так чтобы осталась видна одна голова». И порой, не считаясь с ее занятостью и не соображая, что со своими вопросами могла бы сладить и сама, то и дело обращалась к ней за консультацией, в том числе в письмах из Ленинградской области, где некоторое время работала в сельской школе... Ни разу она не дала мне понять, что я нахалка, что надо бы самой справляться с литературно-методически-педагогическими проблемами, а терпеливо отвечала и советовала...

...Летом 1966 года я зашла к ней на Невский (надеюсь, предварительно предупредив по телефону) и оказалась свидетелем извлечения письма из почтового ящика. Вскрыв письмо, пробежав его глазами, она в растерянности проговорила: «Просят присылать деньги, а обратного адреса нет!» Здесь важна именно непосредственная реакция: вопрос не в том, сможет ли присылать, вправе ли автор письма просить ее об этом, а — куда же присылать. Перечитав письмо вслух — мне, оказавшейся рядом, она убедилась, что обратный адрес есть: абонементский ящик такой-то на Главпочтамте. В тот день и в последующие, посоветовавшись не столько со мной, сколько с более житейски искушенными людьми, она поняла, где незнакомый попрошайка мог узнать ее адрес, и могла догадаться, что она не единственный адресат, однако не оставила мысли о помощи, просто решила подождать повторного обращения, которого, к счастью, не последовало. Сама она находилась в те дни в крайне трудном положении: ей требовалась сиделка для ухода за парализованной матерью, о чем она дала объявление. Этим некий авантюрист и не замедлил воспользоваться.

70-е...

Годичные курсы в ИУУ. В последний день читает Зинаида Яковлевна Рез. В перерыве разговорились, и первый вопрос: «Передайте, пожалуйста, привет Дине Клементьевне. Как она поживает?» — «У Дины Клементьевны большие неприятности. Ее выпроваживают на пенсию, освобождая место «для молодых». Девочки! Хоть бы вы

заступились, написали письмо в ее защиту». В течение ближайшего часа срочно, сразу набело, писали письмо, а в следующем перерыве прозвучал призыв: «Кто учился в Герценовском у Дины Клементьевны Мотольской, просим подойти... Не волнуйтесь, она жива, но возникла необходимость поддержать ее...» Подошли учителя, выпускники разных лет, выслушали текст письма, подписали... Отправили в газету, и через некоторое время сработала бюрократическая машина. Пришел ответ из ректората: дескать, заслуги Дины Клементьевны неоспоримы, она прекрасный ученый и педагог, но в настоящее время ей исполнилось столько-то лет и она продолжает трудиться на положении почасовика. И так, заступники ничего не добились. Мы так и не знаем, стало ли известно Дине Клементьевне о нашей неудачной попытке ей помочь. А стоило ли ей знать? Казалось бы, с одной стороны, она могла порадоваться сочувствию и поддержке своих питомцев. С другой — лишний раз напоминать о новой невеселой ситуации?...

80–90-е...

С середины 80-х годов, когда Дина Клементьевна из Кировского района вернулась в центр, на улицу Марата, мне нравилось навещать ее в компании с выпускниками разных лет — своими знакомыми. Наведывалась к ней и в одиночку, а 13-го июля 1989 года попросилась к ней (опять!) ради консультации и благословения на создание собственной учебной программы — введение в литературоведение... для пятиклассников. Благословение получила, и в дальнейшем мы с Нэлли Васильевной Красновой, моей подругой, сокурсницей и соавтором, поставили ее имя первым в числе трех наставников, кому посвятили с глубокой благодарностью свой труд «Тайны словесного искусства (введение в поэтику)». Когда соавтора моего не стало, я продолжила работу с коллегой, тоже ученицей Д.К. Мотольской, выпускницей 1982 года Ириной Ефимовной Гербильской. «Приходите ко мне с вашим новым соавтором», — приглашала Дина Клементьевна. В январе 1998 мы так и поступили. С тех пор Дина Клементьевна всегда спрашивала и обо мне, и об Ирине Ефимовне — какова у нас учебная нагрузка, как поживают наши семьи, как движется работа над продолжением учебника...

В заключение хочется сказать слово благодарности Дине Клементьевне не только за то, чему она научила нас, не только за ее

терпение, доброту и внимание, но и за то, что памятью о себе объединила людей разных поколений — от 40-х до 80-х годов студенчества.

* * *

Миниатюрная, изящная, как куколка,
Она к вечерникам (литфак) пришла читать.
А голос сильный никого не убаюкал —
Все вдохновенно начали писать.
Я помню это первое знакомство
С ученым молодым,
Кому-то показалось, будто к звездам
Сейчас мы полетим.
Шли годы. Обаятельна, прекрасна,
Она всем нравилась, как редкостный букет.
А голос ее стал немного властным,
И изредка струился милый смех.
Спасибо Вам за эти годы юности.
Живите долго, до ста лет!
Сейчас кто руку Вам почтительно целует,
А кто обнять готов при всех.

2.11.99 г.

Л. М. Чистякова

Воспоминания первокурсницы

И. Е. Гербыльская

Невысокого роста женщина, с короткой стрижкой, с проседью в волосах; очень подвижная — с порывистыми по-молодому движениями; с яркими живыми глазами — веселыми, даже озорными, при этом очень умными... Несмотря на свой почти 70-летний возраст, Дина Клементьевна произвела на нас впечатление очень молодого человека, такой и запомнилась.

Я и не подозревала, что увижу ее почти 20 лет спустя. Во время этой — последней — встречи я поразилась, как человек на 90-м году жизни, отягощенный всевозможными недугами, сохранил неподдельный интерес ко всему окружающему миру, к своим собеседникам. Отнюдь не из вежливости расспрашивала она о школе, о работе над учебником — все с прежними задорными интонациями, а глаза, почти уже ничего не видящие, вовсе не выглядели потухшими — тот же пылкий, доброжелательный взгляд, в котором светилась вечно молодая душа.

...Студентам свойственно порой прогуливать лекции, но «на Мотольскую» ходили всегда. С первокурсниками, вчерашними школьниками, она беседовала на равных, поднимая до своего уровня. Фраза «Еще Аристотель сказал...», врезавшаяся в память, вызывала благоговейный трепет (зная что-то об Аристотеле из истории Древнего мира, мы и не подозревали до этих пор, что он имеет прямое отношение к литературоведению!).

Ссылалась Дина Клементьевна и на современных исследователей (Паперного, Кожинова, Лотмана и многих других), но ни обилие этих впервые услышанных имен, ни множество терминов (в большинстве своем новых для нас, принесших из школы представление разве что об эпитетах, метафорах да стихотворных размерах) не вызывали ощущения перегрузки. Дина Клементьевна умела преподавать, не создавая угнетающего впечатления, какой лектор умный и какие мы все дураки.

В ее интонациях отсутствовала и монотонность, и навязчивая эмоциональность. Спокойный, чуть надтреснутый голос, удобный для записи темп не утомляли. Было интересно слушать, легко и понятно, работала мысль, была интересна и симпатична сама Дина Клементьевна — любили не только ее лекции, но и ее.

Стихи она читала именно так, как и следует читать на лекциях: выразительно и без излишнего артистизма, привлекая внимание не к себе, а к тексту («Девушка пела в церковном хоре...»).

Запомнились не только лекции, но и занятия практикума «Литературное произведение как художественное целое». Вопросы стихосложения; варианты композиций литературных произведений, наглядно воплощенные в чертежах и забавных рисунках...

Все традиционно вспоминают, как анализировалась чеховская «Дама с собачкой». Об этом впоследствии многие говорили ей, в том числе и я, когда навещала ее в 1998 году, и она подтвердила с радостным изумлением: «В самом деле, все помнят о «Даме с собачкой!»». Ее интонации, близкие авторским, порой, в соответствии с содержанием, нарочито скучные, завораживали, и мы вдруг оказывались внутри рассказа — вместе с нею самой. Тончайшие нюансы текста, важнейшее значение в нем слов, характеризующих и героя, и ситуацию, — разве сумели бы мы постичь это без ее помощи? При этом начинало казаться, что все настолько очевидно и не заметить невозможно. По сей день этот рассказ Чехова неразрывно ассоциируется с Диной Клементьевной, и, по правде говоря, никогда не хотелось читать чей-либо другой его анализ, чтобы не портить восприятие.

...В завершение — вновь о ней как о человеке. Несомненный артистизм, которым она, как было сказано выше, не злоупотребляла на занятиях, позволял представить ее артисткой травестийного амплу: ей очень шло бы играть озорных и «поперечных» мальчишек. И характер у нее был самобытный, бунтарский — хоть на лекциях мы от нее не слышали никакой «крамолы», однако чувствовалась независимость от какой бы то ни было конъюнктуры... Она никогда никому не стремилась понравиться, в том числе внешне, не старалась «украшать» себя, кому-то чем-то угодить, заигрывать с молодежью. Несмотря на это, а точнее, именно поэтому ее воспринимали как Личность с большой буквы, достойную всеобщего уважения и любви.

Самой человеческой стороной

...Больше всего поражает и волнует на этих лекциях то, что Д.К. как-то очень незаметно связывает проблемы литературоведения с большими человеческими проблемами. Она хочет, чтобы мы поняли, «как много значит человек для другого человека, если он поворачивается к нему самой человеческой своей стороной...», и кажется, что это не просто преподаватель читает лекцию, а кто-то очень хороший, добрый и мудрый хочет помочь тебе жить на свете.

СОВЕТСКИЙ УЧИТЕЛЬ

«Самой

человечной стороной

С этого номера мы начинаем печатать материалы о качестве лекций преподавателей, о их взаимоотношениях со студенческой средой.

— Здравствуйте, товарищи! — звонкий женский голос раздаётся в шумной аудитории, и все поворачиваются к преподавательскому столу, за которым стоит чернокозлая женщина. Наступает тишина. Студенты, приехавшие из самых различных уголков Советского Союза, внимательно слушают одну из первых в своей жизни лекций. И с каждой минутой все более и более глубоко проникают в их сердца замечательные слова о жизни, об искусстве, о литературе, о труде учителя. Каждый испытывает такое чувство, как будто все, что было знакомо с детства, вдруг приобрело какой-то новый, особенный смысл, а мир расширился до беспредель-



На снимке Д. К. Мотольская среди первокурсников.

Эмма Щербановская
(первая слева), студентка I курса
историко-филологического факультета
(«Советский учитель», 3 марта 1962 г.)

Конечно, к такому человеку невозможно не испытывать большое уважение и доверие. Поэтому-то на каждой перемене Д.К. окружают студенты, чтобы поговорить о прочитанной книге, о живописи, о музыке, о просмотренном кинофильме или просто о жизни.

«Если человек в какой-то момент входит в жизнь другого, и другой — тоже хороший человек, то как бы ни был короток момент, в который они встречаются, в их сознании надолго останется эта встреча...» — так говорила на одном из семинаров Д.К., и мне кажется, что эти слова как нельзя лучше объясняют наше отношение к этой замечательной женщине.

Человек, даривший радость

Б. Н. Тихомиров

Со времени моего знакомства с Диной Клементьевной Мотольской прошло тридцать три года. Я сам сейчас уже далеко не молод. Моя внучка закончила в этом году первый класс. Несмотря на этот «груз лет», вспоминая Д.К., я по-прежнему гляжу на нее глазами влюбленного студента. В Герценовском институте у нас было много замечательных педагогов: Яков Семенович Билинкис и Владимир Николаевич Альфонсов, Юрий Павлович Суздальский и Анна Сергеевна Ромм, Николай Николаевич Скатов и Борис Федорович Егоров. Но, как и для многих моих друзей и коллег, у входа в мир филологии в моей памяти стоит Дина Клементьевна Мотольская.

Дина Клементьевна на протяжении многих лет читала на первом курсе пропедевтический курс, именовавшийся в те годы «Введением в литературоведение». В нашей студенческой группе — одной из четырех, так нам посчастливилось, — она также вела и семинарские занятия. Этот курс позднее несколько раз менял свое название, но сущность его оставалась та же. Сегодня молодые, амбициозные преподаватели зачастую стремятся вместить в этот курс все свои теоретические познания (когда-то и я грешил тем же самым), жестко навязывая желторотым студентам, в большинстве своем лишь несколько месяцев как закончившим среднюю школу, ту или иную методологическую систему. Дина Клементьевна была далека от такого соблазна. Ее педагогическая мудрость заключалась в том, что она не старалась втиснуть нас в прокрустово ложе своих собственных филологических предпочтений, а тактично и гибко ориентировала студентов в многообразии литературоведческих школ, подходов и методик. Но главное — она учила ценить индивидуальность исследователя, его личный неповторимый почерк. На занятиях Дины Клементьевны мирно уживались Аристотель, Лессинг, Белинский, Томашевский, Гинзбург, Добин, Палиевский, Лотман...

Когда мы, только что вернувшиеся с сельхозработ перед началом учебного года, впервые увидели Дину Клементьевну (по многолетней заведенной на факультете традиции именно она всегда читала первокурсникам самую первую лекцию), ей было уже под семьдесят. Но в ней, что редкость в такие годы, не было ничего за-

костеневшего, застывшего, неподвижного. Поражала живость ее отношения ко всему — к литературе, к современной жизни, к нам, студентам. Казалось, умудренная жизненным и профессиональным опытом, она тем не менее все еще продолжала учиться: Дина Клементьевна в своих лекциях не страшилась обнаруживать, что какие-то проблемы литературной науки не разрешены еще до конца ею самой, что она сама еще в поисках, что в чем-то у нее пока больше вопросов, чем ответов. И это подкупало студенческую аудиторию гораздо больше, чем всезнающий, всепонимающий академизм иных профессоров с громкими именами.

Причем эта открытость Дины Клементьевны животрепещущей проблематике современной научной и культурной жизни проявлялась отнюдь не только на аудиторных занятиях. Мы, студенты середины 1970-х годов — эпохи застоя — были остро восприимчивы ко всему свежему, новаторскому, неординарному в жизни северной столицы, будь то гастроли театра на Таганке, выставки художников ленинградского андеграунда во Дворце культуры им. Газа или Невском, полулегальные поэтические вечера. Мы были молоды и мобильны, стремились побывать везде и успеть все. И вот зачастую, как наш товарищ и ровесник, рядом оказывалась Дина Клементьевна Мотольская. Помню ее в самой гуще студентов в набитой «под завязку» 215-й аудитории филологического факультета, когда по приглашению своего старинного друга Б. Ф. Егорова, в то время заведовавшего в Герценовском институте кафедрой русской литературы, в Ленинград с курсом лекций приехал из Тарту Юрий Михайлович Лотман. Основатель и глава школы отечественного структурализма еще не появился в аудитории, а глаза Дины Клементьевны уже горели (зримо горели) жадной услышать, понять, взять на вооружение новые знания и идеи. Помню ее и в ленинградском Доме писателей на ул. Воинова (ныне Шпалерной) на встрече с Давидом Самойловым, когда одновременно и бурно, и заинтересованно, вдумчиво проходило обсуждение его новаторской «Книги о русской рифме», интересной совмещением подходов ученого и поэта. Эти примеры далеко не единичны.

Уже спустя много лет, в конце 1980-х, в разгар горбачевской перестройки, я встретил Дину Клементьевну недалеко от ее дома на улице Марата. Она довольно бойко для своих лет шла в неблизкую кондитерскую на Невском, за Аничковым мостом, чтобы купить

какие-то особые булочки, которые продавались только там и которые она очень любила. Я помог ей нести сумку, и мы прошли, разговаривая, до Литейного проспекта. Незадолго до этого Дина Клементьевна совершила поездку в Америку. С удивлением она делилась впечатлениями, что по советским меркам для нее, 80-летней, такое путешествие за океан представлялось чуть ли не подвигом, а в Америке оказалось, что это совершенно в порядке вещей и старики в ее возрасте только тем и занимаются, что путешествуют по всему свету. Затем разговор сам собой перешел к происходящим переменам в политической и культурной жизни, к множественным публикациям произведений «возвращенной литературы», вообще к тому, как в несколько лет радикально изменился литературный кругозор современного человека и какие требования новые условия предъявляют к преподаванию литературы. «Да, да, — говорила Дина Клементьевна, — сегодня многое надо продумать заново. Особенно принцип историзма...» (как сейчас слышу ее всегда чуть взволнованную, совершенно особенную интонацию). Она и на девятом десятке лет оставалась все такой же. Напряженная духовная работа до конца жизни совершалась в ней неостановимо.

В связи с «перестроечной» темой невольно — по контрасту — мне припомнился один эпизод из середины 1970-х годов. На семинарское занятие по стиховедению Дина Клементьевна просила студентов принести какие-нибудь поэтические сборники. У меня на учебном столе оказалась хрестоматия по русской литературе начала XX века. Крайне дозированно и тенденциозно отобранная, тем не менее в ней, наряду с неперменными статьями Ленина, образцами критического реализма и пролетарской поэзии, была представлена и «литература модернизма». Заметив у меня эту книгу, Дина Клементьевна подошла, перелистала ее, внимательно просмотрела оглавление и сказала: «Ого! Гумилев, Мандельштам! Считайте себя счастливым». И я действительно был счастлив! В перестройку и в более поздние времена на прилавках книжных магазинов книга за книгой стали появляться и отдельные сборники, и антологии, и целые собрания сочинений авторов «Серебряного века». Сегодня и в магазинах, и в библиотеках выбор их воистину безграничен. И как результат — острота переживания этих текстов несколько притупилась. А в те годы мы собирали стихи любимых поэтов «поштучно», переписывали в заветные тетрадки. Для интеллигенции имена Гу-

милева или Мандельштама звучали тогда как пароль. По ним мы опознавали своих. И Дина Клементьевна Мотольская была для нас своим человеком (что можно сказать далеко не обо всех наших педагогах той поры). Позднее я узнал, что из ее собственной библиотеки, во время переезда с квартиры на квартиру, какой-то студент-«ценитель», помогавший ей вместе с товарищами перевозить вещи, «подтибрил» прижизненное издание Гумилева. С грустью должен констатировать, что и в те времена далеко не все знавшие цену поэтам «Серебряного века» оказывались своими. Впрочем, у слова «цена» есть разные значения.

Возвращаясь в 1970-е, студенческие годы, не могу не вспомнить еще один в высшей степени характеристический эпизод. Одним из «коньков» Дины Клементьевны в теоретических штудиях по проблеме структуры художественного текста был вопрос композиции. Учпедгизовский сборник конца 1950-х годов «Вопросы изучения мастерства писателей в школе» с ее обширной статьей «Изучение композиции литературного произведения» был в факультетской библиотеке исчеркан карандашами (хотя это строго каралось) и зачитан до дыр. На семинарском занятии в нашей группе материалом для композиционного анализа Диной Клементьевной были выбраны гоголевские «Мертвые души». Уже наученный смотреть на литературное произведение с определенной теоретической точки зрения, но еще не способный должным образом распорядиться результатами своего анализа, обнять их собственной интерпретацией, я споткнулся на сделанных мною же наблюдениях. Одна сквозная деталь в «помещичьих» главах поэмы остановила мое внимание. Сначала глаз зацепился за вполне, казалось бы, неуместный портрет Кутузова, висящий на стене в доме Коробочки. Зацепившись раз, я не был особенно удивлен, натолкнувшись затем на портрет Багратиона, упомянутый в описании обстановки имения Собакевича. Приступая к чтению страниц, посвященных усадьбе Плюшкина, я уже ждал: не повторится ли и в третий раз отмеченная мною лейтмотивная деталь? Ожидания мои оправдались: может быть, не так определенно отсылающая к событиям Отечественной войны 1812 года, но в контексте уже сделанных наблюдений свое место заняла висящая в гостиной Плюшкина «пожелтевшая гравюра какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями». Ряд вы-

страивался вполне определенный. Но как его следовало интерпретировать? Решения найти я не мог. На семинарском занятии я сообщил о своем «открытии» Дине Клементьевне. И надо было видеть, как вдохновилась она, опытейший филолог-профессионал, наблюдениями студента-первокурсника! Готового решения не было и у нее. Но Дина Клементьевна оценила бесспорную неслучайность обнаруженной мною композиционной детали и высказала намерение непременно проконсультироваться у кого-то из специалистов-гоголеведов.

Не помню, какой ответ дал Дине Клементьевне специалист-гоголевед. Сегодня решение представляется мне достаточно очевидным (хотя я и не настаиваю на его единственности). Белинский, как известно, увидел пафос гоголевской поэмы в «противоречии общественных форм русской жизни с ее глубоким субстанциальным началом». Представляется, что портреты Кутузова и Багратиона в «Мертвых душах» выполняют ту же художественную функцию, что и старинное седло, ружье и шаровары «шириною в Черное море», которые из кладовых выносит проветривать на свет Божий служанка Ивана Никифоровича в «Повести о двух Иванах». Благодаря этой детали вдруг обнаруживается и заостряется, что ничтожные герои повести — выродившиеся потомки героической казацкой вольницы, о которой (в том же «Миргороде») повествуется в повести «Тарас Бульба». Так в рамках цикла организуется контраст между героическим прошлым и пошлым настоящим. Нечто подобное имеет место и в «Мертвых душах». Имена Кутузова и Багратиона, как метонимические знаки, исподволь вводят в повествование мотив Отечественной войны 1812 года (многообразно, хотя и в «свернутом виде» присутствующий в поэме) и позволяют читателю прикоснуться к пронизательно увиденному Белинским «субстанциальному началу» русской жизни, обозначают прослаивающую весь текст тему «удалой, полной силы национальности», столь значимую для замысла поэмы, но по закону гоголевского текста остающуюся «в складках» повествования, рельефно воспроизводящего уродливые «современные формы общественной жизни». Речь, однако, я сейчас веду не об этом, а о той взаимной радости, которую в совместных поисках решения возникшей проблемы испытали и студент-первокурсник, и педагог-профессионал, заинтересованно и ответственно откликнувшийся на первые, робкие попытки своего

ученика применить на практике прививаемые ему навыки филологической работы. И знаменательно, что при позднейших встречах Дина Клементьевна не однажды вспоминала этот «гоголевский» сюжет наших отношений. Последний раз — спустя почти четверть века после наших семинарских занятий на первом курсе.

В декабре 1997 года, под самый Новый Год, Дине Клементьевне Мотольской исполнилось девяносто лет. В связи с такой внушительной датой в Герценовском университете, работе в котором Дина Клементьевна отдала несколько десятилетий своей жизни, был издан особый ректорский приказ о присвоении педагогу-ветерану звания почетного доцента и выписана денежная премия. В первые же дни после Нового Года, после телефонной договоренности, трое сотрудников кафедры: заведующая Елена Ивановна Анненкова, Лариса Евгеньевна Ляпина и я — пришли к Дине Клементьевне, чтобы поздравить ее с юбилеем. Несмотря на более чем преклонный возраст, Дина Клементьевна была в бодром настроении, сама хлопотала за праздничным столом, хотя уже несколько лет почти полностью потеряла зрение. Когда Елена Ивановна зачитывала ей поздравительный адрес, подписанный ректором, Дина Клементьевна встала и весь текст прослушала стоя. А затем, не садясь, произнесла ответный обширный спич. Она была в совершенно ясной памяти, которой я, тогда 45-летний, мог только позавидовать. Дина Клементьевна вспоминала своих учителей, и в первую очередь незабвенного Василия Алексеевича Десницкого, которого преданно любила (в 1970-е годы она, кажется, упоминала о нем по самым разнообразным поводам чуть ли не на каждой лекции). Вспоминала коллег, с которыми в разные годы ей довелось вместе работать, в частности Якова Семеновича Билинкиса. Я. С. Билинкис, с которым у них сложились очень теплые отношения, в это время был уже тяжело болен, но он позвонил, чтобы поздравить Дину Клементьевну с днем рождения. Он непременно поздравлял ее каждый год, но в этот раз больше говорила она: вспоминала прошлое, общих, в большинстве своем уже умерших знакомых. А он, рассказывала Дина Клементьевна, лишь повторял еле слышным голосом: «Я всё помню, я всё помню...» На большее у него не хватало сил. Это был их последний разговор.

Вспоминала Дина Клементьевна и своих учеников. Лариса Евгеньевна Ляпина спросила: а помнит ли она таких-то студенток?

«Как же, как же», — ответила Дина Клементьевна и точно назвала год, когда они у нее учились.

Главной ее болью в это время была почти полная потеря зрения. Всю свою жизнь она провела в литературе. Вся квартира была заставлена шкафами с книгами. Самой большой ценностью в своем доме Дина Клементьевна называла академическое Полное собрание сочинений Пушкина. А теперь чтение было для нее недоступно. Она просила нас прочитать ей дарственные надписи на книгах, присланных ей ее учениками. Провожая нас после ужина в передней, она сокрушалась, что, к сожалению, не может рассмотреть, как мы одеты, видит только общие контуры наших фигур.

Это была моя последняя встреча с Диной Клементьевной. Три года назад, когда я был на XX Достоевских чтениях в Старой Руссе, моя жена Наташа, тоже ученица Дины Клементьевны, позвонила мне на мобильный телефон и сообщила о ее кончине и дате похорон. Не дожидаясь окончания чтений, я выехал в Петербург. Не могу восстановить отчетливо всё, что я говорил на гражданской панихиде в петербургском крематории, но помню, что упомянул о последнем телефонном разговоре Дины Клементьевны с Яковом Семеновичем Билинкисом, которого к этому времени тоже уже не было в живых.

Возвращаясь из крематория, в небольшом летнем кафе около станции метро «Площадь Мужества» мы с коллегой и другом Еленой Ивановной Лысенковой помянули по русскому обычаю нашего общего Учителя вином и словами благодарности за радость профессионального и человеческого общения, которую Дина Клементьевна Мотольская щедро дарила своим ученикам.

Огорчались, услышав звонок

Ю. П. Миляева

Летом 1953 г., успешно сдав вступительные экзамены, я стала студенткой литфака ЛГПИ им. Герцена. Волей судьбы я влилась в огромную дружную семью. Дети разных народов, лучшие выпускники средних школ многих городов и деревень со всего Советского Союза, а также юноши и девушки из Албании, Болгарии и Китая составляли ее. С первых дней студенческая жизнь захватила меня. Хотелось посещать заседания СНО, репетиции студенческого хора и секцию гимнастики.

Сколько девичьих глаз засматривалось на Игоря Клименкова, студента I курса истфака! Юноша был овеян славой настоящего киноартиста, ведь он успел сняться в двух фильмах («Золушка» и «Счастливого плавания»).

К первокурсникам в помощь были прикреплены старшие студенты. Первая группа с Алексеем Адмиральским поднималась на Ростральную колонну, слушала там его рассказ «Основание и развитие Ленинграда», а вторая группа гордилась Михаилом Хейфецем, который умел энергично и умно выступать на собраниях и митингах.

Учебные лекции отличались разнообразием, насыщая первокурсников новыми знаниями. Они были так интересны, что мы не замечали, как они проходили, и огорчались, услышав звонок.

Профессор Матвеева (ее приводила в аудиторию аспирантка) вела интереснейший предмет «Старославянский язык».

Историк Бернадский с увлечением рассказывал о жизни древних славян.

Античную литературу вел Суздальский, с необыкновенно красивым голосом. Агамемнон (было у него такое прозвище) познакомил с новым для нас, а на самом деле древнейшим стихотворным размером. Студенты, которые перебрасывались записками на лекциях, непременно писали их гекзаметром. Я написала своей подружке:

О, Галка, когда перестанешь болтать по-пустому,
Когда ты возьмешься за перо и бумагу?
Я верю, что ты образумишься скоро
И станешь достойной студенткой литфака.

А это четверостишие принадлежит Творогову, который, закончив аспирантуру, стал работать в Пушкинском Доме, помогая Д.С. Лихачеву.

Кто ты, коварная, смелая в дерзостной речи?
Как же ты можешь на Зевса поднять непокорное слово?
Только желанье мое — и, разящую молнию бросив,
В пепел тебя обращаю, дабы, смертная, меру познала!

Фольклор вел Шептаев, внешне мужиковатый, дотошный. Когда на экзамене мне попался вопрос о русской частушке, я бесстрашно прочитала совсем свежую политическую частушку:

Враг народа Берия
Хотел создать империю.
От министра Берии
Остались пух и перья.

Преподаватель попросил повторить ее, записал и с удовольствием поставил мне «отлично».

Предмет «Введение в литературоведение» вела Дина Клементьевна Мотольская. Она мне и внешне понравилась. Вероятно, в то время ей было 43–44 года. Черные волнистые волосы короткой стрижкой обрамляли продолговатое лицо. Умные карие глаза притягивали к себе. Быстрая выразительная речь, четкая формулировка мыслей не давала студентам расслабляться и заставляла вмиг схватывать учебный материал и записывать. Она была едва видна из-за высокой кафедры, поэтому предпочитала двигаться, чтобы быть ближе к студентам.

С первых лекций я поняла, что этот предмет имеет не только теоретическую, но и практическую направленность. Сколько нового я узнала: композиция прозаических сочинений, сложные стихотворные размеры, законы драматургии и проч. Теоретические положения Дина Клементьевна подкрепляла яркими примерами из произведений классиков русской и зарубежной литературы. Курс Мотольской помогал анализировать любую литературную вещь. В конце учебного года мы сдали ей экзамен, на котором оценили ее внимание к каждому из нас. Она умела снять излишнее волнение, ободрить и добиться, чтобы студент смог показать знания во всей полноте.

На II курсе студенты выбирали себе семинары. Дина Клементьевна вела семинар по творчеству Н.Г. Чернышевского. Я снова целый год провела с ней. Нам были предложены интересные темы, каждый самостоятельно выбирал ту, которая была созвучна его душе. Я готовила доклад «Ранние дневники Чернышевского». Мы долго готовились, консультировались с Диной Клементьевной, волновались перед выступлением. Она интересно проводила обсуждения.

Позже мы проходили первую педпрактику (по русскому языку). Всех студентов распределили по разным школам. Моя подруга попала в 210-ю базовую школу, в 5-й класс. Руководила группой Дина Клементьевна. Она помогала обдумывать тему урока, учила правильно реагировать на поведение отдельных учеников. В этом классе оказался озорник, который находил удовольствие в том, чтобы срывать урок неопытным практиканткам.

«На моем уроке, — вспоминает подруга, — он, как говорится, стал выступать и отвлекать ребят. Раздались смешки. Я строго взглянула на него и произнесла всего два слова: «Замолчи, не мешай!». На удивление, мальчишка притих, и я благополучно провела свой первый урок. Дина Клементьевна, обсуждая его, похвалила меня, сказав, что тему я раскрыла правильно, но более отметила, что я не растерялась и сумела спокойно и твердо осадить озорника. И я благодарна ей за это».

В заключение возвращусь к первому полугодю своей студенческой жизни и расскажу о событии, описанном в моем дневнике.

«16 ноября 1953 г. Дина Клементьевна сегодня свою лекцию начала необычно:

– Товарищи, на нашем факультете давно работает дискуссионный клуб, им заведует Ахаян. За 28 лет своего существования в клубе побывали многие советские писатели, поэты, артисты. Товарищ Ахаян — большой энтузиаст своего дела. Он старается затянуть в свой клуб интересных людей искусства. Даже в университете таких творческих встреч проводится меньше. Студенты там жалуются, что герценовцы отнимают у них знаменитых людей. Советую вам обратить внимание на работу нашего клуба.»

Я подумала тогда: «Так и должно быть. Мы — будущие учителя, которые должны многое знать, ведь мы обязаны передать все детям».

Вот еще отрывок из моего дневника: «Сегодня мы увидели афишу о встрече с Верой Пановой. Обязательно пойдем. Будет обсуждаться ее новый роман «Времена года», который мне не понравился. В романе Панова затронула важную тему — тему семьи, но не раскрыла ее по-настоящему. Часто картины набрасываются отдельными случайными штрихами, а картин природы совсем нет. В романе мало реальных лиц, многие образы мне кажутся схематичными, судьба героев не соответствует их характерам. В языке есть недостатки. Много вульгарных слов: *хамить, блатной, халуна, трепаться, патлы, мотовство, домушник, разгильдяйка*. Среди них есть и непонятные. Интересно, как мы будем рассматривать роман на дискуссии? Мне кажется, автору попадет от наших студентов — жестких и беспощадных критиков».

На этом дневниковая запись заканчивается. Дальше оставлено полстраницы пустой. Я так делала, когда хотела записать о событии потом. Но, видимо, студенческая жизнь так закрутила студентку, что она забыла это сделать.

От тех лет осталось много любопытных записей о встречах с писателями и поэтами того времени: Е. Долматовским, Л. Кассилем, А. Безыменским и т.д. Были и артисты: П.П. Кадочников, В.В. Меркурьев и старейший дирижер Мариинского театра Д. Похитонов. Всех встреч перечислить невозможно в кратком очерке.

...Призыв любимого преподавателя упал на добрую почву. С тех пор все пять лет учебы в альма-матер мы с подругой были в ряду самых активных участников клубных мероприятий. Сколько сильных и прекрасных впечатлений мы пережили! Они остались в наших душах на всю жизнь.

Спасибо Вам, дорогая Дина Клементьевна!

У нее постоянно хотелось учиться

Л. Е. Ляпина

Дина Клементьевна была человеком удивительным. У нее постоянно хотелось учиться. Учиться литературоведению, педагогическому искусству, человеческим качествам. При этом казалось, что все это было присуще ей от рождения: и потрясающая память, и искренний, живой интерес к жизни, и внимание к другому человеку. А своей увлеченностью она заражала слушателей. Из первых рук знаю, что уже через несколько лет после того, как Д.К. перестала преподавать, студенты передавали из поколения в поколение конспекты ее лекций.

Я не была студенткой Д.К., но так получилось, что училась у нее постоянно и многому. Начиная с мелочей — впрочем, таких ли мелочей? Помню, только начиная преподавать, я почему-то создала для себя идеальный образ преподавателя как человека, говорящего исключительно тихим, ровным голосом, не позволяющего себе проявлять чувства публично. Мне это удавалось очень плохо — и я, понятно, огорчалась. Но вот, проходя как-то по коридору во время лекций, услышала за дверью аудитории громкий и энергичный голос Д.К., которая что-то увлеченно доказывала студентам. У меня камень с души свалился: если уж Д.К. так эмоционально читает лекцию, значит, это можно, это хорошо! И сразу стала лучше, естественнее чувствовать себя в аудитории, перестав загонять себя в чужой образ.

С Д.К. всегда было интересно. Она столько знала и помнила, но важно, что у нее всегда было свое мнение, отношение, которого она удивительным образом не навязывала собеседнику. Редкостным был ее талант вести беседу — непринужденно и естественно; сколько бы человек ни сидело вокруг ее гостеприимного стола, никто не скучал и все чувствовали ее внимание. Сколько раз, пока она еще была жива, мы, приходившие к ней, решали: надо записывать ее воспоминания, рассказы, монологи... Но, конечно, живого впечатления от ее одухотворенной, выразительной манеры никакая запись не передаст.

В последние годы, уже не выходя из дома, Д.К. продолжала жить интересами учеников, друзей, единомышленников. Всегда спрашивала: «Как там дела на кафедре? Что нового?» Как-то в ответ на

такой вопрос я стала рассказывать, что мы решили разработать для студентов-магистрантов курс исторической поэтики. Д.К. заинтересовалась, стала спрашивать о программе, а потом спросила: «А у вас есть своя «Историческая поэтика» Веселовского?» И, узнав, что нет, тут же подарила свою. Книга оказалась вся испещрена карандашами всех цветов — подчеркивания, галочки. Они составили особый интереснейший сюжет: как читала Веселовского Д.К.! Ведь хотя принципы своей методологии Веселовский сформулировал еще в конце XIX века, историческая поэтика как научное направление оформилась почти век спустя. Меня всегда интересовал вопрос: что же происходило в ее научном сознании на протяжении этого столетия? Почему в 1980-е Аверинцев, Гаспаров, Манн, Лихачев и другие вдруг (как казалось) выступили единомышленниками? Д.К. своими пометками ответила на этот вопрос, продемонстрировав, как идеи Веселовского прорастали в сознании литературоведов, стимулируя их творческую мысль.

...Как блистательно, наверно, прочла бы Д.К. сегодня их исторический курс исторической поэтики!

«Не волнуйтесь. Мы сейчас с вами побеседуем...»

А.М. Молчанова

Первый курс. Первая сессия — зимняя. Первый экзамен — «Введение в литературоведение» у Дины Клементьевны Мотольской. Группа сдает, ожидающие своей очереди толпятся у дверей аудитории. А у меня неприятность, просто катастрофа — меня не допустили до сессии. Преподавательница фармакологии (помните, был у нас замечательный курс медицинских дисциплин?) посчитала, что я недостаточно уважительно отнеслась к ее предмету. И отказалась принимать зачет. В воспитательных (точнее, «наказательных») целях: нет зачета — нет допуска к экзаменам, без допуска ни один преподаватель не примет; не сдана вовремя сессия — полетела стипендия. Все это построение она озвучила с большим удовлетворением.

Все сдают литературоведение, я пытаюсь уговорить фармакологиню позволить мне продемонстрировать свои успехи в ее области знаний. (Может быть, еще успею с зачеткой в учебную часть, а потом на экзамен...) Увы! — даже говорить не хочет. Стою в коридоре, не знаю, что делать. Теперь меня, наверное, отчислят... Утираю слезы (это сегодня смешно, а тогда...) Мимо проходит второкурсница Таня Комарова — всего на курс старше, а уже все здесь знает, такая уверенная, такая старшая...

— Чего ревешь? Какой экзамен? У Мотольской? Дина Клементьевна все поймет.

Берет за руку, ведет по коридорам к аудитории, около которой уже никого нет. Заходит.

Буквально через минуту дверь открывается:

— Это вы Аня Маркова? Что же вы? Я вас жду, уже несколько раз о вас спрашивала. Мне ваша курсовая работа очень понравилась...

— Меня нет в ведомости, я не допущена до экзаменов.

— Это неважно. Не волнуйтесь. Мы сейчас с вами побеседуем. Уверена, что вы прекрасно готовы и отлично сдадите экзамен.

Не знаю, как сдавали этот экзамен мои однокурсники. Мне не пришлось тянуть билет: мы действительно просто беседовали о литературе, о том, что нам обоим было интересно: чуткому, доброжелательному преподавателю и заревавшей первокурснице.

Я уже сама много лет преподаю в вузе, и мои отношения со студентами складываются не без влияния урока, который я получила от Дины Клементьевны в тот день.

Тогда я еще не знала, сколько доброго и интересного принесет мне в дальнейшем общение — в вузе и за его пределами — с Диной Клементьевной Мотольской.

* * *

Молитва студента

Пока в голове еще кадрами
Рвано мелькает конспект,
Господи, дай каждому,
Чего у него нет!
Сахарову дай мягкости,
Андреевой дай тепла,
Липатову дай раскаянья
И не забудь про меня!
Все знают, что Ты всемогущий,
Все верят в мудрость твою,
Как верую я лихорадочно
В то, что не завалю,
Как верит Калмыкова
В студенческий коллектив,
Как Козырев верит наивно,
Что не сорвет мотив.
Господи, дай каждому,
Что надобно ему!
Мотольской дай Твардовского!
Альфонсову Блока дай!
Скатову дай доктора
И не отнимай!
Господи, господи,
Смеюсь я при мысли о том,
Что верит наивно Ситник
В то, что получит диплом,
Как верит каждая муха,
Бессмысленно в даль глядя,
Как верила Бочкарева,
Что научила меня.

Из дневника Риты Заборщиковой

4.IX.1964

...Литературоведка — чудо! Передовой человек. Говорит восхитительно. То о литературе, искусстве... Сегодня о Ленинграде. Предложила ленинградцам познакомиться приезжих с городом. Восторгалась нашими улицами, домами, пригородами, белыми ночами... Правда, сказала, что после 1948 года, когда ее друзья затащили в Павловск, не в силах видеть все после восстановления: в ее памяти живы картины довоенные, с пригородами связано все прошлое, вся молодость, студенчество... Говорит она красочно, заразительно... Ее мы все слушали зачарованно... Я как-то ярко представляю себе то, что она описывает, например, освещение Дворцовой площади, Петра I в цветах, белые ночи... Это все наша весна...

«Я человек в двух отношениях жадный: на новые книги и на лишние часы. Новую книгу я сразу хватаю и лишний час урываю, где только можно! И причем все педагоги знают, что я уже этот час им потом не отдам... Но для себя я выпрашиваю, клянку...»

8.XI.1965

Вчера был очень хороший день. Я должна была к 8-30 прибыть на Владимирскую, но проспала и опоздала. И вот в 9-15—9-20 выхожу из дома и перебегаю мне дорогу белая кошка! Это, говорят, к счастью! Я решила, что все с моим опозданием обойдется и вообще весь день пройдет как надо.

От нашей группы и от курса было 11 человек. Много было первокурсников. От 3-го курса никого, от 4-го — никого, от 5-го Эмочка [Щербановская], от 6-го Л. Левина, Н. Самусенко; всю дорогу с Ниной Ирочка [И.С. Куликова].

У Дворца пионеров долго пели, перебрав весь свой репертуар...

От Садовой до институтского моста бежали. Вся демонстрация глупо и бодро неслась...

А потом я сказала Эмочке, что мне очень-очень хотелось все время подарить Дине Клементьевне букет с праздником... Тем более, что она обещала в эти дни быть дома, т.к. ее домработница уходит, а мама ее тяжело больна. Эмочка обрадованно оживилась: она собиралась после демонстрации идти к Д.К. с букетом, можно пойти вместе. Я пошла делиться своим «горем» с Самусей: ведь я должна после демонстрации сразу идти к ней! Но... она сказала, что

мы ВСЕ вместе можем пойти к Д.К., и они тоже. И 2-й курс, т.е. моя группа, меня поддержала, и 1-й курс тоже. Это было здорово! Тут же мы купили с Эммой и Валеркой [Сажиным] букет (3 букета по 2 шт.!) белых хризантем, и Эммочка до самой Д.К. несла их, сияя. От Дворцовой площади все, кто шел к Д.К., объединились и маршем отправились по Мойке к Конюшенной площади, Михайловскому саду, мимо цирка, через проходную на Фонтанке, через Литейный, по Жуковского к Невскому, 77. Мы спели все детские и недетские маршевые и немаршевые песни, мы орали Маяка из «Хорошо», «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте», «Что такое хорошо». Это был наш марш-парад через весь город. Не странно, когда идут и поют до Дворцовой площади, но — идя с нее — это редкое явление! А мы целеустремленно шли! Впереди шла Люся Левина и дирижировала! И кричала больше всех. Это у нее выходило очень здорово!

Мы поднялись по лестнице высоко (говорят, 6-й этаж), позвонили, попросили вызвать Д.К. на лестницу. Нас просили войти, но мы сказали, что нас слишком много, войти отказались. Нас было человек 25–30. Вышла Д.К. В передничке, надела очки, чтобы разглядеть нас. Она была очень тронута: были все и разные поколения! Дина целовала всех подряд. Я стояла по лестнице вверх с несколькими первокурсниками, против света, думаю, она меня не видела. Сказала, что в следующий раз будет ждать нас непременно к себе в комнату: она большая, мы бы все поместились, но сегодня она не настаивает на вхождении, т.к. мама ее очень больна. Мы попрощались. Я спустилась к двери, она бурно поцеловала и меня.

Путь вниз был короче. Каждый курс обсуждал этот визит в своем кругу. Левина сказала, что лишь тогда, когда люди научатся делать приятное другим людям, у нас будет коммунизм. У парадной все попрощались погруппно.

17.I.68

Вчера, около 2 часов дня умерла Софья Моисеевна, мать ДКМ. Татьяна Антоновна [лаборантка кафедры русской литературы] долго уговаривала меня просто пойти к Д.К. Я все не решалась. Потом мы поехали с Таней Парайской и Таней Латаевой. Ее вызвали из комнаты, и первые слова ее были: «О, мои верные друзья!..» И слезы.

10.1.68

Д.К. исполнилось 60 лет. Это очень удивительно. Она человек без возраста. Очень не верится, что так много. Никто не верит... Мы подарили ей цветы и альбом с фотографиями от 26 декабря — с заседания кафедры, на котором ее поздравляли. Выступали с чтением адресов Билинкис, Лурье, Сакмара. Было очень скромно, тепло и приятно.

От нас выступил Валерка, он сказал для начала, что не все из присутствующих преподавателей смогли сказать все, что хотели бы, поэтому мы дополним их выступления. Сделав паузу, он начал. Не называя имени, он имитировал... Любовь Ивановну [Кулакову]: «Вы читали сегодня, что пишет Морозов о Ломоносове?! Прочитайте статью ДКМ о Тютчеве... Там есть такие штучки!» Пауза. Билинкис: «В 1905 году Ленин написал статью о Толстом... Тогда этого никто не мог понять, кроме меня... В ДКМ воплотились лучшие черты Наташи Ростовской». Аудитория хохотала от души. Особенно Кулакова, Скатов, Билинкис (там присутствовала и кафедра методики литературы. И был Альфонсов — что удивило приятно и саму Дину Клементьевну). Потом Сажин сказал, что все студенты тоже не могли выступить, а поэтому от них выступит Света Зинченко. Она прочла, конечно, забыв в нужный момент все по очереди, те строки, что сама написала:

О, этот день не воспеть и Гомеру, слепцу-ясновидцу:
Мудрый гекзаметр стар оды торжественной для.

И всю жизнь, когда мне надо идти быстро, я иду под марш с Последнего звонка (13.05.1969) курса Козырева–Киркиной (на мотив «Гайдар шагает впереди»):

Так ведь бывает, так в жизни приходится,
Что одержимыми люди становятся,
А одержимости чтоб научить,
Д.К. Мотольской надо быть. (2 р.)

Ваших студентов шеренги широкие,
И перед ними дороги далекие,
И пусть судьба размечает пути,
Вы для студентов впереди!
Д.К. повсюду впереди!

Вы были ненамного старше нас...

Ф.Ю. Матвеева

В 1981 г. собралось 60 человек, из 200 окончивших литературный факультет в 1941 году. Ресторан на берегу Фонтанки, в котором играли танго и фокстроты нашей юности, билеты в театр, заказ гостиницы — все взял на себя Изя Фридлянд (Израиль Савельевич), работавший в клубе «Дерзание» Дворца пионеров. К нам пришла любимая наша Дина Клементьевна. Мы звали ее Диночкой и «пичужечкой» — за маленький рост и звонкий голосок. Слушали ее лекции в наполненной до отказа аудитории (прямо против лестницы). Хорошо помню ее старших коллег: Николая Петровича Андреева, читавшего русскую литературу и фольклор, и методиста Льва Сергеевича Троицкого.

А в 1997 г., когда Д.К. исполнилось 90, мы поздравляли ее, и я написала ей стихи:

Вы были ненамного старше нас,
Когда нам курс поэтики читали.
А мы, мы просто обожали Вас
И за глаза вас Диночкой звали.

Вы опыт свой передавали нам,
Вы нас учили трудному искусству,
Как, каждый раз идя к ученикам,
Им знания давать с душой и чувством.
И, вспоминая юности года,
Мы видим Вас, как свет, как вдохновенье,
Мы любим Вас, мы помним Вас всегда,
Примите с юбилеем поздравленья!

* * *

Этот рассказ Феодосии Юрьевны Матвеевой я записала у нее дома в апреле 2008 года. А дальше расскажу о ней своими словами. Я думала, что увижу сгорбленную старушку, а передо мной была статная красавица с прямой спиной, высокой прической-валиком, и сейчас, в 88 лет, хоть выходи на сцену. Она и хотела стать артисткой, но отговорили родители.

Сообщение о начале войны она услышала в Красном Селе, где под кустом цветущей сирени готовилась к последнему экзамену (по педагогике). Ехала

на него уже с пропуском из милиции: Красное Село бомбили, горел аэродром. Мальчики пришли на экзамен уже с бритыми головами.

Преподавать начала в эвакуации, в селе Суна Кировской области. Там написала пьесу о своих однокурсниках-мальчиках, ушедших на фронт. Чтобы поставить спектакль, пьесу необходимо было отвезти по бездорожью за 100 км в обком партии. Клуб на спектакле был переполнен, стояли даже на крыльце.

Второе важное событие, о котором рассказала Ф.Ю., — окончание курсов медсестер. Несмотря на то, что она лучше всех училась и, единственная, окончила их с отличием, всех девочек отправили на фронт, а ее — нет. Зареванная пришла к секретарю райкома, и на вопрос, почему ее не послали, пожилой, годный ей в отцы человек сказал: «Убьют ведь там. А ты здесь нужна». — «В школе я была единственная с высшим образованием».

Возвратившись, преподавала литературу в Сестрорецкой школе, потом в техникумах, колледжах Ленинграда. Из 55 лет рабочего стажа 14 лет Феодосия Юрьевна — комплектовщица на заводе «Северный пресс»: любимое дело пришлось оставить, чтобы можно было, работая, получать пенсию. Потом снова вернулась в школу. Где бы ни работала, везде ставила спектакли.

На пенсию в 2000 г. вышла только по настоянию сына, строго сказавшего, что «учебное заведение не пансионат для престарелых, а ей же уже пора писать свои мемуары».

И.З. Перчёнок

А между тем эта воительница была маленькой и беззащитной...

Н. Ю. Алексеева

У каждого читателя, помимо авторов, свой круг мысленных участников той сокровенной беседы, которая зовется чтением. Вот уже восемь лет, как в моей беседе с авторами XVIII века обязательно участвует Дина Клементьевна Мотольская. Это происходит благодаря тому, что в 1997 году она предложила мне, совсем еще незнакомому ей человеку, выбрать для себя книги из своей домашней библиотеки. Она подвела меня к стеллажам и оставила наедине с сокровищем. Это были издания авторов XVIII века и редкие филологические работы о них.

Когда книги переехали ко мне, в них обнаружилось пожелтевшие записочки, написанные крупным круглым почерком. Выписки, планы занятий, трамвайные билетки, и даже справка о жаловании Д.К. Мотольской от 2 сентября 1957 года. На полях книг — чернильные и карандашные отметки. Все они были сделаны в дошариковоручное время, т.е. до начала 1970-х годов. 30–50 (а теперь уже 60) лет назад Дина Клементьевна читала те же строки, что и я, но находила в них другое, чем я, и интерес ее вызывало иное.

Пометы, оставленные на полях и в тексте, помогали мне справиться с соблазном думать, что мы сегодня лучше и глубже понимаем литературу XVIII века, чем наши учителя. Как знаки дорожного движения, карандашные и чернильные значки останавливали мое внимание там, где бы я лихо проскочила мимо. Например, на описаниях крепостного гнета и злоупотреблений властью в «Путешествии из Петербурга в Москву», к которым мы относимся неоправданно высокомерно, тогда как Дина Клементьевна неизменно их отмечала. Она отчеркивала эти описания не потому, что они были общими местами той эпохи, в которую она читала Радищева, а потому, что умела переживать их.

Восприятие Радищева Диной Клементьевной и составляло ткань той эпохи, определяло ее черты и топорсы. Я могу об этом судить, поскольку не однажды напрямую беседовала с Диной Клементьевной, поражаясь, как и все ее знавшие, цельности ее натуры, общественному темпераменту и человеколюбию. Она, как и Радищев, не могла относиться равнодушно ко всякому роду насилия.

Она боролась за справедливость. Казалось бы, просто... А это делало ее последней читательницей «Путешествия из Петербурга в Москву», находящейся внутри того культурного пространства, в котором книга была написана. Пространство это — эпоха Просвещения. И Радищев, и Дина Клементьевна были русскими Просветителями, только один стоял в начале Просвещения, а другая его замыкала. Больше. Она замыкала и эпоху Гуманизма, и была гуманистом в том смысле слова, который происходит от гуманности. «Чувство гуманности еще не покинуло меня», — сказал со слабой улыбкой Кант в ответ на недовольство врача, вызванное тем, что умирающий встал, чтоб его поприветствовать. Благодарность, выраженная Диной Клементьевной накануне смерти ухаживающим за нею женщинам, продиктована тем же чувством гуманности, остававшимся с нею до последнего вздоха. А между тем эта воительница была маленькой и беззащитной...

«Пустеет воздух, птиц не слышно боле...»

Н. Р. Левина

С Д.К. связана почти вся моя жизнь — с юности до старости. Когда мы познакомились, мне было 17, а ей — 47. Тогда все, кто старше 30, а тем более — 40 лет, казались пожилыми. Но сейчас, когда она, тогдашняя, годится мне, теперешней, в дочери, я так ясно вижу ее молодое, приветливое лицо.

Это было на первом курсе, в сентябре 1955 года, на лекции по введению в литературоведение. В нашу большую 237 аудиторию быстрой походкой вошла миловидная миниатюрная женщина и стала около кафедры. Я не помню, что она говорила. Слова ушли, но музыка осталась: ее голос, приподнятый тон, искренний пафос, от сознания важности того, *что* она говорит, и удовольствия от того, что она говорит это *нам* — сотне девочек и горстке мальчиков, которых она видит впервые.

Это излучение приязни, доброжелательности давало почувствовать себя умной и хорошей. В ранней молодости такое отношение принимаешь не как редкий и бесценный дар, а как собственную заслугу («это потому, что я такая»). И только потом понимаешь, что никто другой, может, и не заметил бы твоих скромных достоинств, а если бы и заметил, то не стал бы их преувеличивать, и что благодаря ей ты, может быть, стала немного умнее и лучше.

Мне посчастливилось еще на 1-м курсе войти в ее «ближний круг», от которого она никогда никого не отлучала, не обижалась на «блудных детей», а только беспокоилась о них и всегда готова была с радостью встретить.

Я бывала у нее дома и на Пушкинской, и в Ульяновке, и на Марата. И всегда и везде — теплота, сердечность, гостеприимство, уют, угощение, вопросы...

Д.К. стала научным руководителем моей кандидатской диссертации. Я была не аспиранткой, а соискателем, и за эту работу она не получала ни копейки. Да и можно ли оценить в денежном выражении ее руководство? Это было многолетнее дружеское сотрудничество, в котором она ничего не навязывала, а лишь советовала, подталкивала, побуждала, поощряла, радовалась удачам...

Она не была «тружеником науки». Ей было легче и приятнее в непринужденной беседе с коллегами или студентами поделиться

своей мыслью, отдать свою идею, чем в тиши кабинета или библиотеки разрабатывать ее самой. Этих мыслей и идей хватило бы не на одну докторскую диссертацию, но Д.К. никогда не выражала сожаления о том, что не написала ее. Зато с какой гордостью сообщала она радостную новость: у такого-то или такой-то вышла интереснейшая статья или книга. Обязательно прочтите!

Но едва ли у кого-нибудь было столько благодарных читателей, сколько у нее благодарных студентов, звонивших ей и приходивших к ней даже спустя многие годы. До последних дней ее долгой жизни, пожалуй, не было дня, чтобы кто-нибудь не навещал ее.

Ее долгая жизнь продлевала нашу молодость. Мы оставались ее студентками, «девочками», хотя многие были уже бабушками.

Нельзя сказать, что она совсем не была честолюбива. Но ее честолюбие было особого рода. Она гордилась тем, что о ней говорят, что ее любят. Она запоминала и копила эти слова всю жизнь. И чем больше она слабела физически, тем чаще она вспоминала и повторяла их, потому что они согревали и поддерживали ее.

Старость, как известно, ни для кого не радость, и не каждый может противостоять ее невзгодам. Д.К. могла.

Постепенно она утрачивала зрение и слух. Меркнул свет, затихали звуки. Она всматривалась в этот сужающийся круг света, вслушивалась в невнятные голоса. Она изо всех сил держалась за то, что еще осталось.

Оставаясь одна в своих глухих потемках, она заново «прокручивала» то, что сегодня услышала, сосредоточивалась на какой-нибудь мысли или фразе, повторяла ее про себя (чтобы не потеряться, не заблудиться в темноте!) и не только на следующий день, но и через неделю, а то и позже, когда снова приходил собеседник, продолжала уже почти забытый им разговор. Она излагала, развивала тему — стройно, профессионально, удивляя даже тех, кто ее давно знал, и поражая видевших ее впервые.

Однажды к ней пришла Лиза Добкина*, собиравшая по заданию общества «Мемориал» материал о борьбе с космополитизмом. Я помню, как она была сначала испугана и смущена, увидев перед собой маленькую 90-летнюю старушку, слепую и почти совсем

* Ее отец, Александр Иосифович Добкин (1950—1998), — питерский историк и литератор, один из создателей и редакторов исторических альманахов «Память», «Минувшее», «Невский архив» и т.д.

глухую, которая не сразу расслышала и поняла, кто и зачем пришел. Но Д.К. ждала ее прихода и подготовилась к нему. Она поразила свою юную гостью подробным рассказом, построенным как отличная лекция, своей памятью о том, что было давным-давно, профессиональным владением сюжетом, без отклонения от него во второстепенные подробности (что так свойственно многим и не старым людям). Подробности были, но это были яркие картины, образы прошлого, давно ставшего историей, которая рассказывалась от первого лица!

Поражали ее внутренняя собранность, организованность и образцовый порядок. В то время как у меня дома моя собственная вещь или книга часто бывала счастливой находкой, у нее все лежало на своем месте и находилось мгновенно. Она говорила: «В правом углу в верхнем ящике» или «На ближайшем к двери стеллаже. На третьей полке снизу».

С огромным напряжением, через слуховой аппарат, она вслушивалась в стихи, которые я ей читала, обычно выполняя ее «заказ», полученный в прошлый мой приход. Это было нелегко: приходилось говорить очень громко, повторяя отдельные слова, но каким она была благодарным и воодушевляющим слушателем! И как я благодарна ей за тот душевный подъем, который сама при этом испытывала.

Д.К. повторяла знакомые строчки, иногда поправляя меня (я читала наизусть и, бывало, ошибалась). Мы сидели на кухне — Д.К., Белла и я — в теплом облаке общей радости.

Иногда мы вспоминали преподавателей нашего института, и мне бывало стыдно за свои несправедливые суждения о них. Так, однажды зашла речь о Григории Генриховиче Розенблате, читавшем нам методику литературы, и я сказала, что в его манере держаться была какая-то театральность, позерство и что он «переигрывал», нарочно заикаясь и подергивая головой. Но оказалось, что это был результат контузии и что Г.Г. был человек редкого мужества и благородства. Такая «переоценка ценностей» (и всегда — в положительную сторону!) происходила не раз, и это тоже счастливые моменты моей жизни, за которые я благодарна Д.К.

Она подарила мне бесценные книги: прижизненные издания Державина и Ломоносова. И такой потрясающий документ совет-

ской эпохи, как стенографический отчет первого съезда советских писателей.

Д.К. всегда обращала внимание на мою одежду и прическу, и когда она уже совсем плохо видела и слышала, у нас происходили такие забавные диалоги:

- На Вас новая кофточка!
- Д.К., она старая, Вы видели ее много раз.
- Очень удачная покупка! Этот цвет Вам к лицу.

Или:

- У Вас другая прическа!
- Д.К., просто я очень давно не стриглась.
- Да, Вас очень хорошо постригли.

Она всегда поздравляла с днем рождения меня и моего сына. Уже совсем потеряв зрение, она вслепую набирала номер моего телефона, и я слышала ее взволнованный голос:

— Наташенька, почему Вы не звоните? Что случилось? Как дела у Миши? Когда Вы придете?

До самых последних дней, когда я приходила, она всегда спрашивала:

- Как Ваши «Переулки»? Когда же Вы кончите?

И еще был один вопрос:

- Когда же *все это* кончится?

Все это кончилось 21 мая 2005 года.

«Пустеет воздух, птиц не слышно боле...»

Эта тютчевская строчка, как струна в тумане, звучит каждый раз, когда уходит близкий человек.

* * *

Все похоронные хлопоты взяла на себя Наташа Кузина (из предпоследнего выпуска Д.К. 1981 г.). Это было продолжение (и завершение) ее многолетней заботы о Д.К. как об очень близком человеке.

Что говорить! Ее отношение к Д.К. отличалось от нашего. Мы привыкли брать у нее, греться у ее огня. И даже в последний год, когда она слабела с каждым днем, хотелось верить, что ей даны какие-то сверхъестественные природные силы и что ей легче, чем другим, обыкновенным людям в таком же возрасте и в том же состоянии: не так трудно, не так больно, не так плохо. И из чувства самозащиты вызывали в памяти ее прежний образ, отодвигая нынешний.

Но Наташа Кузина не боялась реальности и принимала всё как есть. Она видела, как Д.К. трудно, больно и плохо, и делала для нее то незаметное, будничное, «прозаическое», что очень необходимо старому, беспомощному человеку. Это она придумала для Д.К. «спортивную форму одежды», чтобы ей удобнее было самой одеваться, и еще много других, не менее важных «бытовых мелочей», благодаря которым Д.К. до последних дней не утратила полностью своей самостоятельности.

Наташа хотела взять Д.К. к себе, но та, не желая обременить ее собой, отказывалась, хотя и говорила, что если бы решилась на это,



то поехала бы только к ней. С ней Д.К. могла позволить себе расслабиться, поплакать, пожаловаться.

В ней догорала жизнь, холодела кровь, и она нуждалась в человеческом тепле в самом буквальном смысле этого слова: чтобы можно было прислониться к кому-нибудь, чтобы подольше ее маленькую холодную ручку держала чья-то теплая рука. Таким человеком, отдающим свое тепло, стала Наташа Кузина.

Когда-то, очень давно, еще молодая Д.К., отвечая на вопрос анкеты, написала: «Ни сестер, ни братьев, ни детей у меня нет». Но если бы у нее была дочь, едва ли она ухаживала за ней на исходе ее жизни более преданно, чем Наташа Кузина.

Штрихи к портрету

Я помню, как белой ночью, после выпускного вечера (1990 г.), мы с ребятами ехали на трамвае по улице Марата мимо дома Д.К. и закричали хором: «Ура Д.К.!»

Она услышала, вышла на балкон и помахала нам рукой.
Потом она долго вспоминала об этом.

Т. Киркина

Я помню, как кафедра литературы «перевозила» Д.К. на новое место жительства, с Невского проспекта на окраину. Помочь пришло так много народу, что погрузка заняла несколько минут.

Р. Лазарчук

Я слушала лекции Д.К. на ФПК в 1981 году. В памяти — ощущение глубины, света, питерской интеллигентности.

Б. Минц

Помню облик, интонацию, пафос разговора, пафос личности. А вот случаев, деталей, словечек не помню. Так что мемуар не получается. А сердечная память остается.

Л. Дубшан

Помню многое о Д.К. Главное — цельность натуры, верность четким жизненным принципам, обаяние личности, истинная постоянная привязанность к людям, которых она любила и в которых она верила.

И. Богачек

Я помню Дину Клементьевну Мотольскую как отзывчивого, щедрого, душевного человека, бесконечно доброжелательного и сердечного. Д.К. была необычайно жизнелюбивым и оптимистически настроенным человеком. Ее отношение к студентам и выпускникам поистине уникально.

Е. Лысенкова

У Д.К. был дар интереса к собеседнику, к другому человеку, которого она слышала и который чувствовал в этом и свою собственную ценность.

Н. Володина

Я знала Д.К. с 1934 г. Посещала ее лекции, писала у нее курсовую работу «Крестьянская революция в творчестве Пушкина». Ей было тогда 26 лет. Помню, как аспиранты Десницкого, Попковский и Олейников, ее поклонники, сплетали руки и несли ее по Невскому на руках до самого дома.

Да будет память о тебе благая,
Душа прекрасная, святая,
Внушавшая любовь и преклоненье
Перед шедеврами труда и вдохновенья,
И с кафедры, и за столом
Ее лилася речь,
Чтоб в царство красоты увлечь.
Ученый, добрый человек!
Любовь студентов и друзей
Пребудут с ней навек
Как лучший памятник людей
От всей души своей.

Р. Заборова

* * *

...В фабзавуче, где т. Мотольская получила работу, загорелые парни и девушки были одних лет с Диной Клементьевной.

— Дина Клементьевна, — говорили они, — зачем нам Ваша литература, ведь мы — будущие слесаря и токаря?

Но молодой педагог всю свою силу, всё умение отдает работе, организует литературные кружки, устраивает походы в Эрмитаж по изучению живописи. И в короткое время ребята увлеклись литературой, зачитывались художественными произведениями.

...Последняя лекция по поэтике 15 декабря 1936 г. закончилась бурно. Аудитория в 216 человек устроила Мотольской продолжительную овацию — благодарность человеку за его искреннюю и большую работу.

Студенты литфака Павлов и Резников

(Из институтской многотиражной газеты
«За большевистские педкадры» от 7 февраля
1937 г.)

* * *

Д.К. пошел девяносто восьмой год. Из всех средств общения с людьми, кроме осязания, у нее остался только слух, сильно поврежденный, и голос, которым она старалась говорить очень четко и размеренно. Ясность мысли, память, немногословная мудрость оставались прежними.

М. Г. Качурин

Письма к Д.К.



Из писем Эммы Полоцкой

29.01.99 (день рождения А. П. Чехова)

Дорогая моя и любимая Дина Клементьевна, знаю, что все равно письмо Вам не прочтут, и постараюсь для Белочки писать хотя бы и не печатными (т.е. далеко не печатными) буквами, но немного более внятно, чем я обычно пишу... Я бы с большим удовольствием посидела у вас в кухне за вкусным чаем или без чая и слушала бы вас обеих. Но кто знает, когда я приеду в Петербург (так и не приехала; каждый раз помню про себя: Ленинград — но надо написать Петербург). А жаль, потому что у меня ведь инвалидный билет, и можно было бы хоть этим благом воспользоваться. А блага у нас великие. Есть право на бесплатное лекарство — и нет возможности этим правом воспользоваться. В районной поликлинике дикие очереди, духота, и если выпишут в конце концов, то что-нибудь «похуже» из лекарств. Фу, и говорить не хочется, потому что все это связано со всякими недомоганиями, о которых хочется забыть. Но о болезнях детей (у Любы — что-то с щитовидкой, делают анализы, чувствует себя неважно), внучек (у Лены — старшая внучка в Лизочкиной семье — сердечко пошаливает, и она принимает предуктал, который принимать должна и я, в моем то есть возрасте) все же надо написать.

Но есть на нашем ужасном общем фоне интересное: Лена и Вера увлекаются компьютером и Интернетом, Вера вообще пойдет по стопам Лизочки, т.е. займется математикой, но с экономическим уклоном, что небесперспективно, кажется, в смысле зарплаты. А о зарплате то и дело думаешь: гуманитарным институтам Академии Наук не платят зарплату (задолжали за 4 месяца — уже и счет теряем), а техническим — платят, так что, м.б., нас и вовсе ликвидируют. Что уж говорить, лишь бы фашизм — коммунизм не восторжествовал.

С младшенькими детьми интересная закономерность: только что в июле 98 г. мы заговорили между собой о том, что вроде жить можно, вот крем английский за 16 руб. я смогла себе купить и т.д. — как грянуло 17 августа. Правда, у нас сбережений ни в каких банках не было, но инфляция по всем ударила.

И сейчас — только что подумали: все же хоть нерегулярная зарплата (а у меня полставки), но плюс пенсия — жить можно, как

вдруг заговорили о том, чтобы усреднить пенсию, чтоб не было разницы, одним словом, чтобы все одинаково нуждались. Ох! Что я-то заговорила о деньгах, я, не знавшая никогда, сколько у меня в кошельке и дома денег (помните, как мы делили людей на разные категории: кто знает, сколько у него денег до 100 р., до 10 р., до копейки и т.д.? «Вот тут и вертись», как говорит Медведенко в «Чайке»).

Но пока есть свобода слова, — хотя не всем свое слово удастся опубликовать, для этого нужно иметь не только средства, но и энергию молодости, которая, увы, не у всех есть (о присутствующих умалчиваю) — все же не стоит впадать в уныние. И я урывками читаю, бываю иногда на вечерах и в театре (с удовольствием смотрела «Веселые денечки», или «Прекрасные дни» Беккета, пьесу, которую считаю апофеозом мужества при конце света; была на вечере Василия Аксенова, на благотворительном вечере памяти Окуджавы — в пользу музея поэта в Переделкине и т.д.), и как-то пытаюсь не грустить.

С Феней переписываемся, она оптимистка, и хотя опять у нее перелом ноги, она не унывает и рассчитывает скоро пойти на «Пиковую даму», хотя сейчас из-за перелома пользуется инвалидной коляской. Ее племянница американская вышла замуж за американца, который ради нее принял иудаизм — штрих, характеризующий его личность. Она принять христианство не захотела.

Нелличка Гомон в Киеве с больным мужем (маразм). Лёня блистает, несмотря на то и дело прорывающиеся ленты тромбфлебита. Юля, дочь Вити и Лены Левертовых, звонила на Новый год из Парижа. В июне приедет. Что еще?

Читали Вам солженицынские заметки о Чехове в № 10 «Нового мира»? Читали ли Вам Сухих в «Звезде»?

Продиктуйте кому-нибудь, кто Вас посещает, что-нибудь из своих мыслей по поводу нашего перехода в Новый век. Что-то будет?

Сборник со статьей Марии Леонтьевны так и не состоялся: гранта не дали...

Сейчас смотрели с Лизочкой по видео «Иисус из Назарета» Фезорелли. Очень фундаментально, до мелочей, и очень близко к духу христианства как религиозной системы, и очень скучно — зато рок-

опера — известная американская «Super Star», человечна и трогает сердце (наверное, и Вы с Белочкой смотрели).

Поздно. Хочется спать. И жаль прерывать письмо, мои дорогие, а сил нет! Спокойной ночи!

Ваша Эмма.

P.S. 5 февраля. Я заболела: радикулит, ноет сердце; попытаюсь выйти на улицу, отправить письмо. Конверта дома не было.

Белочка, дорогая, простите за ужасный почерк. Не могу побороть себя — и только на конверте пишу адрес прилично.

P.P.S. Мою книгу — сборник статей «О поэтике Чехова» — институт обещает издать в 99 г. Поживем — увидим. Но пишу мелочи...

9.05.02

Дорогие мои Дина Клементьевна и Белочка!

Сегодня очень грустный День Победы. Все началось с ужасов в Дагестане. Не верится, что человек превращается в зверя, нет, хуже — звери ведь своих не уничтожают! И как изошренно...

С Валею мы договорились, что теперь, с потеплением, когда дышать легче, я буду к ней приходить во двор, где она кормит кошек, в половине пятого. Но первый поход был неожиданно неудачен. Когда я ждала троллейбуса, начался в буквальном смысле буран: ветер, песок бьет прямо по лицу. Я хотела было вернуться домой, но ведь Валя меня ждет... В общем, пришла к ней, она сидит на скамье внутри своего двора, похудевшая, болезненное лицо, и правая рука распухла: застой лимфы. Страшно. Ей предложили сделать отток лимфы с помощью операции. Но предупреждают, что это ненадолго. То есть рука опять будет распухать.. Она не может есть твердую пищу, потому что дышать тяжело, только пьет.

Мужественно переносит болезнь, два раза в день ходит к кошкам, приносит им еду. Соседи к ней очень хорошо относятся, кто-то из друзей посещает, приходит убирать в комнате какая-то девушка.

Телефоны соседки и Валиной молочной сестры она Вам дала, как говорит. На всякий случай и я:

1) соседка Елена Кирилловна 132-09-26.

2) молочная сестра Наталья Владимировна 250-24-84.

В общем, тревожно. В последнее время я ей звоню почти каждый день, благо сиюю дома — опять принимаю антибиотики.

О Грете: она после приезда мне звонила, говорила, что скоро поедет с мужем отдыхать. Телефон не отвечает. Значит, уехали. Мы с ней вообще не встречались с тех пор, как я не хожу в библиотеку и вообще (зимой особенно) никуда. Очень редко выбираюсь на работу, еще реже в театр. Один раз за зиму! В октябре будет в Петербурге презентация книги «Полет «Чайки» (Очередной № «Чеховианы») — По материалам той конференции, на которой я была и даже заходила к Вам. Это был 1996 год. С того года была один раз в Ялте, но простудилась — и уже не езжу никуда. Но работаю, то есть служу в ИМЛИ, работа тягостная, хотя и любимая: редактирую вдвоем с Лией Михайловной Розенблюм 2-ю книгу Литнаследства «Чехов и мировая литература». Работа не творческая, но...Чехов, чего не сделаешь ради него. И есть чувство долга: надо доделать работы, которые начаты другими, которых уже на свете нет! Грустно.

10.05.02 (Продолжение предыдущего письма)

Мои внуки, кажется, я писала Вам, очень разные. Вера учит английский, французский и японский (начало японскому положила ее любовь к японскому року); Лена менее активна в работе (они обе учатся в Лизином институте — нет, Академии приборостроения), но увлечена Мариной Цветаевой, пишет стихи и даже печатает их в Интернете. Мне она подарила сборник стихов, опубликованных в Петербурге под названием «Тринадцать» — стихи авторов Интернета. А Зоя изредка ходит в школу, и Люба ее ежедневно водит на лечебные процедуры. Жизнь у девочки трудная, правая рука болит, и она рисует левой рукой. Сережа благополучен — снова женился и работает в Тель-Авиве.

24.10.02

Дорогая, любимая моя Дина Клементьевна!

Спасибо Вам и Гале за чудесное письмо. Не сразу села отвечать, к сожалению; простите. Сначала «добаливала» свою пневмонию (опять!), потом приехали гости — бывшие бакинцы, сбежавшие на Украину, две Аси — одна моя двоюродная сестра, другая — вдова моего двоюродного брата. Наспех не хотела писать, а когда вчера, наконец, собралась — случилось то, чем сейчас все живем, страда-

ем, боимся, надеемся. Вчера вечером, когда мы говорили по телефону с Адочкой, живущей в Киеве (я жила в Молотове с ней в семье брата моего, ее отца, — это моя единственная племянница), так вот в эти мгновения по ТВ стали показывать этот театр на улице Мельникова, где шел «Норд-Ост». И все — появилось ощущение, что жизнь пошла по-новому, т.е. иначе, а не по-новому и в Москве. Были убийства, пожары, теракты, но такого еще не было. Смысл нашего телефонного разговора с Адочкой был в том, что она прилетает с внуками и дочкой к нам в гости. И, конечно, сегодня это взаимное, долгожданное событие было отложено.

Только что слушала передачу с Шустером — и такая боль за беспомощность нашу. Ясно, что нужны переговоры, и срочно.

Зная Вас, представляю, как Вы внимательно следите за ходом событий и даете им точную оценку. Что-то будет?

Если Галя читает или рассказывает об увиденном по ТВ... Наверное, так.

Вы просите написать о Лизочке и Любаше «обстоятельнее». Общее у них — непрерывный труд. У Лизы преподавание математики в вузе плюс частные уроки. Докторскую диссертацию она забросила. Сумела хорошо устроить в профессиональном смысле своих детей. С Сережей ясно (он кончил Бауманский, потом в Хайфе технион и работает точно по специальности — компьютерной, сформулировать не умею; кстати, он был недавно здесь — повидался с нами и друзьями, это была радость). Девочки тоже учатся в Лизинем институте (Академия приборостроения). Вера работает, зарабатывает деньги, увлекается рок-музыкой, сейчас японской. Вера уже знает японский язык, учит корейский, французский, английский. Очень способная и работающая (в гости к нам всегда приходит с учебниками!). Лена любит М. Цветаеву, тайно пишет стихи, помещает их в Интернете. Но я увлеклась внуками, а Вы хотели о дочерях. У Лизы второй муж, деловой, спокойный, послушный. Она — лидер, как было и при Толе. Толя живет с новой женой, лечится от алкоголизма, душа у него прежняя. Приятно и грустно его видеть. Со мной он, как и раньше, нежен, это греет. Но видимся раза два в год, у нас! Любочка получила диплом юриста, теперь официально зарабатывает деньги, оформляет обмены квартир и т.д. Ее муж изредка приходит, «проводит время» с Зоей (смотрят фотографии, он ей рассказывает о своих путешествиях в качестве биофизи-

ка по разным странам). Люба очень много работает, и домом занимается, и ходит по врачам с Зоей, у которой в 15 лет тяжелый ревматоидный артрит.

Я с таким чувством благодарности читала Ваши воспоминания о наших встречах, о людях, которых мы навещали, которые нас любили и мы их любили. Как это было прекрасно и ... давно!

Но мне помнится, что мы и к Марии Леонтьевне ходили в Москве в гости (в районе Бауманского рынка). Я виделась недавно в метро с ее сыном, Владимиром Ивановичем. У него болезнь Паркинсона, больной и старый. Бедный... он мне передал фотографии Марии Леонтьевны для Южно-Сахалинского музея книги «Остров Сахалин».

Посылаю содержание книги. Глава «Недотепа» и «враздробь» — о 2-х ключевых словах пьесы, о жизни, которая перевернулась и никак не укладывалась...

Это письмо — из-за вчерашнего события — пишу лихорадочно, торопливо. Внутри все беспокожно. Если бы помудрее были наши... не знаю, как их назвать.

10.05.03

Дорогая моя, горячо любимая Дина Клементьевна! Как я рада слышать иногда ваш голос, знать, что Вы интересуетесь моей жизнью во многих ее, т.е. в главных аспектах (имею в виду творчество и детей, которые тоже относятся к творчеству, хотя ушли далеко от «замысла» — и это закон жизни).

Благодарю и шлю Вам рецензию на прошлую книгу. Идею эту внушила мне Грета, когда сказала: «Напиши Дине Кл. о рецензии в «Вопросах литературы». Я не смогла бы ее пересказать и посылаю копию, которую Зоя сделала по моей просьбе для Вас.

Что касается рецензии на мой «Вишневый сад» (заметьте: не чеховский, а мой — ох, как зазнаются эти специалисты!), то после разговора с Вами я осмелилась позвонить только Александру Михайловичу Гуревичу — а что будет, не знаю; я имею в виду его работу в «Известиях Академии Наук», отделение русского языка и литературы, — благо книга издана в «Науке».

Мне подарили удивительную книгу: Г. Бродская. «Сонечка Голлидэй. Жизнь и актерская судьба». 2003 г. Собственно, мы с автором Галей Бродской обменялись книгами. Удивительность этой

книги — для читателя, а для автора — обычное дело: она ищет в архивах материалы к своей теме и пишет биографию замечательных людей, начиная с предков. Каждый предшественник (по крови) главного героя выступает как индивидуальность, яркая, неповторимая. Она нашла документы, иллюстрирующие личность дедушек Сони — оба художники в данном случае, очень яркие, а потом и личность родителей — оба музыканты, незаурядные. И все это оказало, конечно, влияние на личность Сонечки. Бродская исправляет многое, сказанное Мариной Цветаевой о Сонечке Голлидэй.

Как удивительна судьба женщин с этим именем! Пока писала эту фразу, не думала о Софье Перовской, но вдруг вспомнила и ее. «Сонечка» у Улицкой (Вам читали ее рассказы?). Соня в «Дяде Ване». Но, м.б., все это — глупости?

Я так рада, что около Вас бывают люди, что Вы с Белочкой общаетесь с ними и среди них такие, как Милочка Друскина — Мельц, Лариса, с которой я так хорошо поговорила.

А на стихи меня опять не хватает.

Все мои Вас помнят и благодарят за приветы. Целую обеих. Э.

13.06.03

Книгу Лёне я не послала — будет оказия. На почту практически не хожу, кончатся конверты с марками — придется добратся как-нибудь.

О книге моей обстоятельно сказала одна из чеховисток, а еще — А.М. Гуревич, очень похвалил. Наверное, в Петербурге ее продают; м.б., кто-нибудь захочет написать о ней в «Русскую литературу»? Но сомнительно. Никто ничего — как правило — не делает по своей инициативе. О. Клинг (в «Вопросах литературы») был удивительным исключением. Главное, он сумел не только понять и даже углубить общий смысл книги, но очень тактично сказать о том, чего в ней не хватает — подробной (как с Достоевским и Пушкиным) аналогии с Толстым.

В Лёнин день рождения я его поздравила по телефону, он бодр и очень много по-прежнему работает, занимается организационной работой, печатается в газетах.

У меня появились 2 замечательные книги — «Хождение во Флоренцию» (подготовила Библиотека иностранной литературы) и 2-й выпуск «Тарусских страниц», где есть и старое, и новое.

Особенно: Бродский, Солженицын, Н. Глазков, Н. Панченко и многие другие. Очень мил Н. Глазков как прозаик: из «Похождений великого гуманиста» (М., Самсебя-издат, 1964). Один рассказик о том, как герой купил за 2,5 рубля Золотой заем и выиграл 100 тысяч рублей, как купил за 2,5 тысячи стенные часы, но, вешая их, упал с табуретки и... умер. Резюме: не купил бы облигации — не умер бы. Но из этого не следует, что Золотой заем не заслуживает доверия: «облигации смело можно приобретать, ибо стотысячный выигрыш выпадает крайне редко».

Прочла — и на душе стало легче!

14.06.03 утром (продолжение, в том же конверте, что и от 13.06.) Дождь, никуда я выйти не смогу. Опущу письмо, надеюсь, завтра. Ночью не спалось, И я в «Тарусских страницах» прочла переписку Шкловского с Ю. Тыняновым и Б. Эйхенбаумом. Какие люди, какой талант у автора писем — В.Б. Шкловского. (Глазам читать тяжелый труд, но зачем беречь?) В письмах Шкловский такой же, как в своих книгах. Они — с 1920-х годов (начинаются с писем к жене) до конца 50-х годов. Значит, и смерть Маяковского, Горького. Об искусстве писать: «Я люблю, когда человек не понимает, что пишет, когда человек пишет как будто случайно, и заблудившиеся корабли, которые открывают материки, называют их неверными именами» (из письма к Тынянову 1934 г.). Это мне напоминает одно из любимых моих стихотворений Б. Пастернака («Февраль. Достать чернил и плакать...», 1912 г.): «И чем случайней, тем вернее стихи слагаются навзрыд».

Рецензию на мою книгу писал специалист по Блоку и вообще «Серебряному веку», преподаватель МГУ (на кафедре теории литературы) Олег Клинг, а сейчас он уже занимается и Чеховым. (Я, кажется, Вам писала; он был даже в Ялте к 100-летию «Вишневого сада», где вместо меня была моя книга!)

Толик обрадовался Вашему привету и шлет, конечно, свой привет. Он остался для меня теплым человеком, теплее остальных моих любимцев. Работает, есть семья — и слава Богу; но отношений с первыми детьми — нет, это грустно.

У Саши Гуревича телефон молчит. Впрочем, еще попробую.

Нет, теперь уже не молчит, но, м.б., Саша или его жена сидят на Интернете: телефон занят, занят, занят...

Наконец, дозвонилась — передала Ваши слова и получила привет Вам.

А я уже замечаю, какие вставки можно сделать. Не упомянула в обзорной главе пособия Марии Леонтьевны о «Вишневом саде», потому что не достала этой книги, ее нет ни у сына Марии Леонтьевны — Владимира Ивановича, ни у чеховистов. Мне одна чеховистка из Оренбурга обещала сделать ксерокопию этого пособия — и я все-таки хотя бы ради этого буду стараться приготовить 2-е издание этой книги. Если удастся. А вдруг удастся!

P.S. Меня немного угнетает, что Галя или кто-то другой трудятся, читают мою книгу. Не надо тратить на это Ваше драгоценное время. Мои любимые главы — Блок, ничего Булгаков, Теннесси Уильямс — там, где «Трамвай «Желание», и главы об актерах. Можно понемножку, чуть-чуть — и отставить эту махину в 380 стр. Пожалуйста, не тратьте свое и Галино драгоценное время на это чтение!

26.06.03.

Дорогая моя Дина Клементьевна, дорогие Белочка и Галя, все, все, обитающие под крышей дома № 23 по ул. Марата (а знают ли проходящие по улице молодые люди, кто был сей Марат и чем он кончил?)!

Мои дешевые телефонные карточки кончились, но захотелось пообщаться. И вот по какому поводу, Дина Клементьевна.

Я не могла разыскать ни в библиотеках (когда ходила еще туда, а потом по телефону), ни у Владимира Ивановича, сына М.Л. Семановой, книжечку ее маленькую «В помощь учащимся 8–10 классов» 1958 г., посвященную «Вишневому саду», чтобы противопоставить ее пособию А.И. Ревякина 1960 года, о котором я пишу в книге о «Вишневом саде» (не резко, но все же критически) — очень уж у Ревякина социологический подход). И вот буквально вчера мне принесли малюсенькую книжечку Марии Леонтьевны, и я делаю из нее выписки для воображаемого 2-го издания моего «труда» (в кавычках, потому что я как-то не числю себя среди ученых). Самое смешное, что я в самом деле откладываю материал для 2-го издания книги. Понимаю, что это мечта, но упорно думаю об этом. Конечно, если бы эта мечта осуществилась, мне не дали особенно пачкать текст, но имя Марии Леонтьевны будет в новом издании —

именно как автора специальной, хоть маленькой работы о «Вишневом саде». Книга 50-х годов. (Хотя и она, как и Г. Бялый, тогда не могли писать совсем свободно.)

И позже Мария Леонтьевна писала об этой пьесе, но книжечка 1958 года, отличающаяся более свободным от социологизации тоном, чем многие другие работы того времени, должна быть упомянута.

Поговорила по телефону с Владимиром Ивановичем, сыном Марии Леонтьевны. Он обрадовался, что я общаюсь с Вами, и посылает свой привет. Когда я его видела (он передавал мне для Сахалинского музея Чехова фотографии Марии Леонтьевны), меня огорчил его вид. У него болезнь Паркинсона, это не шутка. Работает он понемногу, но печатать не может: руки не слушаются. Грустно.

<...>

Я потихоньку продолжаю редактировать статьи для 2 и 3 книг тома «Литнаследства» «Чехов и мировая литература». Пытаюсь и писать, но что-то пока мало клеится.

До свидания, любимая моя Дина Клементьевна. Держитесь — и Вы, и все вокруг Вас. Обнимаю. Эмма.

О Ленинградской блокаде слушала по ТВ — не смогла дозвониться в те дни.

1.03.04

Дорогая моя, любимая Дина Клементьевна!

Написала не сразу, потому что из Киева приехала моя племянница (та, что была 6-летней девочкой в Перми, и я с Лёней Шейманом иногда приводила ее домой из детского сада). И, кроме того, срочно кончала статью, теперь надо печатать на компьютере. Печатать буду понемногу, потому что много не могу, устаю. Кроме того, «мартышка к старости слаба глазами стала». Но не Вам, моя дорогая, цитировать Крылова на эту грустную тему. Немного смотрю ТВ и, когда появляется Хамада (Хакамада), прихожу в ужас. И вообще, что нас ожидает впереди — неизвестно.

Я уже и на работе не числюсь, но приходится что-то делать, консультировать. И придется читать корректуру. Осенью мне заплатили 10 тысяч рублей — и больше денег не будет, но есть пенсия. Между тем идет чеховский год. Книга моя быстро разошлась и се-

годня уже появилась 5-я рецензия, Туркова в № 2 «Знамени». Когда обсуждали мою книгу в музее Чехова (2 ноября 03 г. — не знаю, писала ли я Вам), то один из выступавших сказал: «Теперь Эмме Артемьевне нужно переходить на художественную прозу и мемуары». Мемуары я писать не умею, потому что память плохая, а уйти от Чехова, м.б., и надо — для разнообразия. Но я ведь ухитрилась писать и издавать даже Я. Полонского, Брюсова (его статьи о Чехове, о Пушкине), а в связи с Чеховым — о Бунине и т.д. В этом году много чеховских конференций, вряд ли смогу поехать в разные места, но в Мелихово, м.б., смогу. Сейчас уже выхожу на улицу понемногу.

Сегодня, 1 марта, пахнет весной. Да, я говорила с Нелей Гомон, узнав ее новый телефон от племянницы. Она, конечно, спрашивала о Вас, наша общая дорогая и любимая учительница, и шлет привет. Сидит дома, мало выходит.

Я получила от Ларисы Миллер новый сборник со стихами за 40 лет...

Вот стихотворение о нашей жизни:

Блажен, кто посетил сей мир
И до семнадцатого выбыл –
Он избежал кровавой дыбы
И не попал на мрачный пир,
И не загнулся средь чумных,
Клейменных жителей ГУЛага.
Не встал клочки «доходяга»
И прочих радостей земных.

Она любит цитировать классиков.

Спасибо тому, кто прочтет Вам это письмо. Грета не скоро, но будет в С.-Петербурге.

26.04.04

Сегодня напишу и Лёне Шейману, и Фане Рабинович, которая живет с 1991 года в Америке.

У Лёни, как всегда, очень много работы не творческой, но исполняемой им, если можно так сказать, творчески. В связи с 45-летием его журнала он много выступал, писал статьи, его фотографиями полна киргизская периодика, а также — газеты. Хотя и в журнале, конечно, есть его статьи. Но он его мне не прислал.

Воспоминания о нашем Молотове — Перми часто греют душу. Насчет Шуры Вишняковой я сказала Вам уже, узнав от Лёни: она училась с ним, а не с нами, т.е. была на курс старше. Но почему мы так подружились с Лёней — как оказалось, на всю жизнь? Ведь и он был на курс старше. Загадка. Инна Альми живет не в Рязани, а во Владимире. Мы с ней перезваниваемся.

Да, обе Милочки, Друскина и «Шейман» (не помню ее фамилии), ушли. С Лениной Милочкой связаны лучшие годы его жизни. Но он молодец, живет духовной жизнью всюю.

...Грета позвонила мне сразу, как приехала, спасибо ей. И как я рада — и предвидела это — ее статья в Питере будет опубликована. Она — талант.

P.S. Работаю, но немного, больше занимаюсь бытом, на время это и хорошо.

13.05.04

Дина Клементьевна, дорогая моя и наша — для тех, кто Вас узнал в том 1943 (как я) и другие военные годы. А сейчас, в дни Победы, особенно радостно и грустно вспоминать наше дружное общество и Вас — главную нашу учительницу и вдохновительницу.

Писать письмо и не сказать еще и еще раз, как я — и другие, конечно, — Вас любим и помним в разные годы, просто невозможно.

Я передала Неле Гомон Ваше слово о ней (ее нельзя не любить, это ясно), но она не пишет писем, и мы только переговариваемся по телефону, хотя — редко.

У меня лежит альманах № 2 — «Молодость», он был собран Лёней Шейманом, по-моему, для издания, но так и не вышел в свет. А в № 1 я участвовала. Так вот № 2 лежит у меня, и так бы хотелось его издать. Но как? Я еле справляюсь со своими чеховскими изданиями, т.е. пишу только по заказу для «Чеховианы» (бесплатно, конечно) — издания Чеховской комиссии.

И еще лежат у меня письма с фронта моего одноклассника, которые больно читать.

Зачем я все это пишу? День Победы всегда дает радость и вызывает мучительное состояние — власть воспоминаний.

А теперь о моем «героическом» поступке — поездке в Липецк, где я не была лет 5, а до этого ездила ежегодно на Липецкие театральные встречи. Четыре счастливых дня, за которые ухитрилась

даже немного поправиться, хотя осталась по-прежнему тощей. Спектакли этого и другого — воронежского театра были не выдающиеся, но организация и конференции, и всего быта нашего была превосходной. Меня встретили с любовью — очень боялись, что я не приеду. Поэтому для меня это праздник и — отдых.

...Мне предлагали написать для вузовского учебника главу о Чехове. Соблазнительно, но смогу ли сочетать с правкой корректуры для Литнаследства («Чехов и мировая литература»), первая книга которого вышла в 1997 г.?

Обнимаю и целую. Ваша Эмма.

03.07.04

Если письмо это будут читать Белочка или Галя, то пусть извинят, что это написано на «макулатуре» — странице библиографии по Чехову, которую я готовила в ИМЛИ. Приехала только что из Москвы в Киев на месяц и обнаружила у себя в сумке только корректуру «Чехов и мировая литература» и несколько книг, а чистой бумаги нет. Нет в доме и хозяев.

Но писать Вам мы с Нелличкой Гомон (да, да, не удивляйтесь!) должны и хотим. Итак: что касается Нелли, она выглядит как много лет назад и встретились мы, как будто не расставались. Мы мало общались, тем не менее взгляды у нас общие, в том числе на политику, шоу-бизнес и т.д.

Нелли живет с дочерью Леной, которая работает в фирме переводчиком и практически содержит всю семью. Муж Лены кубинец Эрнест, старше ее на 15 лет, он пишет музыку и поет в ресторане (латиноамериканском). Живут они дружно, любят друг друга.

Что касается меня, то я оказалась здесь по приглашению той самой Адочки, которую мы с Нелличкой, а иногда и с Лёней водили в детский садик в Перми. Она замечательный человек, душевная и любящая и любимая всеми. У нее два внука, старший учится в Институте международных отношений, а младший еще школьник, очень музыкальный и непоседа. Его я не видела, увижу на днях.

29.08.04

Письма стали угасающим жанром, и хоть я лично и люблю этот вид письма, но суета засасывает, не говоря о работе. Которая не

уменьшается. ...Сколько иностранных слов, особенно в примечаниях, в том числе венгерских, финских! — нельзя обойтись без консультации специалистов. Но наш Академический институт, в особенности редакция «Литнаследства», — работает так, словно нет на земле ни компьютеров с интернетами, ни курьеров с машинами. Я на фоне сотрудников редакции выгляжу «прогрессивным» человеком, хотя не владею и, видимо, не способна владеть Интернетом, но, по крайней мере, уважаю чужое умение и пытаюсь пользоваться знанием сведущих людей. Уф!

Но все равно тяжкий труд над рукописью уже в целом позади, идет корректура и хоть силами 2-х человек: я — единственный редактор-чеховист + издательский редактор, слава Богу, — очень образованная женщина.

Но прочь эти сетования. В Киеве мне было более, чем хорошо. Цветущий красивый город, чистые листья на деревьях, цветут розы, пахнет по вечерам липа. Ходить я не могла без машины, но была с племянницей Адочкой в музее Булгакова. Он называется «Дом Турбиных», находится на Подоле, где когда-то я с Мариной Коваленко видела этот дом в плачевном состоянии... Да и Вы, наверное, помните эти места. Экспозиция музея — двухплановая: на фоне мемориальной квартиры Булгаковых — в белом цвете расположены детали дома Турбиных из романа и отчасти пьесы. Возглавляет эту экспозицию женщина родом из Питоевых, уехавших когда-то из Грузии во Францию и там открывших свой театр.

Из сильных впечатлений в Киеве был просмотр фильмов в видеокассетах, из них самый сильный и трагический — «Пианист», о польском пианисте Шпильмане, бывшем в концлагере. М.б., Вы знаете его историю. Но он выжил и, кажется, умер 88 лет. Раньше я знала только имя его, а о спасении его в последние дни войны перед тем, как русские войска вошли в Польшу, — узнала впервые.

У Лёни Шеймана этот год хороший, юбилей его отмечался долго. А в Киеве я все же попала к Нелличке Гомон как раз в день ее 80-летия — и это было замечательно. Она молодец, много читает, живет очень дружной семьей вместе с дочерью Леной и ее мужем-испанцем, который пел испанские песни, аккомпанируя на гитаре. Вспоминали Вас...

Навестила я в сопровождении Марининой ученицы Наташи Елшанской ее могилу. Вот и все мои посещения. В основном жила на

даче, где по утрам работала. Отдохнула, как никогда. Любочка приехала тоже в Киев, побыла несколько дней, и мы вместе вернулись домой.

Грета мне говорила о своем телефонном разговоре с Вами — и мне стало грустно. Как бы я хотела побывать у Вас, дорогая Дина Клементьевна. Но пока невозможно, к сожалению. Обязательно позвоню вам. Целую, люблю. Э.

09.10.04

Дорогая моя, на этот раз хочу добавить: несравненная (да, да!) Дина Клементьевна. Хочу, чтобы Вы держались так же еще долго для нас всех, любящих Вас. Здоровья — по возможности, конечно, желаю Вам в первую очередь. Помню, как Григорий Абрамович Бялый на вопрос о его самочувствии отвечал: «согласно паспортным данным». Так вот пусть вопреки паспорту в вас по-прежнему чувствовалась бы молодость души, свойственная Вам, по нашим с Лёней Шейманом, наблюдениям с 1943 года (я ведь начала у Вас учиться с января этого года, уехав из Москвы еще с затемненными окнами, а подъезжая к Молотову в поезде, была поражена обилием огней и вообще другой жизнью в этом городе, хотя с иными заботами о войне и страхом за будущее).

Лёня пишет, что у него «худовато с сердцем», и меня это пугает. Он отказался от командировки в Петербург. А я отказалась — тоже из-за нездоровья, хотя сейчас мне не так плохо, как раньше — от поездки в Баденвейлер на Чеховскую конференцию. Но я была там два раза, и это было прекрасно — хотя и грустно. На балконе комнаты, где умер Чехов в гостинице «Зоммер», висит мемориальная доска со словами о том, что здесь жил Чехов (но не сказано: умер, чтобы не пугались отдыхающие, а номер Чехова в этой гостинице как-то перестроили). Баденвейлер и сейчас курорт, но тогда не был с туберкулезным профилем, и сейчас тоже. Зато ванны были очень известные, и Ольга Леонардовна купалась с удовольствием. Страшно вспоминать о чеховском конце, но не удивительны его сдержанность, мужество и доброта.

Отвлелась из-за упоминания Баденвейлера, простите, но вычеркивать не хочется.

Что касается премии, то она легко уходит на лекарства, подарки и т.д.

Приходили ко мне милые люди, которые рецензировали мою книгу. (Никогда — по моей просьбе! Включая А. Туркова в «Знамени».) Отдел серебряного века, где я служила (потом перешла без зарплаты, в сущности, в Литнаследство) и где я начинала писать книгу — так вот Отдел этот во главе с Вл. А. Келдышем организовал встречу в связи с премией. Было много теплых слов, особенно приятно было отношение незнакомой молодежи. Но чувство, что это как-то не обо мне; все от души, конечно, но странно...

А во втором номере «Знамени», где рецензия Туркова, роман Анатолия Королева «Быть Босхом». Он меня потряс, и хотя по моей недостаточной образованности какие-то детали могли от меня ускользнуть, но главное я почувствовала. Если бы Вам хоть кусками прочли эту вещь! Там параллельно две действительности. Одна — за колючей проволокой в дисбате, где герой и повествователь с собственным именем — Королев — отбывает в качестве лейтенанта свою воинскую службу (действие в 70-е гг.) на Урале. Другая — жизнь и творчество Босха, о котором герой собрался написать книгу. Ужасы ада у Босха и ужасы реальной жизни подневольных солдат — неизвестно, где хуже. Читать тяжело, но невозможно не дочитывать. Главное — автор почувствовал свою обязанность поведать миру об этом.

А кончить письмо хочется веселее. Мои три девочки (Лиза, Люба, Вера) окрасились в светлые, близкие к рыжему цвету, тона. И Верочка, бывшая всегда шатенкой, стала ослепительной блондинкой, побыла так несколько месяцев, а сейчас снова выкрасилась в цвет, близкий к каштановому. Можно позавидовать таким заботам, да? Зато Зоя моя — с черноволосыми косами и Алена — рыжая, чем-то похожая на Еву. Зоя учится у репетитора, готовится опять к экзамену во ВГИК. Я написала одну статью о Чехове. Когда опубликуют — пришлю. И рецензию на книгу о Сухово-Кобылине Н. Старосельской.

6.11.04

Дорогая моя Дина Клементьевна, когда на днях я говорила с Белочкой и передала Вам привет, Ваше письмо было «на подступах» к Москве. И сегодня, т.е. 13 ноября, получила. Это было сразу после того, как Грета мне сообщила радостную новость: она получила № 11 «Звезды» со своей статьей, хоть и немного искореженной ре-

дакцией, но все-таки получила! А потом статья пойдет в Блоковский сборник, уже в своем истинном виде.

Есть и у меня новость: 10 числа в Тель-Авиве родилась у Сережи девочка, очень похожая на него, с удивительным именем — Ирис. Теперь в их семье двое мужчин, т.е. Сережа и сыночек 7-летний его жены Тани от первого брака, и две женщины — прелестная Таня и обещающая быть столь же прелестной Ирис. Глаза серые, волосы («локоны» — говорит Сережа) светлые. Так что я прабабушка! Как бы я хотела повидать правнучку свою!

Пишу уставшая немного от чтения корректуры «Литнаследства» — долгая работа, которая началась летом в Киеве и еще продолжится — до начала будущего года. Ведь готовятся 2 книги (в книге 2-й Европа и США, т.е. Чехов в восприятии их, и в 3-й — вся Азия, Австралия, Африка). Я на свою голову все расширяла количество стран, находила авторов, редактировала и т.д. Но, надеюсь, одолеем этот долгий-долгий труд...

В начале ноября вспомнила, как была у Вас с Белочкой в 1996 г. Как это было давно!

От Нелли Гомон было письмо, Вам — привет. Лёне звонила в день, когда он отправлялся в больницу (не помню какого числа, но что-то месяц назад) для лечения сердечно-сосудистой системы. Он сказал, что в доме остается женщина, которая ему помогает, но я ни разу не заставала ее, когда звонила, звонила же почти ежедневно. Надеюсь, что все будет благополучно, и как только он вернется домой — я вам сообщу сразу. Лёня, Фаня и Нелька — вот кто остался от тех студенческих лет. Милые, дорогие сердцу люди, настоящие друзья. И Вы!

29.12.04

Родная моя Дина Клементьевна, родная Белочка! Вот скоро уже кончается старый и начнется Новый Год! — эта тривиальная, казалось бы, ситуация каждый раз ощущается как что-то новое и дающее надежду. Надеюсь услышать Ваши голоса 31-го, если эту возможность даст всегда перегруженный телефон. А пока — о текущем.

Знаю, что Вы, дорогая моя Дина Клементьевна, всегда интересуетесь моими детьми и внуками. Начинаю с младшенькой — по имени Ирис (т.е. Ириска), моя правнучка, т.е. дочь того самого Сережи, который с матерью Лизой, если мне не изменяет моя память, гостил

у Вас в Питере. Так вот, чтобы рассказать Вам об этой девочке, я позвонила и первое, что услышала — ее крик. Повод: болит животик, как и полагается в первые месяцы. Подошел к телефону ее старший брат, т.е. сын Сережиной жены Тани от ее первого брака. Мальчик по имени Симон увлечен сестренкой и помогает родителям. Сережа, в сущности воспитавший своих двух сестреночек, — опытный воспитатель. В общем, живут дружно, и мне радостно с ними говорить.

Лизины девочки, Вера и Алена, в сущности, замужем, обе очень хороши. «В сущности», потому что не регистрировали обе свой брак. Но довольны — и слава Богу. Обоих мужей зовут Саша. К этому поколению относится и младшая моя внучка Зоя. Она работает в качестве лаборанта во ВГИКе, куда надеется в будущем году попасть. Поживем — увидим. И между прочим — очень лениво — готовится к будущим экзаменам.

А старшее мое детское поколение — дочери — обе трудятся и живут напряженной жизнью.

Я же снова читаю корректуру для «Литнаследства», авось когда-нибудь обе последние книги под заглавием «Чехов и мировая литература» выйдут в свет. Труд довольно тяжелый, приходится наводить справки в библиотеках, архивах и т.д. — но только по телефону, потому что я «невъездная», как раньше говорили по другому поводу. Т.е. не выхожу из дому; вся энергия, полученная летом в Киеве, иссякла. Но, слава Богу, я на ногах.

На днях набралась сил и навела порядок среди книг со стихами. И стало грустно. Как много еще совсем нечитанного или забытого. И с каким удовольствием теперь прочла «Новую жизнь» Данте! Другой мир, почти нереальный, а как трогает...

Лёнин телефон не отвечает, значит, он еще долечивается в больнице или его послали в санаторий. Несколько раз говорила по его телефону с женщиной, которая помогает ему по хозяйству: она сказала, что в плохую погоду сердце все-таки его тревожит, ведь был инфаркт. К Новому Году, надеюсь, он будет дома.

У Греты вышла наконец статья в журнале «Звезда», мне она ее еще не послала. Ко мне она не ходит уже более 17 лет (по числу лет Зойки), но по телефону разговариваем.

Сейчас все чаще думается о войне, вспоминается и наш с вами Молотов. Перебирая стихи, я неожиданно наткнулась на два сти-

хотворения — Слуцкого и Тарковского, посвященные одной и той же теме: последнему мирному дню, 21 июня 1941 года.

У Тарковского — сложнее, с концовкой:

Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.

У Слуцкого — эмоциональнее:

Тот самый длинный день в году,
Тот самый долгий, самый лучший,
Когда плохого я не жду.

.....
Пусть пух, взлетевший — не садится.
Пусть день еще, еще продлится.
Пусть солнце долго не садится.
Пусть не заходит под Москвой.

27.02.05

Дорогая моя и любимая Дина Клементьевна!

Первым делом прошу прощения за долгое неписание письма. И сейчас я не в форме, принимаю антибиотик, но — уповаю.

Вторым делом — как я сказала, обещанного описания Лёниных дней в больнице мне Валентина Григорьевна Каменецкая не прислала, но в марте, кажется, в конце его, привезет газеты с описанием похорон Лёни и т.д. другая его знакомая, которую я с большим трудом разыскала. В общем, сплошная грусть и пусто без Лёни.

Лизочка 1-го января, уходя от нас, сломала у своего подъезда руку, но с гипсом все-таки поехала к Сереже в Израиль — познакомиться со своей внучкой Ириской, а с моей правнучкой. Привезла мне от Сережи чудный календарь настольный, где каждый месяц сопровождается фотографией девочки, — то одной ее, то вместе с матерью, то с братиком старшим (это сын жены Сережи от первого брака), то с Лизой. Вот эта фотография — прелесть: внучка и бабка смотрят друг на друга (девочке было еще только 2 месяца) и улыбаются друг другу.

Вчера у нас были друзья Любы по агитбригаде биофака, где они пели сначала под руководством С. Никитина, потом без него (25 лет назад!), и это был удивительный вечер. Друзья встретились вновь и пели, конечно! Я слушала и в эти моменты была счастлива. Прихо-

дила и Лиза с Верой и ее мужем Сашей. Лена, вторая дочь Лизы, не общается с родными, у нее — свой мир. Живут они вместе с Лизой вдвоем, а Верочка — у мужа, который мне очень нравится, вообще их отношения нравятся. Дай Бог счастья им!

А я медленно, но работаю. Вышла статья в театральном журнале «Необходимое и лишнее» — о пьесах Чехова. Когда стану выходить на улицу, сделаю ксероксы и буду дарить друзьям, значит, и Вам, моя любимая.

23.03.05 (Последнее письмо)

Позвонила Грета. Она пишет новую работу — и этим живет. Впрочем, как и я. В начале апреля она будет в Ленинграде.

Я все еще не выхожу из дома, холодным воздухом дышать не могу. Дети — ничего. Все в работе.

Наконец, о Лёне. Лёня, Лёня, Лёня — не выходит из головы. Со дня на день жду, что приедет в Москву Наталья Павловна Задорожная с обещанными материалами газетными — о Лёне. А Валентина Григорьевна Каменецкая свое обещание прислать мне письмо с подробным рассказом о Лёниной болезни — не выполнила. Ее телефон не отвечает очень стойко. Она упомянула мое письмо к Лёне, которое, очевидно, ему не передали, потому что он был, может быть, не в памяти. Они не понимают, что значил Лёня для нас и как хотелось бы знать о нем все подробности. А боль не утихает. Все-таки надеюсь на приезд Натальи Павловны.

Простите, что пишу на макулатуре — страницах корректуры книги о «Вишневом саде». Хорошей бумаги под рукой нет у меня, а Любочки нет дома.

Да, в Бишкеке что-то странное, совсем неожиданное творится. А ведь президент Лёню поздравлял в дни его юбилея.

Без Лёни и другие письма стало трудно писать. Нелличке Гомон я давно не пишу, и потому что она не признает писем, как прежде. Она — на уровне поколения моих внучек, которые не признают писем. Но они, по крайней мере, пользуются компьютером и мобильным телефоном (даже обыкновенный телефон для них устарел). А уж письма писать, — как мы, грешные, привыкли, — это для них невозможно, если только электронной почтой. Другая жизнь. Зайка как-то меня упрекнула в неправильной речи (не помню что); кажется, я сказала, что нахожусь «в напряжении» — это оказалось

неверно. Я сегодня перед ее выходом на работу (она работает во ВГИКе лаборантом, чтобы осенью попасть туда на 1-й курс), — прочла ей стихотворение Гумилева:

Ни шороха полночных далей,
Ни песен, что певала мать,
Мы никогда не понимали
Того, что стоило понять.
И, символ горнего величья,
Как некий благостный завет,
Высокое косноязычье
Тебе даруется, поэт.

P.S. В свое время я накупила много конвертов с марками для писем Лёне в Киргизию — и вот они смотрят на меня грустно...

Из писем Марка Григорьевича Качурина

<после смерти *Матушки* (жены) и отъезда к детям в Америку>

* * *

Дорогая Дина Клементьевна! Снова я получил от милых сестер Ваше письмо, адресованное им, но с Вашими словами заботы и беспокойства обо мне. Спасибо Вам сердечное и простите меня за длительное молчание.

В прошлом письме я говорил о здешней бурной весне с резкими переменами погоды. Приближается лето, все зелено, на лужайке у нашего дома цветут розы — алые и бордовые, а в саду пробились и пошли в рост огурцы. Но погода все еще непостоянна, сейчас — предгрозовое затишье, похолодало, но к вечеру может выйти солнце — и на улице станет душно. Летний палящий зной еще не наступил, и я его побаиваюсь, хотя испытал и вытерпел однажды — в 1999 году. Но тогда я уезжал в конце июля. А самый жаркий здесь — август. Надеюсь к тому времени несколько акклиматизироваться.

Из моих работ я закончил одну — небольшую статью о творчестве Израиля Моисеевича Меттера. Это — попытка соединить воспоминания о друге с литературоведением. Отослана она в журнал «Вестник», в котором печатались (и еще будут печататься) сестры. Журнал очень содержательный, Толя его выписал. По типу издания он отчасти похож на «Огонек» его лучших времен. Пока есть только ответное письмо редактора журнала — о том, что статья представляется очень интересной. Надеюсь на публикацию.

Пишу понемногу статью об «офицерской теме» русской литературы. Увяз в материале и мыслях о нем. Начал с Жуковского и любимого моего Батюшкова. Впереди — Пушкин, Лермонтов, Толстой, Куприн, Булгаков... Как с этой громадой сладить? Выходит не статья, а серия статей или даже книга. Хватит ли сил? Не выбрать ли путь покороче? Пока не знаю. Может быть, посоветоваться с редактором журнала, для которого я пишу? («Новый журнал»; его редактор В.П. Крейд, публикуя мою первую статью — «Услышать будущего зов», звонил мне в Питер и просил присылать все, что напишу. Это очень лестно, но еще более ответственно).

Гроза так и не разразилась. Погромыхало, пролился маленький дождик. Но и солнце не вышло. Почти петербургская хмурая погода...

Целую и обнимаю Вас. Ваш М.Г.

* * *

Дорогая Дина Клементьевна! Мария Анатольевна мне прислала журнал «Вестник» со статьей сестер о Солженицыне, с Вашим письмом и с письмом Володи Кабо. Сюжет один — о большом русском писателе, выдавшем в свет мерзопакостную книгу, пособие или оружие для всех юдофобов. Статья сестер написана прекрасно — точно, доказательно, гневно. Что произошло с Солженицыным, можно только предполагать. Все мы очень высоко оценивали начало его творческого пути, читали взахлеб, любили автора и гордились им. Трудно передать тот наплыв чувств, которые пробудил «Один день», рассказы, «Архипелаг». Мы видели в этих произведениях не только рождающегося очень талантливого подвижника-писателя, но возрождение русской классики и, может быть, самой России. Что-то немного царапало сознание читателя-еврея, даже в «Одном дне». Но мнилось, что это черты, отражающие привычный бытовой антисемитизм части народа, но отнюдь не самого автора. Однако эти черты продолжали нарастать, укрупняться в новых произведениях, которые художественно перестали увлекать читателей. Я не встретил ни одного человека, который прочел бы до конца «Красное колесо». Наконец, появилась (сначала в «Интернете») книга «Двести лет вместе» — и картина стала печально ясной. Я прочел эту книгу еще в России, и это было для меня тяжким личным горем. Более всего меня поразило, что С. силится представить себя миротворцем — и не может, постоянно срывается на ложь, подтасовки, лжесвидетельства. Как он ни сдерживается, его захлестывает зоологическая злоба. Ненависть прет изнутри — только в этом отношении можно говорить о невольной искренности автора. Впрочем, еще Карамзин сказал (в статье об авторе), что писатель всегда выражает себя в творении и часто — против воли своей. Мне кажется, прав Толя, который говорит, что с возрастом может происходить искажение личности, гипертрофия отдельных ее черт. Не со всеми это бывает. Но ведь бывает, и даже сравнительно рано — вспомним Белова и Распутина. Художественно-нравственные запреты искусства рушатся под напором расходившихся эмоций. И писателя покидают ум и талант. Это трагедия человека и литературы.

Сестры, с которыми иногда говорю по телефону, поражают, радуют и поддерживают меня деятельным духом. «Труд — наша молитва» — писал Герцен, на которого они так умно и эмоционально

сослались в своей статье (сцена с детьми — еврейскими кантонистами из «Былого и дум»).

Я закончил пока воспоминания (надеюсь, что будет вторая часть). Толя их редактирует и готовит к печати (компьютерной). Надеюсь, что будет несколько экземпляров и смогу послать Вам. Начал статью о судьбах русского офицерства в изображении литературы. Идет пока трудно, медленно, хотя материал сам плывет в руки. Постоянный интерес к этой теме в произведениях девятнадцатого века понятен: каковы офицеры — такова армия, таков, в конечном счете, авторитет России в мире. Но тема не кончилась Булгаковым. Ее продолжают, в частности, Шефнер, Кураев, Борис Васильев. Что это — ностальгия, поучение или предвиденье?

Здесь весна с резкими переменаами погоды — от плюс 25 до минус 5. Сильные ветры, доходящие до урагана. Но деревья уже цветут белым, розовым и красновато-фиолетовым цветом. Птиц с каждым днем все больше, и часто они поют по-русски: «Пить, пить, пить...», «Витя, Витя, Витя... Цирк, цирк, цирк...», «В Севилью, в Севилью, в Севилью...»

Целую и обнимаю Вас, Ваш М.Г.

* * *

9 августа 2002 г.

Дорогая Дина Клементьевна! Посылаю Вам свои воспоминания. Может быть, кто-нибудь из друзей почитает Вам то, что Вы выберете. Я постоянно думаю о Вас, прежде всего — о радости, которую принесло мне общение с Вами. Сколько добра, мудрости, света в Вашем дружеском внимании! Когда мне бывает тоскливо и грустно, я стараюсь вспомнить какой-нибудь эпизод нашей полувековой дружбы, нашей совместной работы — и становится полегче. Ленинграда и Сосново мне все равно не хватает. Обо мне тут очень заботятся Толя и Оля. Часто вижу внуков. Это все прекрасно. Но такое старое дерево, каким я себя чувствую, на новое место не пересадить. Впрочем, Вы не любите жалоб. И правильно. Я работаю довольно много. Даже сейчас, в сорокаградусную жару. И воспоминания мои, мне кажется, такие, как и сама жизнь — веселые, печальные, смешные, горестные, радостные.

Простите, что пишу коротко: разучился пользоваться пером. Правда, и на компьютере работаю очень медленно, но упорно.

И в 7–8 часов утра езжу по Стиллуотеру на трехколесном велосипеде (Толин подарок), пока еще можно дышать свободно — нет изнуряющей жары.

Целую Вас, родная моя Дина Клементьевна.

Сердечный привет Белле Львовне.

Горячо любящий Вас М. Качурин.

* * *

20.09.02

Дорогая Дина Клементьевна!

Надеюсь, что Вы уже получили мое письмо — очень длинное, на 97 страницах. Это мои воспоминания. Они опубликованы в 10 экземплярах. Я их послал самым близким друзьям. Может быть, кто-то Вам их почитает. Хотя бы выборочно. Я не приложил к рукописи оглавление. Это затруднит выбор. Поэтому напишу оглавление в этом письме.

Матушка. Семья. Корни. Школа. Университет. Война. Лёня Салямон. Эвакуация и санпоезд. Любовь. Факультет. Юра Лотман. Женя Маймин. Снегиревка. Дети. Внуки. Пусть поговорят. Младшие. Сосново. Семейный стиль. Лева и Аня. Израиль и Ксения Меттеры. Марк Галлай. ОблИУУ. Дусенька. Шум. Три с половиной собаки. Учительство. Управление. Ефим Эткинд. Труд — наша молитва. Америка.

Написавши, вижу, что логики в оглавлении нет. Нет ее, наверно, и в воспоминаниях. Но жизнь — жизнь Матушки и моя, наших детей и внуков, наших друзей, нашего поколения — все-таки есть. Я уже получил несколько откликов на рукопись — от ее «героев»: Тани Веселовой, Лёни Салямона, Наташи Козловой, Веры Годинер. Мария Анатольевна тоже откликнулась на одну из глав — ОблИУУ, которую пока смогла прочесть (она читает сейчас с трудом, пользуясь лупой). Кроме того, здешние слушатели мои высказывали или непосредственно выражали свое мнение. Так что «читательский круг» у воспоминаний расширяется. На издание я не надеюсь. Но отдельные главы могут быть опубликованы в местных русскоязычных журналах. Одна — о Меттере — уже появилась в журнале «Вестник», вторую — об Эткинде — я послал, третью — о Лотмане — pošлю в ближайшие дни, кое-что из остального тоже, может быть, годится для печати. Конечно, хотелось бы сделать настоящую кни-

гу... Рукопись — только черновик. Но я рад, что удалось ее сделать. А вероятность публикации очень мала по разным причинам. Но не вовсе отсутствует.

Статью о русских офицерах (первую) я послал в «Новый журнал», где печатался в 1999 году. Называется «Поручик Жуковский и два генерала». Возможно, она появится в мартовском номере журнала.

О состоянии здоровья я Вам не писал, потому что это был бы, как казалось мне, неуместный разговор о моих «хворях». Но раз Вы просите, кратко напишу. Главную мою хворь — простатит — лечит здешний уролог, и сдвиги к лучшему имеются. По поводу других хворей — артроз, гипертония, катаракта — я посещал врачей. Но фактически лечит меня Толя. Против артроза, например, он применил спортивный трехколесный велосипед, на котором я разгуливаю по Стиллуотеру, приводя в удивление многих его жителей (он единственный в этом городе, Толя его откуда-то выписал, чуть ли не из Чикаго). Это не радикальное средство (радикальных вообще нет, поскольку колено нельзя заменить протезом из-за состояния «нижних» костей), но улучшение несомненно есть; кроме того, мой жизненный круг значительно расширился. Против гипертонии Толя применяет разные лекарства, и опять-таки состояние улучшилось. Помогает и смена впечатлений: в августе Толя и Оля отправили меня в Сан-Франциско, в гости к моей однокашнице по университету еще 1940 года, близкому другу нашей семьи — Риве Коган. По общему мнению и самочувствию, я вернулся из поездки посвежевшим. Сан-Франциско — чудесный, уникальный город на берегу Тихого океана; в нем царит вечная весна или вечная ранняя осень с необычайно изменчивой погодой, не выходящей, однако, за пределы 12–25 градусов тепла.

Всего доброго! Целую Вас с нежностью и благодарностью. Поклон низкий Белле Львовне. Толя и Оля шлют сердечные приветы. М.Г.

* * *

27.09.03

Дорогая Дина Клементьевна!

Пришла осень, стало немного прохладнее, обходимся без кондиционера, у меня круглые сутки открыта форточка. Но

пока я днем катался на велосипеде только два раза: жарковато. Рано утром, когда только всходит солнце, а дети собираются в школу (их отвозит школьный автобус), кататься куда приятнее.

Дни похожи один на другой. Разнообразит их только работа. Сейчас я правлю вторую книжку для московского издательства. Мечтаю увидеть первую книжку, но не знаю, как это осуществится, да и осуществится ли?

Послал статью об Аввакуме Петрове и Варламе Шаламове в «Новый журнал»; статью о Николае Пленкине — в «Вестник» (написанную в соавторстве с Марией Анатольевной). Она сейчас пишет маленькие рассказы о встречах с незнакомцами. По-моему, замысел очень интересный. И сюжеты, о которых она мне рассказывает, позволяют поведать многое в маленьком объеме. Сегодня мы договорились с нею, что будем писать статью о М.К. Азатовском. У меня о нем студенческие воспоминания. А у Марии Анатольевны — аспирантские. Он был ее научным руководителем, когда она занималась фольклорной темой. Что-нибудь вместе получится. Мария Анатольевна просила меня Вам передать, что очень Вас любит.

Над Флоридой все еще бушуют ураганы. Но городу Орландо, где живут Толя, Оля и Саша, они зла не причинили. Толя сегодня звонил: сидят дома (сегодня воскресенье), слушают шум ветра и дождя.

В Эдмонде тихо. Уже приближается вечер. Может быть, мы с Мишей поедем на рыбалку.

С Надюшей говорил вчера. Сейчас вся семья в сборе. Леша преподает, у него постепенно увеличивается нагрузка. Надя учится и продолжает искать работу по специальности (лаборант по генетике). Лева и Арсюша учатся в русской и французской школах. Лева в будущем году переходить на следующую ступень образования — в среднюю школу. Он хотел бы в престижную школу, но усилий для этого не прикладывает. Арсюша успешно занимается математикой и шахматами. Я очень хочу их всех повидать, но пока возможности нет: «зеленую карту» (это первый документ на право путешествовать) все еще не дали.

Обнимаю Вас. Привет Белле Львовне. Ваш М.Г.

* * *

05.02.2003

Дорогая Дина Клементьевна!

Я попытался выполнить Ваш совет — издать книгу воспоминаний. Редактировал текст. Договорился с редактором журнала «Вестник» о печатании (при журнале есть издательство). Отослал текст для ознакомления. Но какую цену назначат, пока не знаю.

Надеюсь, что цена будет приемлемой. Может быть, редактор учтет, что я уже напечатал в «Вестнике» две статьи (о Меггере и Эткинде) и на них были хорошие отклики, что я послал ему статью о Куприне и в соавторстве с Марией Анатольевной — статью о Зинаиде Наумовне Гинзбург (обе он оценил высоко)... Но может быть и так, что все это не имеет особого значения, когда речь идет об издании книги, и все решают деньги.

Хочу написать для «Нового журнала» (это старейший здесь русскоязычный журнал) статью о Чернышевском в романе Набокова «Дар». Пока — на подступах. Хотя в голове статья уже сложилась. Но, как всегда, процесс писания многое изменит. В 2001 году «Новый журнал» напечатал мою статью «Услышать будущего зов». Недавно взял для публикации ту статью, о страданиях над которой я Вам рассказывал. Статья о русском офицерстве. Называется «Поручик Жуковский и два генерала».

Московское «Просвещение» приглашает для сотрудничества в создании новых учебников. Посмотрим. Пока я им не верю. Дважды уже обманули.

В Стиллуотере сейчас зима. Но снег и ледяной дождь были недолго. От них пострадали деревья: обламывались сучья. А так погода по ленинградским меркам прохладная, иногда теплая. Даже езжу на своем велоситюде. И результат есть: я стал немного лучше ходить. И даже при поездках на почту, в аптеку и в магазин не беру с собой мой красивый мексиканский посох. Помог не один велосипед (его купил Толя — выписал из какого-то города, потому что он не обычный, а трехколесный и спортивный), но еще и таблетки так называемых «пищевых добавок».

С Марией Анатольевной иногда разговариваем по телефону. Хотелось бы с нею написать еще одну совместную работу — «на два голоса» (так написана статья о Зинаиде Наумовне), только не дис-

куссионную. Я диспутов не люблю, в них рождается не истина, а взаимное раздражение. Я предпочитаю метод «мозговой атаки», который споры исключает.

С Надей, Лешей, внукамилевой и Арсюшей разговариваю иногда по телефону и переписываюсь. Все сейчас работают: Леша в университете, Надя в университетской лаборатории волонтером, дети занимаются одновременно в двух школах — русской и французской. Всем нравится Монреаль.

Целую Вас и нежно обнимаю. Поклон Белле Львовне. Вся родня в Оклахоме и Канаде шлет Вам приветы. Ваш М.Г.

* * *

18.11.2003

Дорогая, милая, любимая Дина Клементьевна! Получил сегодня ваше письмо. Шло оно очень долго, даже если описка — 13.09.2003 в начале письма. По штампу 25-го отделения принято 14 октября. Но почта — сама себе хозяйка. Кстати, я послал Вам не два письма, а пять: вот они все на экране моего компьютера. Последнее в июле 2003 года. Да не в этом дело. Это не оправдание. Хоть бы я послал двадцать пять писем, я бы все равно не смог сказать, как много Вы для меня значите в жизни. Ваша духовная молодость, Ваш живой интерес к людям, Ваша щедрая любовь к друзьям, Ваша необъятная память, мудрость, талантливость, смелость... Я мог бы перечислять без конца то, что связано для меня с Вами, что помогало и помогает мне жить и работать. Спасибо сердечное за Ваше письмо, за теплые слова о Наде, Толе, Оле. Они вам кланяются. Толя и Оля очень много работают. Я им помогаю, как могу: варю супы и каши, мою посуду, убираю.

Надя слевой и Арсюшей (старшему — 11, младшему — 7) живут по-прежнему в Монреале, обзавелись друзьями и знакомыми. Надя осваивает английский, дети учатся в русской и французской школах. Надя получила разрешение на работу в провинции Квебек, но работы по специальности пока не удалось найти. Подрабатывает помаленьку на упаковке реклам. Надеется получить официальный документ на жительство в Канаде. Дух у нее бодрый. Лёша пока в командировках, но в конце декабря должен быть в семействе. Завтра я ей позвоню.

Мария Анатольевна и ее сестра (с ними я разговариваю по телефону) много и хорошо пишут в журналы. Уже третью статью я делаю с Марией Анатольевной вместе (о З.Н. Гинзбург и Н.И. Мордовченко опубликованы, пишем о «Бабьем Яре» Анатолия Кузнецова). Они Вам, конечно, сами напишут (я позвонил им сегодня и рассказал о Вашем письме). Ваша новелла о муже мне многое напомнила. Это рассказ о светлой памяти, милосердии и благородстве.

Прекрасно, что Вы написали воспоминания о Якове Семеновиче. Своеобразен, ярко талантлив, достойно прожил жизнь.

Это я писал до телефонного разговора с Вами. Теперь буду ждать книгу. И постараюсь написать о Якове Семеновиче.

Выставка в музее Достоевского рисунков Ю. Лотмана, о которой Вы рассказали, очень меня заинтересовала. Если можно, сообщите какие-нибудь подробности. Меня просил редактор «Нового журнала» написать о Лотмане статью полемического характера: в журнале не принимают его как структуралиста. Но ведь структурализм — только одна из составляющих его науки.

Надеюсь, это письмо придет до Вашего Дня. Все самые добрые пожелания, какие только можно, я посылаю Вам — Человеку необычайной судьбы, которого я нежно люблю.

Сердечный привет Белле Львовне.

Ваш Марк Григорьевич Качурин.

* * *

18 ноября 2003 г.

Дорогая Дина Клементьевна!

Как хорошо, что можно сообщить отрадные новости. Они касаются Надиного семейства. Вернулся из командировок и отпуска Леша, Наде и детям вручили удостоверения постоянных жителей Канады, Толя и Оля побывали в Монреале и целую неделю гостили у Нади, Лешы, Левы и Арсюши. Толя не видел их больше восьми лет. (Оля однажды побывала в России в 1998 году.) Американские дядя и тетя, как водится, приехали с кучей подарков. Да еще там покупали детям, что им хочется. Представьте себе состояние младшего, который мечтал о велосипеде (у старшего велосипед есть), но не смел даже просить об этом: очень дорог. И вдруг в последний день Оля ему преподносит его мечту — настоящий спортивный ве-

лосипед-вездеход, с пятью скоростями, со звонком, фонариком, передним и задним тормозом... Арсюшка теперь, когда ложится спать, велосипед кладет рядом с кроватью. Толя возил все семейство по Монреалю и окрестностям (в арендованном вместительном автомобиле), даже на реке Святого Лаврентия побывали, видели знаменитые пороги. Вообще это была неделя счастья. В Стиллутере зима. Снег полежал дня три-четыре, морозы бывали до минус семи градусов. Но это все-таки лучше, чем сухая, палящая жара.

Я посылаю Вам журнал «Вестник» со статьей о Н.И. Мордовченко. А Мария Анатольевна пошлет журнал со статьей об А. Кузнецове. Интересует ли Вас моя статья о Чернышевском в романе Набокова «Дар»? Она недавно напечатана в «Новом журнале». Я могу прислать ее. Я сейчас готовлю к публикации учебник-хрестоматию по литературе Древней Руси. Рукопись я послал в «Просвещение», но редактор М.С. Вуколова передала ее в новое, неведомое мне издательство «Классик-Стиль». Оно заключило со мной договор и, кажется, его выполняет. Я правлю корректуру. Если напечатает, я, может быть, pošлю им следующую книгу — о литературе восемнадцатого века. Книга тоже готовилась для «Просвещения» лет пять тому назад.

Хотел бы написать в «Новый журнал» статью «Образ Девы Марии в пушкинской поэзии». Кажется ли Вам интересной тема? Она драматична — от «Гавриилиады» до последнего, отчасти загадочного произведения — выдуманной Пушкиным переписки Вольтера с «Последним из свойственников Иоанны д Арк». Эту «переписку» Пушкин читал Александру Тургеневу 9 января 1837 года. Тема проходит разными гранями через творчество поэта и, насколько мне известно, специально не рассматривалась. Правда, подобные темы модны сейчас в России, рассматриваются они, как правило, в одном ключе, который мне совершенно чужд. Не знаю, сумею ли написать по-своему.

Для «Вестника» вместе с Марией Анатольевной мы задумали статью о «Новом мире» Твардовского с воспоминаниями о встрече с редакцией в Выборгском дворце культуры. Тема Вам особенно близка. Не скажете ли Вы несколько слов об этом?

Обнимаю Вас. Сердечный привет Белле Львовне. Любящий Вас М.Г. Качурин.

* * *

Дорогая Дина Клементьевна!

У нас здесь весна переменчивая. Как и в Питере. То штормовой дождь. То солнечная тихая погода, как сегодня. Белки проснулись и носятся везде. Птицы орут во все горло. И обязательно стараются по-русски. «Цирк, цирк! Крути, крути!» Это они про меня. Я еду на моем трехколесном велосипеде по улицам Стиллуотера, а они то ли поощряют, то ли насмешничают. Скорее всего поощряют: так в Америке принято. Мой Главный доктор в общем говорит то же самое. И показывает, как энергично это надо делать.

А я и так трачу всю мою энергию, какая только есть. Каждый день по заведенному распорядку: борщ или щи, каша или картошка, посуда, уборка и, конечно, письменная работа. Сейчас это восемнадцатый век. Издательство (все тот же новоявленный «Классик-Стиль») прислало вчера второй договор. Хочу назвать книгу не по-учебному, а как-нибудь так: «Столетье безумно и мудро». Первый вариант рукописи я сделал, но впереди еще много трудностей.

С Марией Анатольевной взялись писать статью о журналах, в первую очередь о «Новом мире» и шестидесятых годах, которые поминают сейчас чаще всего со снисходительной усмешкой.

Надя учится сейчас в университете «Конкордия» (Монреаль). Одновременно осваивает язык. Да еще подрабатывает. Тяжело. Но есть перспектива: может быть удастся подтвердить свой питерский диплом и найти настоящую работу. Надя с Сеней хотели побывать у нас в гостях. Но визы им не дали, потому что Надя и дети не использовали свою американскую визу два года назад.

Вероятнее всего наша часть семейства скоро переедет в другой штат — Флориду, как и фирма, в которой работают Толя и Оля. Об этом я сообщу.

Миша с женой живет сейчас поблизости. Саша учится в Оклахомском университете (это в Стиллуотере). Уезжать обидно, но что поделаешь. В Америке место жительства определяет работа.

Всего доброго! Обнимаю Вас, родная Дина Клементьевна. Привет Белле Львовне.

Любящий Вас М. Г. Качурин.

Дорогая Дина Клементьевна! Отправил Вам письмо с журналом — и обнаружил, что ошибся. Журнал не со статьей о Н. И. Мордовченко, а об А. Кузнецове. Видимо, какое-то затмение на меня нашло. На полке стоит два журнала со статьей о Мордовченко и один журнал — со статьей о Кузнецове (второй журнал высылают «авторский»). Ума не приложу, как это вышло. Посылаю вдогонку. Зато есть возможность сообщить некоторые новости. Надя поступила учиться в университет «Конкордия». Ей предстоит учиться год. И тогда она сможет подтвердить свой диплом. Это очень трудно: Надя только осваивает английский язык. Но надеюсь, что ей помогут свойственные ей решительность и отвага.

Я закончил правку книги о литературе Древней Руси. Теперь предстоит выбрать один из вариантов обложки. Чудеса! Неужто выйдет книга? И я еще буду предлагать издательству новую книгу? Бог весть...

Между прочим, Г.Н. Ионин (он по-прежнему заведует кафедрой) предложил участвовать в выпуске кафедрального учебника по литературе XX века. У меня есть некоторые главы для такого учебника. И есть заготовки. Думаю, что принять предложение стоит. Каково Ваше мнение? Работа делается для издательства «Мнемозина», которое специализируется на выпуске учебных книг. Самостоятельно, как я надеялся, мне такой учебник написать не удастся.

Всего доброго! Обнимаю Вас. Любящий Вас М.Г. Качурин.

14.07.2004

Дорогая Дина Клементьевна!

Сначала — о Наде. Она с помощью Левы и Сени переехала на новую квартиру и теперь понемногу устраивается. Квартира гораздо лучше прежней, та была в полуподвале, а эта в бельэтаже, и рядом большой парк. Дети ходят в районный спортивный лагерь и в основном довольны. Надя посещает английские курсы и время от времени прирабатывает рассылкой реклам. Надеюсь, что с сентября найдется и работа по специальности. Леша — в командировке в Германии, должен вернуться в августе. Надя звонит довольно

часто, неизменно спрашивает о Вас и передает приветы. Мария Анатольевна с сестрой сейчас на даче. Статью об очень хорошем человеке — Николае Андреевиче Пленкине — мы закончили, но фотографии остались в Нью-Джерси, придется с отправкой статьи подождать.

Пишу статью о Юре Лотмане. Идет тяжело: не хватает эрудиции и моей библиотеки.

Собираюсь писать о Чехове. Но как раз появилась большая статья о нем, с уважительной, но ошибочной критикой его «тенденциозных» повестей и рассказов («Скучная история», цикл рассказов о «футлярной жизни» и т.д.). А мне не хочется ни с кем полемизировать.

Я очень обрадовался, прочитав об Але. Я ведь ей звонил и услышал какой-то странный ответ, который меня напугал. Я попытался выяснить о ней что-нибудь у Т.Г. Браже. Тереза Георгиевна ничего о ней не знала. Судя по Вашему письму, Аля Вам не очень давно звонила или была у Вас. Если возможно, передайте ей, что я ее разыскивал и что я ее помню и люблю. Я попытаюсь ей позвонить еще раз. Вы спрашиваете о моих издательских делах. Я получил второй договор из Москвы на книгу о восемнадцатом веке. Но ни первая, ни вторая книга пока не вышли по разным причинам: первая — из-за необходимости рассчитаться с наследниками переводчиков древнерусских текстов, вторая — из-за того, что пока не идет редактирование. Вообще боюсь, что мои переезды сильно помешают делу.

В Эдмонде жарко. Я успеваю погулять на моем велосипеде только рано утром.

Обнимаю Вас, родная Дина Клементьевна! Привет Белле Львовне.

Ваш М.Г. Качурин.

19. 08. 2004.

Дорогая Дина Клементьевна!

Известие об Але очень горькое и тревожное. Почти через сорок лет после того, как пьяный мотоциклист сбил меня на шоссе, с нею произошла похожая история. Хорошо, что она уже встала на костыли, проявляет удивительное долготерпение, решает научные задачи и не предаётся хандре.

Не повреждены ли суставы? Их надо упорно разрабатывать. Передайте ей и Наташе мой сердечный привет. Я-то думал, что звонил в неподходящее время. Попробую позвонить сейчас. Позвонил — и удачно. Все, что можно выяснить в телефонном разговоре, я выяснил. А главное — я услышал родной голос и узнал, что меня помнят и любят. Аля, слава всем святым, которым она верит, — поправляется, держится очень стойко, много работает — и, как всегда, очень талантливо. В общем, это Аля, Алевтина Сергеевна, человек, которого я давно и радостно люблю.

Сестры еще на даче. Я с ними часто говорю по телефону. Говорил и о Вашем письме. Они просят передать, что очень вас любят. Пишут статью о коммуналке на Красной улице, где когда-то жила Галя с семьей. Наде я Ваши приветы и пожелания передам. Может быть, сегодня же. Она дружит и воюет с сыновьями. Завела добрых знакомых.

От московского издательства, для которого я написал две книжки, пока ни слуху, ни духу.

Сколько я пробуду у Миши и Юли, пока неизвестно. Во Флориде пронесся ураган, какого не было уже 40 лет. На побережье один город снесло. Но Орландо, в котором живут Толя, Оля и Саша, пострадал сравнительно мало. Несколько дней не было электричества, телефон и сейчас не работает. По этим или иным причинам мой переезд откладывается на неопределенное время.

Сейчас пишу статью об Аввакуме и Шаламове. О традициях, идущих от Аввакума (Лесков — «Соборяне», Толстой — «Божеское и человеческое», Булгаков «Мастер и Маргарита» и др.). Не хватает моей библиотеки. Но работа помаленьку все-таки идет и не оставляет голову праздною. Обнимаю Вас. Привет Белле Львовне. И всем друзьям-ленинградцам, которые у Вас бывают.

Ваш М.Г. Качурин.

* * *

Дорогая Дина Клементьевна!

Пришла пора менять адрес. В Америке это обычное явление. Все зависит от работы: живут там, где имеется работа. Поэтому Америка страна не только одноэтажная, по определению Ильфа и Петрова, но еще и кочевая — по моему определению, а может, эту истину и до меня кто-то сказал. Слово «джоб» — работа — самое частое, самое тревожное и самое желанное в здешних краях.

Оля, Толя и их старший сын Саша едут во Флориду, в город Орландо. Меня на период устройства оставляют у младшего сына Миши и его жены Юли в городе Эдмонде. Каков этот период, трудно сказать. Возможно, месяца три.

Самое тягостное то, что все эти намерения до сих пор не окончательные, хотя продан дом, в котором мы живем в Стиллуотере, куплен новый дом в Орландо, и вещи пакуются. Новых адресов я пока не знаю, напишу, как только узнаю мой новый адрес. Надя на летний период остается в Монреале, Леша едет работать в Германию. Надя изучает язык, занималась на курсах по специальности. Ищет работу. Она шлет Вам сердечный привет, к ней присоединяются все мои родные.

Сестры М.А. и А.А. по-прежнему работают, в основном на журнал «Вестник». Журнал живой, смелый и очень интересный, но живет крайне трудно, и за его судьбу приходится опасаться.

Я послал в московское издательство «Классикс-Стиль» книгу «Столетье безумно и мудро». Рассказы о литературе восемнадцатого века. По договору. Но без уверенности в надежности договора. Что-то больно долго они выпускают первую мою книгу — о литературе Древней Руси. Впрочем, подождем: что еще остается?

Я вижу, что новости, которые я Вам сообщаю, все с нотой сомнения в конце. Но это сомнение без уныния. Ваш совет — учиться любить жизнь — я стараюсь выполнять. А жизнь складывается так, что праздного времени не остается. И я, видимо, по причине моего «внутреннего» возраста, близкого к детству, обдумываю еще одну книгу. Впрочем, о ней — пока рано.

Обнимаю Вас, родная моя Дина Клементьевна.

Привет Белле Львовне.

Ваш М.Г. Качурин.

P.S. Книга о Я.С. Билинкисе все еще не пришла.

25.01.2005 г. (последнее письмо)

Дорогая Дина Клементьевна!

Уже две недели я живу в Орландо. Это город в штате Флорида, кажется, самом южном в США. Сейчас разгар зимы. На улице температура + 20–25 по Цельсию. Бывает и холод, и дождь. Но редко. Города я еще почти не видел: один раз из окна автомобиля. Говорят,

он красив, славится парками Уолта Диснея, субтропическим лесом, озерами и крокодилами. Пока моя жизнь ограничена домом и маленькими «комьюнити» (огромным жилым районом), из которых состоит значительная часть города. Орlando, кроме центра, город одноэтажный, как выяснили еще Ильф и Петров. Таким он и остался. Дома «сарайного» типа. Крытые черепицей. Но красивые, удобные, с высокими потолками, просторные, с 3–4 спальнями, гостиными, кухнями, набитыми техникой, туалетами и ванными комнатами (по числу спален), гаражами, даже бассейнами. Таков, примерно, и наш дом. Он не из роскошных, но удобный и красивый, внутри — белый, снаружи — бело-голубой.

Я надеюсь расширить «круг» моей жизни. Вчера мы с Толей собрали велосипед (он трехколесный, устойчивый). Его прислали по почте в разобранном и упакованном виде. Как и компьютер. Но компьютер пока не работает, поэтому пишу рукой и почерк неважный, хоть и стараюсь. Отвык писать без помощи этого доброго черта, который (по моим убеждениям) сидит в компьютере.

Про Азадовского мы втроем (с сестрами) статью закончили и послали. Недавно я послал номер журнала «Вестник» со статьей о Николае Андреевиче Пленкине (написанной в соавторстве с Марией Анатольевной) — Юлии Георгиевне Илларионовой — вдове Николая Андреевича и матери прекрасных детей: Ольги Николаевны и Андрея Николаевича. Сейчас писал бы статью о Бунине, но не работает компьютер. Напечатал в «Новом журнале» статью об Аввакуме и Шаламове. — «Все те же снега Аввакумового века». Для этого же журнала пытаюсь писать о Бунине. Говорю «пытаюсь», т.к. тема не совсем «своя». Я Бунина люблю как читатель, но специально не изучал и досконально не знаю. Удастся ли изучить как следует (в процессе писания статьи) — неведомо. Я в процессе чтения набрел на «ключ» к его стилю. Но как выяснилось при чтении книги Юрия Мальцева «Бунин», этот «ключ» был уже замечен, хотя «открывал» он несколько иное и по-иному. Подумаю еще.

На улице — яркое солнце. Еще не выходил, но, думаю, тепло. Сейчас еще рано — нет 10 часов, а поднялся я в 6 и сегодня — выспавшись. Заснул с наушниками на ушах, слушал в 100-й раз русские классические романсы.

Обнимаю. Привет Белле Львовне и всем Вашим друзьям. Ваш М.Г. Качурин.

Из писем Марии Анатольевны Шнеерсон

17.XII.02

Мой дорогой далекий и всегда близкий друг!

Поздравляю Вас с днем рождения, с наступающим Новым годом! И желаю... Но стоит ли перечислять пожелания, которые посылаешь дорогому, любимому человеку? Ясно и так, что в таких случаях ему желаешь. Одно хочется сказать: пусть и впредь Вас окружают хорошие друзья, одному (одной) из которых — нашей милой связистке — я желаю всего самого доброго — столь же доброго, как и она сама. И еще: пусть нам всем, где бы мы ни жили — Новый год принесет мир и покой!

<...> Пока что умудряюсь все время работать, используя лупу и при свете специальной лампы, которую прислал мне милый Толя Качурин. Работаю в темпе «Черепеха». Уже давно пишу, перекраиваю, переделываю статью на тему «Образ города в творчестве Булгакова» — «Булгаковская Москва». Статья о нем же под названием «Человек и его Дом» вот-вот должна появиться в журнале (стучу по дереву). Она написана еще тогда, когда я не стала слабовидящей. Ладно, принимаю жизнь такой, какая она есть. И стараюсь следовать теории малых радостей. Этому учила меня Зинаида Наумовна, о которой мы с Марком Григорьевичем пишем воспоминания. Она в высшей степени владела искусством радоваться самым ничтожным пустякам. Меня вообще сейчас потянуло на воспоминания. И это, очевидно, естественно, потому что мемуары — геронтологический жанр. К тому же мы прожили жизнь в такую эпоху, когда история, как никогда, быть может, отразилась в биографии каждого человека. А в личном плане воспоминания — это встреча с теми, кто всегда с тобой, но кого уже нет на свете. К тому же, тут и книги не нужны. <...>

Еще раз, мой добрый друг, поздравляю... желаю... помню... люблю.

Ваша М.А.

Очень буду рада получить от Вас весточку.

8.I.03

Дорогой мой друг, милая Дина Клементьевна!

Ну как Вы можете так говорить о себе: «еще человек»?! Да много ли людей, более молодых, чем Вы, обладают таким ясным умом и

живым интересом ко всему живому?! Для нас Ваши письма — всегда большая радость, всегда с интересом и любовью читаем их и благодарим за них и Вас, и нашу милую посредницу.

Прежде всего мне хочется сказать несколько слов о Твардовском. Нет, не думаю, что он был озлобленным человеком и поэтому незаслуженно резко отзывается о хороших поэтах. Он был строгим судьей, мог быть несправедлив (как и все люди), но если положить на весы все его несправедливые суждения и то, что он сделал для русской литературы и для многих, многих писателей, то вторая чаша весов во много раз перетянет первую. Да не Вам мне говорить об этом. Я люблю Твардовского и как человека, и как поэта, и как создателя «Нового мира». Нам много о нем рассказывал Борис Германович Закс — многолетний сотрудник А.Т., зав. редакцией журнала. Мы подружились здесь с ним и особенно — с его женой, матерью Андрея Твердохлебова — сподвижника Сахарова. Человек суровый, трудный, Закс редко о ком-нибудь хорошо отзывался, но А.Т. боготворил. Читали ли Вы «Рабочие тетради» (дневники) Твардовского, которые публиковались ... в «Октябре»? К сожалению, до нас не дошли номера журнала, где печатались эти дневники за 60-е годы. Но и в том, что писал он до 60 года, рассказывается многое, и главное — это был несчастный человек. Слава и милость начальства приносили лишь зло. Почетные должности обязывали тратить все время на бесконечные заседания, юбилейные торжества и прочую ненавистную «работу». А главным делом — творческим трудом — заниматься он не успевал и тяжело страдал от этого. Страдания приносила и творческая несвобода, и страх потерять талант (об этом, если помните, с такой болью он говорит в поэме «За далью даль»). Отсюда и алкоголизм, уход в пьяный угар от жизни, которая ранила на каждом шагу. Замечательна его запись, сделанная под впечатлением только что прочитанного романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Он потрясен этой вещью, той раскованностью, той смелостью, которые автор проявил впервые в сов. литературе. Если бы ее напечатать, — говорит А.Т., — вся нынешняя литература изменилась бы. Но — невозможно печатать такое. Вечером он пришел к Липкину, чтобы поделиться впечатлениями о романе, и, как вспоминает Липкин, попросил водку, скоро опьянел и, повторяя: «Ведь это же гениально, гениально... А я не могу напечатать!» — плакал. Как трудно ему было жить, каким тяжелым было постепен-

ное прозрение. И запои, и рак — все явилось следствием мучительной и светлой жизни. А какой это был поэт! Помните:

На дне моей жизни, на самом доньшке,
Захочется мне посидеть на солнышке,
На теплом пёнушке.
И чтоб листва красовалась палая,
В последних лучах уходящего вечера,
И пусть оно так, что морока немалая,
Мой век целиком. Да об этом уж нечего.
Я думу мою без помехи послушаю,
Черту подведу стариковскою палочкой.
Нет, все-таки нет. Хорошо, что по случаю
Я здесь побывал и отметился галочкой.

Целую, моя родная. Будьте такой, какая Вы есть и дай Вам Бог здоровья. Любящая Вас нежно М.А.

1.II.03

<...> Я отчаянно борюсь за возможность читать, а, следовательно, и работать. Увы, у меня нет такого друга, как у Вас, который мог бы мне читать. <...> И работа для нас — все, без нее тоска и пустота. Вот я и продираюсь сквозь туман, застилающий мир и мешающий жить. Кто, как не Вы, поймет меня! Писать с трудом, почти ощупью, могу. И на машинке печатаю с грехом пополам. Вот и ударились в воспоминания. Ведь жизнь каждого человека — кусочек истории. Пока что мы с М.Г. написали воспоминания о нашем общем друге — Зинаиде Наумовне Гинзбург. Их напечатал здешний журнал «Вестник», и редактор его очень высоко отозвался об этой работе. Хотим еще что-нибудь написать в этом жанре. Но меня не оставляет мысль о Гроссмани. В голове статья готова, но нужен текст, нужно кое-что перечитать. <...>

20.III.03

<...> Мы с М.Г. задумали написать совместные воспоминания о 49-м годе, в частности, об «Ученом совете» филфака ЛГУ, на котором, еще не будучи знакомы, мы оба сидели в разных концах зала. Вчерне я закончила свою часть. Не знаю, что получится, т.к. при воспоминании об этом позорном спектакле я, признаться, не чувствую никакой доброжелательности, каковая присуща воспомина-

ниям М.Г. (я еще надеюсь их прочесть). Могу найти лишь для многих оправдание, учитывая страшное время и т.п.

Кстати, не знаете ли Вы, кто такой Дергач? Не знаете ли, что заставило Дементьева участвовать в избиении «космополитов»? Когда он стал сотрудником Твардовского? Когда и отчего умерли Б.М. Эйхенбаум и В.М. Жирмунский?

К сожалению, память коротка. К тому же я помню в основном о судьбах моих учителей — Г.В. Гуковского и М.К. Азадовского.

11.V.03

<...> Марк Гр. хотел Вам написать о нашей совместной затее — воспоминания о разгроме безродных космополитов на филфаке ЛГУ в 49 г. Думаю, что, к великому сожалению, тема эта актуальна и теперь. Кроме того, и он, и я работаем над своими индивидуальными темами. У меня все еще руки не дошли до Гроссмана. И пока не налажено чтение книг с мелким шрифтом, да к тому же таких объемных, как «Жизнь и судьба», вряд ли дойдут. Но если не успеть сделать эту работу под названием «Дурья доброта» (помните трактат Иконникова?), будет очень обидно. В голове все сложилось. А пока что меня не «отпускает» Булгаков. Если завершу начатую статью о «Мастере», обязательно пришлю Вам копию. <...> Я часто беседую с Вами мысленно. Очень Вас люблю. Будьте здоровы! Привет нашей посреднице. Я очень ей благодарна!

18.V.03

Дорогой друг, милая Дина Клементьевна!

Наши письма разминулись. Хочу поблагодарить Вас за письмо, как всегда очень интересное и информативное. То, что Вы пишете о Дементьеве, очень важно и лишний раз свидетельствует, что это фигура сложная и не случайно разные люди говорят о нем по-разному. Сейчас наши воспоминания у Марка Григорьевича. Он хочет в центре поставить выступление Мордовченко и назвал воспоминания «Единственный». Мне кажется это интересным, но далеко не легким. Плохо, что мы мало помним о Николае Ивановиче и фактов у нас мало, хотя кое-что и запомнилось. Это, конечно, будут воспоминания не о нем, а о его воистину героическом поступке и о той поре, когда простое слово честного человека было подлинно уникальным явлением.

Если б Вы знали, как важны для нас Ваши письма! И как благодарны мы доброй нашей связной Галочке, без помощи которой наша переписка была бы невозможна. Будьте бодры и по возможности здоровы! Целую Вас и нежно обнимаю. Счастья Вам, Галя!

20/XII.03

Дорогой мой, чудесный друг, родная Дина Клементьевна!

Поздравляю Вас от всей души и желаю, желаю, желаю... В эти дни хочется сказать Вам, что значили Вы для меня, какое место Вы занимали в моей жизни. Я вступила уже давно в ту пору, когда человек живет воспоминаниями, с высоты своих лет глядя на пережитое на протяжении долгой жизни. Вспоминаются радостные и печальные события, дорогие, близкие люди, которых уж нет, и бесконечно радуется общение с теми, кто, пусть не рядом, а на расстоянии продолжает общаться с нами. Ваши письма, увы, очень редкие, даже приветы от Вас — это целое событие, радостное, светлое, как те прошлые встречи, когда я видела Ваше милое лицо, вела с Вами беседы и чувствовала полное взаимопонимание. Работать же с Вами всегда было интересно и помогало мне, выражаясь словами нашего областного начальства, «расти над собой». Кроме шуток, я и до сих пор опираюсь на многие Ваши суждения о литературе. Воспоминания о наших встречах и сейчас радостны и согревают душу. Милый вы светлый человек! <...>

Целую Вас крепко и нежно, родной друг! Спасибо, что Вы есть. Галочка, поздравляю Вас с Новым годом и шлю новогодние пожелания.

Ваша М.А.

5.XII.04

<...> Я подсчитала, что в 2005 году исполнится 50 лет нашей дружбе, своего рода «золотая дружба» (по аналогии с «золотой свадьбой»). И хотя из этих пятидесяти лет 25 мы живем в разлуке, ощущение близости, любовь, «золото» дружбы ничуть не потускнели. Спасибо Вам за все!

Что сказать о себе? В 2005 г. я присоединяюсь к славной когорте девяностолетних. Ну что же? Все закономерно, держусь на свете как-то — вот и славно. А жизнь моя вся в работе. Надолго ли? Бог весть. Ударилась я в воспоминания — явление чисто возрастное.

Опубликованы в ж. «Вестник» мои воспоминания об участии нашей семьи, с 1922 г. попавшей под топор лесоруба (название «Воспоминание щепки»); вместе с М.Г. кое-что написали, сейчас втроем — он, Александра Ан. и я пишем воспоминания об М.К. Азадовском, есть и еще кое-какие замыслы. Не забываю и Булгакова. Творчество его — неисчерпаемый источник: чем больше о нем пишешь, тем больше хочется еще что-то сказать. Только бы хватило отпущенного мне срока! О Вас я знаю от М.Г., с которым поддерживаю телефонную связь. Рада бы узнать из первоисточника и услышать Ваш любимый голос (он ведь и в письмах звучит особенно).

Целую Вас и нежно обнимаю, мой дорогой друг!

Всегда Ваша М.А.

Дорогая Галя! Поздравляю Вас с Новым годом и желаю здоровья и как можно больше радости.

13/III.05 (Последнее письмо)

Дорогой мой, самый дорогой и любимый друг, милая моя Дина Клементьевна! Давно я не писала Вам. Но это не значит, что не было потребности беседовать с Вами. Долгие беседы я веду мысленно, на протяжении многих лет, и порою мне кажется, что каким-то чудом Вы слышите меня и отвечаете мне, хотя тоже лишь мысленно. <...>

Несколько часов в день (не более трех) я провожу за своей «машиной для чтения», которая спасает меня, т.к. дает возможность читать и писать. На экране движется сильно увеличенный текст, но утомляет это движение, и долго так не проработаешь. Однако ежедневно благодарю судьбу за это приспособление. После того, как я забрала 2 своих статьи о Булгакове (одну — с помощью Марка Григорьевича), я решила временно (или навсегда) расстаться с литературоведческой тематикой и заняться воспоминаниями. Много уже я писала в этом роде и соло и дуэтом, но многое еще и еще приходит на память. Надо сказать, жанр мемуаров теперь чрезвычайно популярен. И, конечно же, не случайно, не потому, что в старости люди всегда любили и поныне любят вспоминать прошлое. Думаю, причина в том, что «черт догадал нас родиться» в такой стране и в такую эпоху, которая не имеет равных в истории человечества, ибо самые кровавые войны, самые жестокие времена не могут сравниться с Отечественной войной и со сталинской инквизицией. Гер-

цен писал, что нет неинтересных людей, что каждый интересен, если не как личность, то как человек, на которого наложили свою печать его страна и его эпоха. Эта мысль определяет выбор героев моих воспоминаний: обыкновенные люди, жившие в России в пору советской деспотии, люди, которых я знала близко, и те, кого видела лишь мельком. Конечно, я полна сомнений и не оставляет меня вопрос: «Кому это нужно?» Но это нужно мне, вот я и пишу. Ах, если бы могла почитать Вам свою писанину! Мысленно я советуюсь с Вами, к сожалению, только мысленно.

Целую и нежно обнимаю Вас, мой любимый друг. Спасибо, что Вы есть.

Всегда Ваша М.А.

Письма Наташи Рубинштейн Д.К. и о Д.К.

04.02.1994. Лондон

Дорогая Дина Клементьевна, пишу, чтобы разом поздравить с миновавшим месяц назад Новогодьем и Вашим днем рождения.

Я много раз начинала к Вам письмо, но все никак не могла закончить, потому что сказать надо слишком многое. Но ведь Вы, по своей привычке все знать, наверняка и так знаете, как много значит для меня неослабевающая связь с Вами, протянувшаяся без малого через четыре десятилетия.

Конечно, мне иногда стыдно думать о своем дезертирстве из филологии в журналистику. Но мне не хватило трудового героизма, нехватку которого можно было восполнить везением, но его тоже не было. А вот помех всегда хватало. И опять же — главные помехи внутри.

Недавно в связи с юбилеем Чайковского опять ~~муслили~~ ² по телевидению Бибиси вопрос о мифическом самоубийстве по приговору чести бывших учеников училища правоведения. Не талантливая продукция. Но пишу я о ней, потому что там брали интервью у Александры Анатольевны Орловой, сестры Марии Анатольевны. А не знаю, говорила ли я вам, что я с ними обеими и мальчиками — близнецами А.А. была знакома с первого класса, потому что они дружили и бывали в доме у матери моей близкой одноклассницы. И так это странно! Жизнь не нить, а пряха — за какую петлю ни потянешь, спускается целый ряд.

Как Вам живется? Я знаю, что Вы умеете жить мимо быта, но в нынешних условиях, боюсь, что это все труднее.

Что Наташа и Аля? Кто у Вас бывает из герценовских? Не хвораете ли?

Я понимаю, что Верочка и Эсфирь Борисовна Вас не забывают, но если что-то нужно — я только счастлива буду оказаться Вам полезной.

Получили ли Вы, кстати, то письмишко, которое я впопыхах написала, когда меня навестили на работе Ваши милые родственницы? Я, конечно, не ожидала ответа. Но если вы когда-нибудь черкнете мне пять строк — вот это будет здорово.

Здесь в Лондоне живет замужем за англичанином одна тридцатилетняя цветаевка, только что защитившаяся в Лондонском

университете. Она в прошлом ленинградская девочка и ученица Иры Земсковой. Она сказала, что ей звонил Володя Маранцман и предлагал участвовать в сборнике, посвященном Ириной памяти, и что это и ко мне относится. Не знаете ли Вы, что это за сборник и кто участники? У меня много, конечно, воспоминаний об Ире, которые могут быть сгруппированы в различном порядке, но боюсь, что они очень личные, начисто лишенные какого-либо общественного значения.

У меня было два момента острейшей обиды из-за глупости и недобросовестности мемуаристов, написавших чудовищную плешь (простите мне жаргон шестидесятых — более позднего не знаю) о моих ближайших друзьях. Я читала, как Нонна Слепакова написала о Тане Галушко, а Владимир Эрль о Лёне Аронзоне. И этот долг во мне горит. Это-то непременно сделаю.

Часто вспоминаю Лялю. Как она переживала, что я отвлекаюсь от наук в сторону легкомысленных любовных сюжетов, и притаскивала мне на дикий наш пятый этаж без лифта на Чехова по десятку томов Литнаследства, которые весили чуть не больше ее. Ну, и приходилось садиться за книжки — потому что иначе чувствовала себя просто убийцей. И как в ней жил образ и пафос ее любимых шестидесятников и особенно шестидесятниц. Ее сверстницы плясали твист и рок-н-ролл. А она носила гладкие волосы с косичками, заплетенными корзиночкой сзади, и Хемингуэя считала декадентом. Тут недавно мой сын Даня готовил передачу про Симону Вайль, французско-еврейскую католичку, про которую он говорит, что она единственный религиозный философ нашего времени. И так мне через Лялю были понятны и ее ригоризм, и ожесточенная страсть к истине, и почти намеренное движение к смерти. И сама ее смерть в 30 с небольшим лет <Ляле было 29>. Помню, что я в последнюю ее неделю отнесла ей только что вышедший «Новый мир» с «Иваном Денисовичем», и мы еще успели о нем поговорить, а через несколько дней уже была полная интоксикация, и она уже ничего не читала. И кем был тогда для нас Солженицын! И кем стал теперь: из всего — ни-чем. Грустное ему предстоит возвращение. Что-то, в несколько ином масштабе, похожее уже случилось с Любимовым. Неужели так трудно догадаться, что никогда никуда возвращаться не нужно, потому что невозможно. Говорил же им Гераклит про реку. Девяностым годам не нужен театр шестидесятых

(даром, что я его и тогда не любила). И учителя жизни больше не требуются по национальному сюжету. Закрылась вакансия.

Тут в Лондоне в Королевской Академии выставка ранних рисунков Модильяни. Удивительная! Впервые экспонируются 400 листов. Это то, что он отбрасывал, просто карандашные наброски, скэтчи, незавершенка. Но у него был приятель врач, который подбирал эти бумажки. И вот теперь нашли — и это сенсация: наглядное движение художника к собственному стилю! Вот он сперва просто ловит движение и пластику. Вот почти случайно набредает на удлинение пропорций как прием, и вот это уже Модильяни. Там есть рисунков десять обнаженной натуры. Так в каталоге и значится серия — «Обнаженная натурщица», Париж, 1910. Никак не атрибутировано. И прелестная чистая, я бы сказала, ренессансная линия. И на трех из десяти эта девушка в профиль — едва доходит до бровей ее незавитая челка, и нос с горбинкой. То есть для русского глаза атрибутировать Ахматову проще простого. Смотрю я на эти портреты и думаю: «Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной!» Не очень, конечно, оригинально. Но вот ведь как нормальной нормальной начиналась жизнь — еще ни книжек, ни славы, одна гимназия за плечами. И вот — Париж... Век только начинается. Что-то будет? А ничего не будет — ни жизни, ни Парижа, один страх... И за жизнь несколько сквозь игольное ушко цензуры протиснутых сборничков, и посмертная слава, на которой делают себе карьеру филистеры, уже объездившие от ее имени полмира, куда она и высунуться не могла. И венец всего этого безобразия — Музей-квартира Ахматовой в Фонтанном доме, где у ее дверей стояли стукачи. Не музей-библиотека, а Музей-квартира для бездомной Ахматовой.

Очень это все иронически получается.

Еще из недавних впечатлений — чудовищная безвкусица, бездарность и дикий эгоцентризм воспоминаний Владимира Георгиевича Адмони, которую он совершенно без всяких на то культурных и жанровых оснований назвал «романом», да еще и имя Тамары Сильман поставил со своим рядом, написав всю эту муру не от «я», а от «мы». Я даже хотела написать про эту удивительную книгу. Но смерть автора закрыла сюжет. Не моложе его был Вениамин Александрович Каверин, когда написал «Эпилог», а получилась книга с живой кровью и слишком знакомым голосом. Одна из самых инте-

ресных, я думаю, в мемуаристике конца нашего столетия. И еще. Читали ли Вы «Пятый угол» И.М. Меттера? Да, я знаю, что не последняя новинка, но это очень-очень прекрасно.

Говорят, Саня Лурье редактирует какой-то журнал, который вроде называется «Ленинград» — неужели сейчас возможен журнал с таким названием? Это было бы забавно — и что он там перепечатал из журнала «Синтаксис» за 1975 год мою древнейшую статью «Абрам Терц и Александр Пушкин». Я ее не стыжусь и ни от чего не отказываюсь. Но если она попадется Вам на глаза, то не огорчайтесь из-за мелкого хулиганства по адресу Т.Г. Цявловской. Такое тогда у меня было настроение — антипушкинское, после всех лет отказа, проведенных в Музее Пушкина на галерее за разбор инвентарных книг. Т.Г. совершенно этого не заслужила, относилась ко мне замечательно, принимала в Москве как свою. Так что я действительно раскаиваюсь.

А Вас я целую крепко и очень люблю, и если случится быть снова в Питере, приду, как водится, прямо с вокзала.

Ваша Наташа.

* * *

Дорогие Дина Клементьевна и Ириша!

Вот, наконец, и книжечка про Якова Семеновича доплыла до меня, а в ней вложение — письмо от Д.К., писанное, я думаю, Ириной рукой. Так что пишу вам обеим вместе, присоединяя к благодарности одновременный привет Белле и Наташе Левиной.

Главная новость — 30 ноября 2003 года родился внук, 3 кило 300 граммов. Роды у Рутика были тяжелые — 40 часов. Мама и папа мои были оба 1903 года рождения, на столетие старше правнука, с которым они разминулись: папа — на 27 лет, а мама — на 7. Взрослые дети относятся ко мне — не знаю даже как описать: сказать «враждебно» будет преувеличением, но очень небольшим. «Отстраненно-неодобрительно» — это, пожалуй, адекватно. Такое чувство, что ты навсегда под судом и следствием и присяжные на этот раз не оправдают. Это я к тому говорю, что устала стараться и решила бросить это делать: ну, будет, как будет.

Поскольку в семейной части явный пробел, все силы берет работа, которая вот уже семь лет висит на волоске, и волосок уже истончился до крайности, но опять надоело думать об этом и бояться —

оборвется, так оборвется. Д.К. говорит: каждый день труден и начинать его неохота. Я уже более 20 лет (точно сказать, так с 1978 года) каждое утро просыпаюсь с цитатой в зубах: «когда бы зажило плечо, тянул бы лямку как медведь...» ну и так далее. Но все-таки надеюсь увидеться летом: родных-то лиц, как и родных мест, и в родном городе уже почти не осталось.

Трогает, что у герценовцев нашлись желание, силы и средства, чтобы сделать книжечку, посвященную Я.С. Билинкису.

Я никогда у него не училась, хотя он пришел в институт за год до моего окончания. Но я видела и слышала его много раз на кафедре, в свои малоуспешные аспирантские годы. Я помню свой последний разговор с ним в 1997, по телефону, слабый голос и живой интерес: как у этой исчезнувшей из поля зрения четверть века назад бестолковой аспирантки сложилась жизнь? Я помню и первый с ним разговор в Герценовском, перед заседанием кафедры, о вполне еще новом Высоцком, о песне «Зачем мне считаться шпаной и бандитом? // Не лучше ль податься мне в антисемиты?..» Я так и рот разинула: никого не знала в то время, кто с малознакомым человеком в официальных стенах завел бы разговор на такую тему. Потом помню, как уже после обсуждения книги Эткинда «Поэзия и перевод» в ЛОСПе мы с ним и Е.Г. шли по темной слякотной улице (суд над Бродским уже состоялся) и разговаривали о тогдашней ленинградской молодой поэзии. Оба они ее не одобряли, говорили про вторичность, излишний пафос и нечистоту линии, но практически ее не знали. И я читала им на память Бродского, и Бобышева, и Наймана, и Горбовского, и Уфлянда, и Сэнди Конрада. Я.С. сказал: «С голоса вообще судить невозможно. А Ваш голос — сильный адвокат». Я спросила у Е.Г., как же он так глубоко влез в дело Бродского, если не верит в его талант. Он сказал: «Ну вот если бьют ребенка, я ведь не стану разбирать, хороший ребенок или плохой». Я потом принесла целые пачки стихов своих знакомых поэтов. Он сказал: «Лучше тех, что Вы в тот вечер читали, там нет». Хотя это было не так.

В 1966 году зимой (помню очень хорошо, потому что Дане было всего несколько недель, и я с трудом вырвалась из дома) была лекция Лотмана в Герценовском. Я видела и слышала Ю.М. впервые. Все тогда виделось мне сквозь призму главного события жизни — рождения сына, по сравнению с чем остальное казалось чепухой,

всему недоставало веса. Лекция была о Пушкине. Отчетливо помню свое тогдашнее (только тогдашнее) ощущение, что Ю.М. занят подведением структуралистского фундамента под воздушный свод своих интуитивных открытий. Я.С. прямо на лекции прислал мне записку с вопросами о самочувствии младенца и «ну как Вам это?» Я ответила на все вопросы, включая и последний, честно: примерно, как я вам тут написала — дескать, зачем так тяжело нагружать летящую стрелу. И вот ужас! Я.С. познакомил меня в перерыве с Лотманом. Сказал: «Это автор записки». Она уже была в кармане у Ю.М. Я была полностью обескуражена, уползла чуть не плача. Я.С., по-моему, был очень доволен.

Полученную по почте сегодня книжку пока еще не читала. Только раскрыла. Портрет. Как в жизни. Задевает каким-то типологическим сходством даже не с Лениным как таковым, а с артистом Штраухом в гриме Ленина. Так я это и помнила всю жизнь: фамилия провоцирует на каламбуры о Белинском, а поза, наклон головы и лысина — на анекдоты о вожде. Родился Я.С. годом позже Бориса Рубинштейна и годом раньше моего родного двоюродного брата (тоже уже покойного) Бориса Володина. То есть человек того поколения, которое я знала гораздо лучше, чем свое. И любила гораздо больше, чем свое. Теперь, когда, вплотную приблизившись к старости, сверстники так позорно заголяются, убеждаюсь еще раз, что была права. Говорили же им: «...Рим, который...» Нет, все турысы на колесах, не хотят «полной гибели всерьез», не бросают глупой установки на вечную молодость. И оттого смешны. (Битов, Аксенов, Найман, дурацкий раздутый Довлатов.)

Да, так Я.С. родился в 1926 году в Умани. В Умани за 23 года до этого родилась моя мать. Есть свидетельство о рождении, подписанное Уманским раввином. Там мой дед, по семейной памяти, был присяжным поверенным у Потоцких. (Мама сердилась, что Рутка не хочет учиться: «Это после пяти поколений с высшим образованием!») А он эту неведомую легендарную для меня Умань знал как город своего детства, и там началась для него война.

Это пока впечатления от первой полустраницы. Но прочту, конечно, все и тогда еще напишу.

А где была презентация? В Герценовском? И кто был? А Мишу Билинкиса (Михаила Яковлевича, человека, я думаю, за 50) я немного помню очень живым и подвижным тартуанцем: он масонами

занимался и очень обрадовался, когда мы подарили ему какие-то израильские сувениры, занесенные к нам американским сионизмом; появлялся он рядом с Сеней Рогинским. Где теперь живет? Что делает?

Люблю Вас. Целую. Тоскую. Наташа.

Ириша, теперь опять пишу вам обоим с Д.К., прочитав ночью присланную книжку. Конечно, она очень волнует. Живые голоса.

Живая благодарность, выражающаяся не в посмертных похвалах, а в стремлении сказать точно, не упустить правды.

Всего дороже эпизоды, мелочи, зарисовки, — вроде как Д.К. рассказывает про обмен репликами по поводу смерти Твардовского, или про Переверзева, или про ПСС Пушкина 1937 года. У Бочарова важная подробность про раннее знакомство Я.С. с книгой Бахтина, до кожиновского переоткрытия, и упоминание о ней в работе еще начала 50-х годов. В жестковатых заметках Б.Ф. Егорова тоже много ценного, угадываешь, где проходили трещины. Про Ленина и закороченность на него Я.С. все пишут как бы с недоумением. А какой выход, если хочешь научно и нравственно уцелеть в «нормальном классицизме» (Бродский: «Я заражен нормальным классицизмом»), кроме как искренне и внутренне выдать нужду за добродетель: «как раз это мне было нужно»? Один такой разговорчик я тоже помню — не между мною и им, а между С.С. Ландой и Я.С. Билинкисом, но в моем присутствии: дескать все можно делать начетнически, отбывая идеологическую повинность, а можно выковать из этого методологическую защиту, непробиваемую броню. А потом, когда нужда в броне отпадает, оказывается, что это уже не броня, а кожа. Мне показалось, что в разговорах его с С.С. Ландой, а другой раз с Е.Г. Эткиндром присутствовал какой-то элемент постоянного соизмерения своей величины с другими: каков я сам, какого роста, если отмечаться у притолоки успеха. Это, кстати, им всем было присуще. Нормально. Это даже не слабость и не ревность, а просто, как говорят, «моча в норме». Оттого Сеня Ланда с Я.С. так весело изображали «тартускую лесопилку» и сваленные двуручной пилой Юрмих-Зара гигантские дубы российской словесности. Мне было 25 лет, и душа у меня уходила в пятки от восторга, вызванного собственным присутствием на этом пиру авгуровского острология.

Составители книжки правильно ее строят — так, что можно понять: студенты 60-х — это одно, 90-х — другое. Вообще-то Покровский с Герценовским слили в год моего поступления, в 1956-м, а не в 60-е, как написано у Д.К., я это хорошо помню. Четвертый курс (Мирона Певзнера и Миши Хейфеца) получил еще один год, факультет стал историко-филологическим, М.Н. Ботвинника пригласили на почасовую, потому что на всех курсах, старше первого, ввели недостающие исторические курсы и стали читать древнюю историю: Восток и Грецию с Римом. Слова Иудея и Израиль не упоминались, а Урарту очень даже упоминалось И какая же у нас была тотальная тощица: Кожухов, Лаптев, Шептаев, Докусов, Епишкин (истпарт) какой-то... Все сбегались на дефицитное живое слово: к Д.К., или к Суздальскому, или к М.Н. Ботвиннику...

Даже Шиллегодский нравился, хотя, как я сейчас понимаю, ничего, кроме гладкозвучной пустоты, не предлагал. (Вот что я, на самом деле, хотела бы — в другой инкарнации — исполнить, так это историю детской литературы, или такой особый курс: ребенок в культуре.) Д.К., я думаю, не помнит, как однажды она осторожно развинчивала и развенчивала перед нами ермиловский трехтомник, а я полезла спорить: что, чай, не Храпченко, не Кирпотин, хотя бы слог легкий, хотя бы читать можно... Д.К. через пару дней сказала (даже с нежностью, с улыбкой, но без насмешки — я была очень тогда чувствительна, не пропустила бы): «А что наша ермиловка скажет?» Ну, я не долго была «ермиловкой»... Конечно, когда Я.С.Б. пришел в Герценовский, в 1959, уже было повеселее: с Берковским, с Альфонсовым, с Володей Маранцманом пейзаж несколько изменился. И наличие в недалеком зарубежье Тарту уже отвечивало. Но, конечно, все побежали туда, где были мысль и слово. Точно, как Д.К. говорит: тип ученого-мыслителя. М.б., еще не сам мыслитель, но хотя бы этот тип, этот вектор. А в 90-х годах в цене совсем другое (для тех, кто не сбежал в бизнес или в журналистику): кропотливый труд, сбор данных, нанизанных на длинную мысль, или порождающих из себя длинную мысль, не широкий мазок, а убедительно выложенная мозаика, где совпадение изломов у соположенных рядом частиц подтверждает правильность реставрации. Эффектно говорящих стало уже так много, что эффекты обесценились. «Прошли времена и безграмотно». А Я.С., как все вспоминают, не вписался в новую ситуацию. Получается, что для Я.С. 90-е годы были,

в каком-то смысле, как НЭП для романтика революции — захлест меркантилизмом и пошлостью. И это в большей части верно. Боря Рогинский был просто болен тогда отвращением к времени, и он, я думаю, согласился бы с тем, что это очень постыдное десятилетие. (А теперь какое?) Он, кстати, считал, что именно от Я.С. получил самый сильный творческий импульс. Импульс, а не руководство, «школу» или там «методологию». А лотманята, как я понимаю, кроме «импульса», получали еще и навык, умение копать, привычку к черной работе. Это продуктивно. Правда, чего не бывает: я тут в процессе работы на радио встретила с архивистом-графоманом. Оказывается, при желании и способностях даже архивные изыскания можно сделать бессмысленными и пустыми. В общем, за книжку о Я.С. огромное спасибо. А кто же у них еще в этой серии? Хоть бы перечень опубликовали на задней странице обложки! И тираж какой-то эмигрантский — 500 экземпляров. Эта книжка уже при выходе редкость. Спасибо!

19.08.2004

Дорогая Дина Клементьевна!

Ира провела со мной несколько дней и получила кое-какое представление о ходе моей жизни. И теперь она вполне уполномочена рассказать Вам о ней. Она расскажет, как мы с ней гуляли, какую нам показали грозу в Кенсингтонском Королевском парке и как всюду и везде Вы были с нами, потому что мы думали и говорили о Вас.

Я живу неплохо, и пока мне еще позволяют работать, хотя работа висит на волоске — она уже 7 лет висит, но, кажется, вот-вот сорвется. Дане уже без года сорок. Он вполне равнодушен. У Рутика растет сын — ему уже 8 месяцев. Там тоже вполне хорошо и без меня. И у этого мальчика, которого зовут Эмиль, не будет ни одного русского слова во рту.

В знак любви и приветствия посылаю Вам бабочку. Приятно думать, что она с дверцы моего холодильника опустится на Ваш.

Большой привет Белле, Наташе Левиной и Гале Золотухиной. А что слышно о Тане Страшкевич?

На днях во дворе Бибиси я встретила Владимира Успенского, математика, брата Бориса Успенского, соратника Ю.М. Лотмана по Тартуским сборникам. Он тут гостил и участвовал в наших переда-

чах. Мы познакомились, поговорили, и он сказал, что является горячим поклонником моих передач. Это было очень приятно. Вот я Вам и хвастаюсь.

Будьте здоровы, светлы, как всегда, духом, и, я надеюсь, мы увидимся. Скоро. Знаете ли Вы, как важно для таких немолодых людей, как мы с Ирой, присутствие в жизни старших, наших старших?!

Люблю. И целую. Наташа.

* * *

Д.К. умерла сегодня в 10 часов вечера в больнице. Ира

* * *

Ириша, я уже знаю эту новость — написал Боря Сапожников, племянник Д.К.

Что сказать? Для нее это освобождение. Для меня — да не покажется тебе это странным — как бы проживание заново того, что было поднято во мне маминой смертью 8 лет назад. Странное ощущение... Что-то вроде «детство кончилось». Вроде бы тянулось и длилось внутри, в параллель с взрослой жизнью и вплотную надвинувшейся старостью, и вдруг разом оборвалось, отступило и оставило нас одних, без прикрытия — Тютчев («передового больше нет») здесь не случайно вспоминается — оставило за старших, прикрывать последующих. А готовы ли мы? Не знаю, не уверена. Она для меня была главным событием герценовского пятилетия. Сколько чуши ей пришлось от меня выслушать! И у нее достало доброты и доверия эту чушь потихоньку от меня отслаивать, не обижая, расставляя все по местам, без наставнической спеси непременно поставить дуреху на место.

Ее лекционный курс — «Введение в литературоведение». И читался-то всего один первый семестр на первом курсе. А запомнился — не мне одной — на всю жизнь. Маленького роста, волосы в две косички сзади корзиночкой — привычка советских женщин, приученных обходиться без парикмахерской. Голос, тихий от природы, она привычно форсировала до фальцета для набитой до отказа аудитории. Посещение лекций было строго обязательным, но недо- статка в виртуозах прогула не было. Однако ее лекции не прогуливали. Наоборот, приходили и со старших курсов, уже отслушавших

ее прежде. Потому что это был и курс, и дискуссионный клуб. Поощрялись вопросы и реплики с места, не вызывали раздражения даже с явным задором составленные записки. Наш год поступления в Герценовский — 1956. Чуть позже вашего с Феликсом. Но тут счет шел не на годы — на месяцы. Недаром сказано «оттепель» — время оттаивания подмороженной страны. Посмотреть из сегодняшнего дня — и театральная афиша, и книжная лавка были скудны необычайно. Но по тому времени мне (нам) казалось, что судьба демонстрирует знаки своего расположения персонально к нам. Все цветы расцвели нам навстречу: издали вновь Цветаева и Пастернака, Ремарка и Хемингуэя, тоненькими сборниками стихов заявили о себе многие годы молчавшие современники, на театре — Товстоногов, в кино — Калатозов и Кулиджанов, в Эрмитаже — Пикассо, да сверх того целый сверкающий парад зарубежных гастролеров — от Ива Монтана до Королевской Шекспировской труппы. И не забыть про Неделю французского фильма! Чего ж вам боле?

Все это имело прямое отношение к лекциям Д.К. по введению в литературоведение, все это именно так проговаривалось и переваривалось, оспаривалось и осваивалось. Она вела нас к открытой дискуссии с явным опережением времени. О чем был знак — политический скандал со стенгазетой старшекурсников «Литфронт Литфака». До того времени у меня с нею была стычка — смешно сказать — из-за Ермилова. Я сослалась на какую-то его книжку. Она мягко, но твердо дала понять, что это осетрина не первой свежести. Я ответила, что, в отличие от Храпченко и Кирпотина, ермиловская книжка хотя бы позволяет себя прочесть. Пару раз она потом обращалась ко мне: «наша горячая ермиловка». Я достала эту книгу еще раз. Оказалось, что-то произошло с моим зрением, занятное стало пошлым, оказалось, теперь я читаю другое и о другом. Она заметила, что мне неприятно, и больше ермиловкой не называла...

Ты помнишь, какие прозвища были у наших преподавателей? Не помню никаких, кроме «Лапоть» для историка, «Аккузативус» — для латиниста. Да я вообще их почти не помню, кроме, скажем — раз... два... три... Пальцев одной руки хватает. А Дину Клементьевну таких нет, чтобы не помнили. Длинное имя не шло к ней. Задолго до нас было сокращено в Дека. «Пойдешь к Д.К.?», «Надо спросить у Д.К.». Я писала у нее большую часть своих работ — курсовые и дипломную. И со второго курса стала бывать у нее дома.

Она жила вдвоем с мамой Софьей Моисеевной в двух больших комнатах на Невском возле Марата, между «Мясом» и «Молоком», как сказала однажды Галя Золотухина. Мама была такая же маленькая, как Д.К., но гораздо более твердая и резкая. Д.К. никогда не винила ее за свой разрыв с мужем, впоследствии прославленным математиком, хотя не скрывала, что ей пришлось сделать именно этот выбор. Она открыто, но сдержанно говорила об этом и имени математика не называла. Своей семьей она считала семью своего двоюродного брата Давида Иосифовича Сапожникова и о своих талантливых племянниках говорила с такой восхищенной нежностью, что мне они стали казаться существами высшего порядка. Я думать не могла, что буду приятельствовать с ними.

Почему-то какую-то из работ вышло писать не у Д.К., а у властной и энергичной преподавательницы, только что вернувшейся из многолетней профессорской заграничной командировки. Отношения с ней были у нас очень даже хорошие, вплоть до момента, когда, не закончив курса заочной аспирантуры, я подала заявление на выезд с семьей в Израиль. Но до этого было еще далеко. По нажитой за годы общения с Д.К. привычке, я и новой руководительнице, парторгу факультета, доверчиво несла весь мусор мнений и разговоров. Д.К. из каких-то ее замечаний на ученом совете быстро вычислила источник ее осведомленности. Открытым текстом, просто и совершенно необидно она при встрече объяснила мне, почему мне надлежит быть осмотрительнее и как другие люди могут зависеть от неосторожных слов. Это был урок необходимый и достаточный. Она вспомнила при этой okazji антисемитский шабаш начала пятидесятых, как ее лишили поста декана вечернего отделения, большей части преподавательских часов, прорабатывали на ученых советах и А.М. Докусов, показывая на нее пальцем, кричал в зал: «Пусть она скажет, чем ей дорога наша русская литература». И как ее учитель, профессор Василий Алексеевич Десницкий, в перерыве отвел ее в свой кабинет и сказал: «Не отвечай, умоляю тебя, молчи. Не можешь молчать, сиди здесь».

Моей защите диплома о лирике Тютчева предшествовала история, которая скверно характеризует меня и отлично Д.К. На дипломе полагалось иметь рецензентский отзыв. Рецензент был Берковский... Мы, студенты и особенно студентки, которых в Герценовском было подавляющее большинство, относились к нему,

как к небожителю. Отдать диплом на рецензию надо было за месяц до защиты. По причине возрастных сердечных травм и драм я за месяц не имела ничего, кроме груды рассыпанных листочков. К Д.К. от стыда и трусости я не показывалась уже месяца два. Моя старшая подруга Ляля (Людмила) Зенькович, сгоревшая через год от туберкулеза, сновала в ужасе между мной и Д.К. и пыталась пробудить во мне совесть. Ко мне на крутой девятый этаж она втаскивала, задыхаясь, очередной рюкзак с необходимыми, по ее мнению, книгами и оставляла с запиской: «Когда ты придешь в чувство? Срочно позвони Д.К.». Д.К. она говорила: «Если бы Вы знали, что с ней происходит!» В конце концов я все же состряпала дипломную работу и ночью мамина приятельница отпечатаала ее в четырех экземплярах на машинке. До защиты оставалось пять дней. Показать на глаза Д.К. нечего было и думать. Ляля отвезла стопку листочков в папочке на Марата Д.К. Д.К. прислала мне записку: «если не придете, защита не состоится, она и так висит на волоске».

Я пришла. Д.К. как Д.К. Ну, немного холоднее обычного. «Не самая плохая работа, — сказала она, — я даже маме кое-что почитала. У меня есть некоторые замечания, но в них в данной ситуации большого смысла нет. Я потом их вам изложу. А что мы будем делать с Наумом Яковлевичем? Вы готовы отвезти ему свою работу?». Я не была готова. Лучше сквозь землю провалиться. И без диплома люди живут. Хорошо бы не разреветься. Д.К. потянулась к телефонной трубке: «Наум Яковлевич, тут есть одна дипломная работа... Я понимаю, что все сроки прошли и для приемлемых и даже для неприемлемых опозданий. Но я прошу вас о личном одолжении. Давайте сделаем так: прочитайте пять страниц. Если Вы решите, что дальше читать не стоит — не читайте. Я Вам сама привезу». Не пять страниц, не качество диплома, а вот это «сама привезу» решило дело. И защита моя состоялась...

Из писем Льва Аврумовича Шеймана

(1924–21.01.2005)

Их переписка длилась более полувека, и полное собрание писем Л.А. Шеймана к Д. К. составило бы, наверное, не один том. Мы публикуем здесь лишь несколько страниц этой «Книги писем», где есть и письма Милочки, жены Лёни.

4.03.72 Фрунзе

Дорогая Дина Клементьевна!

Да будут светлыми все мартовские дни. Уехала из Ленинграда и увезла какую-то боль. Мы с Вами так мало виделись и никуда не ходили. Очень грустно и все по моей вине. До сих пор прийти в себя от холодов не могу, простудные явления (насморк и кашель) так и не прошли. Теперь пройдет лишь тогда, когда будет тепло, — все хроническую форму приняло. Пальто так и не купила. А зима в этом году суровая и здесь. Как Вы там перезимовали? Обошлось ли без гриппа? Что-нибудь сдвинулось в отношении телефона? Здоровы ли Ваши близкие? У нас обстановка терпимая, по-моему, лучше, чем в Ленинграде. Устроилась ли Верочка? От всего этого тяжкое впечатление. Лёня много работает, пытаюсь ему хоть в чем-то помочь. Да и своей работы немало. В августе собираемся поехать в Прибалтику, точнее: в Литву. Как все сложится — не знаю. С настоящей фамилией Светлова совсем непонятно, я привезла от Вас фамилию Нехамес, а Эмма Полоцкая узнавала у Паперного и назвала фамилию Шейнман. А что же на самом деле? Я шутя говорю Лёне, что это Эмочка подыгрывает тебе. Дома очень часто вспоминаем Вас. Как это грустно, что разделяет нас безжалостное расстояние. Мне было так приятно и душевно у Вас в гостях, подробно пыталась все рассказать Лёне. Он честно завидовал.

Обнимаю и целую, бесконечно близкая и любимая Диночка Клементьевна. Надеюсь на новые встречи. Долгие годы радости, бодрости и Вашего необыкновенного умения расточать все доброе, сеять интерес к познанию и поглощать людские сердца. Амен! Целуем. До встреч. Мила. Лёня.

19.04.84

...Милочка привезла мне вчера «живой привет» от Вас. «Какой она (то есть Вы) молодец!» — приговаривалось при этом. И — какие молодцы все Ваши близкие, организовавшие и осуществившие Ваш переезд. Мне особенно симпатичен, еще с декабрьской встречи 1982 года, Боря... Взаялся за письма. После Вас напишу Марку Григорьевичу... Жаль, что не довелось познакомиться с Вашей «письмотемой». Надеемся, кое-что прихватите, когда поедете к нам. Ждем!

15 января 1999

Бишкек

Добрый день, дорогая и очень-очень добрая Дина Клементьевна!

Все мне кажется, что мы с Вами говорили только вчера — ведь каждый день слышится мне Ваш голос. А, оказывается, пролетело уже две недели со дня нашего разговора. Радуюсь каждому Вашему слову, благодарен Вам и судьбе за него...

А что касается кое-кого из нашего пермского (тогда «молотовского») лицейского братства, то, скажем, Эмма Полоцкая, Женя Марцинкевич, автор этих строк и другие мои однокашники могли бы, обращаясь к вам, так перефразировать пушкинские строки о Куницыне:

Вам — дань и сердца, и вина:
Кто создал нас, кто воспитал наш пламень,
Поставлен кем краугольный камень,
Кем чистая лампада возжена!

Спасибо вам за очень добрые слова о моей писанине про «Книгу Эстер» и про пушкинского дожа и догарессу. Понимаю, что продиктованы они теплым чувством к автору. Мы с Гульджитом Умаровичем Соронкуловым получили на нее долгожданный грант от фонда «Сорос-Кыргызстан».

Какие-то соображения рискнул обсудить ...с десятиклассниками двух школ, где учителя провели экспериментальный цикл из 4 уроков по моим разработкам... поиски направления, которое окрестили основами педагогической этносимвологии. Ребята здорово всколыхнулись. Как бы хотелось, чтобы устами младенцев-десятиклассников «глаголила истина». Кстати, В.С. Непомнящий сказал

такое, что для меня — «как маслом по сердцу»: «Для меня учитель и ученик — это как раз та публика, для которой прежде всего и стоит работать».

* * *

Здравствуйте, дорогая, милая сердцу Диночка Клементьевна!

У меня появилась возможность поделиться с Вами несколько анекдотической радостью, взамен рассуждений о преимуществах нашей погоды и житейских мытарств за хлебом насущным и к нему прилагаемым.

На адрес нашего института прибыло приглашение мне вступить в члены Нью-Йоркской Академии наук. Пришли скромные 2 бумажки с обещаниями снабжать бесплатно 2 томами «Анналов» Академии, при желании — других томов (со скидкой), журналом «Наука», приглашениями на все проводимые конференции, съезды, принять участие в беседах за столом, бесплатным проживанием в гостинице во время конференций. И всего-то надо заполнить карточку, подтверждающую согласие, и выслать по адресу, с приложенным чеком за переведенные 90 долларов — ежегодный взнос с пересылкой, — ничтожная сумма, как они пишут. «Знатоки». Лёня тоже считает, нужно сделать хоть первый взнос и получить документ. Поэтому мои мозги опять работают: где взять такую «дикую» сумму? Институт отказал мне в помощи: его положение бедственное, нет денег всем сотрудникам на зарплату. Ходила в министерство, все ахают, велели написать письмо от института, но денег нет, надежды — тоже. Академия тоже в этом году отмечает 175-летие. А погода у нас дрянная: 2,5 суток лил проливной сеткой дождь, резко похолодало, мерзнем. На юге — сели, посевы приходится пересаживать. Но солнце все равно возьмет свое. А пока все реальнее отход Среднеазиатских республик от СНГ. В мае собираются 9 мусульманских стран в Ашхабаде, а потом встреча в Ташкенте. И там уже будет диктат или разойдутся с Россией. Мы этого очень не хотим, боимся. Происламские настроения крепчают. Русский язык целенаправленно вытесняется, о чем Лёня очень переживает; сокращают много часов. В школах собираются наравне с русским вводить иностранный, это — в селе-то. Сталкиваемся с постоянными требованиями перейти на киргизский язык институтам, учреждениям. А мы не готовы. Наши очень пристально следят за Прибал-

тикой. А подаваться некуда, не на что и т.д. Ждем и, как полагается, надеемся на лучшее. За телефонные разговоры сейчас приходят «озверелые платежи»; приходится отказываться и от этих привычных удобств. Пока граница не на запоре, может быть, приедете? Похоже, что дикой жары не будет, за исключением отдельных дней. Нам Вас очень не хватает, и почти каждый день мы с Лёней вспоминаем Вас.

<....>

...У нас уже открылись американское и турецкое Посольства. Турция оказывает существенную помощь в 70 млн. долларов и еще организует Лицей для одаренных детей. Берется у себя подготовить 1000 специалистов и т.д. Вот ведь советская закалка: в частном письме и все бесконечно о политике. С культурными событиями скудно; обычно весной у нас бывали праздники искусства, приезжали из Москвы оркестры и певцы. Теперь радуемся тому, что показывают по телевизору. Не дай бог лишимся русского канала. Продолжаем надеяться на лучшее будущее. Очень скучаем и грустим от невозможности встреч, Вы стали очень далекими, раньше это было незаметно. Мы с Лёней здоровы согласно возрасту, работаем — и это уже прекрасно. Продолжаем Вас очень любить и надеяться на встречу. Хочу все знать о Вас.

Приветы всем близким. (Может быть, прислать лекарства и посылочку с продуктами? Но принимают не больше 1,5 кг.)

Любящая Мила. И Лёня тоже.

1.12.1999 Фрунзе

А знаете: Вы мне на днях приснились!

Будто я в Петербурге, побывал у Вас на новой Вашей квартире — Вы переехали в какой-то незнакомый мне район, и я возвращаюсь к Вам, однако не могу найти повторно Ваше новое жилище. Но вот останавливаюсь у ворот — во дворе одноэтажный, но высокий и широко раскинувшийся дом, возможно вмещающий в себя несколько квартир. Кажется, это он?..

Сталкиваюсь с красивой светловолосой девушкой и спрашиваю, не знает ли она, где живет Дина Клементьевна Мотольская. — «А это моя тетя!» «А не упоминала ли она о своем ученике, Шеймане?» Девушка пожимает плечами. Уточняя: «О Лёне из Киргизии». Она

обрадованно кивает головой: «Да, да! Она что-то говорила недавно о какой-то награде... Ну, идемте, я Вас провожу».

Мы проходим по каким-то лабиринтам коридоров — и заходим в очень просторную и светлую комнату. Вы сидите у телевизора и увлеченно смотрите на экран. Причем — без очков! Вокруг несколько Ваших учеников. На стульях и на столе — их книги и статьи (помните, вы писали мне о «скопищах работ» на табуретке возле дивана и торшера с креслом?). Гости почему-то знают меня, дружки кивают, заговорщически переглядываются: мол, помолчим — вот будет сюрприз для Дины Клементьевны! А вы все неотрывно смотрите телевизор. Наконец кто-то спрашивает: «Д.К.! Посмотрите, кто пришел!»

Вы оборачиваетесь — и так спокойно-спокойно говорите:

«А, Лёничка. Я ждала Вас, ведь Вы оставили здесь свой портфель. Идите сюда, сядьте рядышком. Интересная передача. Посмотрим вместе. А потом поговорим».

...Встреча пока «виртуальная», как теперь любят выражаться. Но будем считать, что сон в руку...

Вернусь к Вашему вопросу — о сцене встречи Пушкина с «Грибоедом» в «Путешествии в Арзрум» В предыдущем своем письме я наспех привел справку из третьего тома «Летописи жизни и творчества Александра Пушкина» — о том, что такая встреча не могла состояться. В документальной достоверности этой справки не приходится сомневаться. Составительница тома Надежда Александровна Тархова — дотошнейший исследователь. Я встречался с нею как-то, и очень приятно, в отделе редких книг московского Музея А.С. Пушкина на Кропоткинской; кое-что она мне потом присылала.

В чем же дело?

Первое, что приходит в голову: Пушкин во что бы то ни стало хотел ввести в свою книгу страницу о Грибоедове. Эпизод с арбой, несколькими грузинами, двумя волами — на крутой дороге, на фоне трех потоков, низвергающихся с высокого берега, и потрясающий своим содержанием и фантастическим лаконизмом диалог, — многозначная драматическая интродукция к этой странице. Необыкновенную художественную силу сцены очень «созвучно», по-моему, комментировал А.З. Лежнев, писавший «о горьком патетизме, сквозящем в этом отрывистом и полукомическом разговоре... пате-

тизме, подчеркнутым сдержанной интонацией последней фразы». Чуть ниже, по поводу другого диалога — разговора с калмычкой, Лежнев обронил такое: «Конечно, так не говорят в жизни. Говорят пространнее, хуже».

(Между прочим, в заключительной главе новой книги я ссылаюсь на Ваш давний анализ стихотворения Пушкина «Калмычке» и цитирую несколько строк из этой Вашей статьи.)

Возможен, хотя и маловероятен, также другой вариант. Не исключено, что какая-то подобная встреча все-таки была. Например, вскоре после того как гроб с телом Грибоедова, сопровождаемый почетным эскортом, проследовал на север, — как бы вдогонку ему и персидскому посольству (с которым Пушкин уже повстречался близ селений Казбек и Коби), из Тегерана отправили какие-то вещи российского посольства и самого «вазир-мухтара», уцелевшие после разгрома. А поэт и повстречавшиеся ему грузины (грузины ли?) не вполне поняли друг друга. Кстати, тот же А.З. Лежнев пишет о той же сцене и так: «... впечатление, будто везут какую-то кладь, а не труп погибшего поэта». (Проза Пушкина. М., Худож. лит., 1996.) Да так и есть: везут казенную поклажу...

Так или иначе, но я с сокрушением сердечным отказался от уже заготовленной иллюстрации — репродукции хрестоматийной акварели П.Б. Бореля «Встреча Пушкина с телом Грибоедова» (1892). Когда две недели тому назад в Фонде «Сорос-Кыргызстан» принимались к производству принесенные мною рисунки, то даже компьютерщицы и заведующая производством завздохали: «А может, все-таки ее (т.е. иллюстрацию эту) оставить?!»

А день тот был этапный в продвижении новой книги. Я сдавал четвертый, последний вариант компьютерной рукописи. «Подписной». Фонд пошел мне навстречу: все набиралось, по мере поступления моих (и Гульджита) черновиков, а затем отрабатывалось, с моими дополнениями, коррективами и нашей совместной, с редактором, правкой. (Редактор — очень милая женщина, отличный профессионал, идеально ко мне относящаяся, придирчивая к десяткам деталей, вплоть до пунктуации и знаков ударений, «болеющая» за книгу. Она же была редактором моего пособия «Русская классическая литература (2-я половина 19 века), изданного тем же Фондом в 1997 г.) Так вот, и рукопись, и рисунки приняты. Сейчас будут там работать с художником и техредом. А мы будем ждать корректуру-

верстку. В Фонде прикинули объем — как будто получается около 25 печатных листов. И в тексте свыше 50 иллюстраций. В том числе, если получится, — 8 цветных. Дай-то бог...

В бытовом отношении у нас здесь не очень-то сладко. Узбекистан отключил газ. Батареи отопления либо еле теплятся, либо вообще веют крещенским холодом. (Спасибо «Хэсэду», мне подарили замечательный электрообогреватель и превосходный «чаекипятильник».) Доллар стремительно летит вверх, а сом (наша валюта) столь же стремительно погружается в пучину. (Сегодня курс — свыше 46 сомов за 1 доллар.) Цены, соответственно, беснуются. Снова усилился отток «русскоязычных» из Киргизии; особенно — после событий на юге, где несколько месяцев в трех районах «гостили» моджахеды. Их выпроводили преимущественно по-восточному, путем переговоров с главарями таджикской оппозиции. Но воины ислама оставили, говорят, записку: «Мы еще вернемся весною!» Почти так, как была некогда озаглавлена книга Геннадия Фиша о «красной» Финляндии: «Мы еще вернемся, Суоми!»

Светлым пятном для нас является «Хэсэд» и «Литературная гостиная». Р.М. повезет в Ленинград фильм, посвященный нашему последнему фестивалю еврейской книги, и буклет о том же. Кстати, в той же «гостиной» я дважды показывал, со своими комментариями, пленки с лекциями-концертами Жени Марцинкевича, которые он мне присылал, — об Алексее Константиновиче Толстом и о «Маленьких трагедиях» Пушкина.

18–19 июля 2000

Бишкек

Добрый вечер, Дина Клементьевна, самый дорогой мой человек!

Неизменно — с восхищенным изумлением Женя Марцинкевич восторгается Вашей памятью. Он еще в апреле говорил вам, что собирается выступать в квартире-музее артистов Самойловых. А в начале июля, когда он приходит к Вам, Вы расспрашиваете его во всех подробностях об этом выступлении. Одно дело, пишет Женя, память профессиональная, другое — житейская, «обыкновенная», да еще касающаяся дел других людей; она свидетельствует о глубине нравственного и интеллектуального сознания. «Нам бы так!» — восклицает он. И завершает так: «Мы пили чай и болтали обо всем и обо всех».

Передававший вам мое письмецо сотрудник Хэсада-Тиквы поражен широтой Ваших интересов, экспансивной любознательностью, редкой и при том актуальнейшей информированностью. «Она знает даже о принятом у нас Законе, утвердившем статус русского языка как “государственного языка Кыргызской Республики”!»

А Мила Друскина потрясена «ясностью внимания и точностью восприятия» Вами текстов из ее новой книги «Поэзия А.С. Пушкина в песенниках и русском фольклоре», которые она Вам зачитывала.

Как видите, «рисовальщики» разные, а портрет получается — целостный...

Может быть, есть какой-то свой смысл в том, что в «пушкинский» и «послепушкинский» год выходят если не итоговые, а промежуточно-итоговые книги тех, кто находился и находится под сенью Вашей «ауры». Светлым подарком был для меня двухтомник Инны Альми, привезенный дочерью моей однокашницы Шуры Вишняковой — Таней Пудковой (кустодиевской красавицей, некоторое время жившей с мужем Владимиром Шехтманом здесь, во Фрунзе, тогда чемпионкой Киргизии по шахматам, а теперь живущей в Алма-Аты). Книга Инны — это родник влаги благодатной. Чудесную книгу «О поэтике Чехова» (с музыкальной интродукцией — нежным Борисовым-Мусатовым на обложке) — прислала на днях наша Эмма-джан.

P.S. Дописываю утром 19 июля.

Кое-что о «среде» = окружении.

Это, например, наш клуб — кружок «Кентавр». По-прежнему время от времени собираемся. Или у меня в институте, в небольшом зале для заседаний, или по домам у «кентавров». Во время многомесячных пауз перезваниваемся. А вот в мае-июне состоялось 4 встречи.

1) 160-я, на «фазенде» у Наташи Корн (по образованию — ленинградская навигаторша, по хобби — астролог, по службе — сотрудница Американского Корпуса мира, где врачом ее нынешний муж, Лоуэлл Лендер): «Америка–Лондон» (рассказ хозяйки об очередной поездке). 2) 161-я, в моем КИО: «Онегин» и «Медный всадник» (о первом — Ю.Н. Чумаков, о втором — его жена, Э. И. Худо-

шина). 3) 162-я, тоже в моем институте: «О некоторых мотивах «Песен западных славян» (Ваш покорный слуга). 4) 163-я, на «фазенде» Эмиля Шукурова (один из друзей Милочки, доктор географических наук, в недавнем прошлом — директор Института биологии Академии наук Киргизии, ныне — руководитель международных экологических проектов, председатель «Совета Земли» Центральной Азии... и очень неплохой художник): «Традиционная китайская живопись» (сообщение хозяина, с альбомами, недавно привезенными из Китая; он, кстати, ездит по всему миру; после доклада я его спросил, переиначив первые строки баллады «Янко Марвич»: «Что в разъездах бей Эмиль Шукуров? Что ему дома не сидится?» А он в ответ: «Волка ноги кормят!»).

О встречах с Ю.Н. Чумаковым. Помните, Вы с ним были знакомы? Он приезжал на кандидатскую защиту одной здешней преподавательницы, в Славянский университет. Заодно они с Элеонорой Илларионовной прочли там несколько лекций (отчасти, чтобы оправдать дорогу). Привезли мне несколько книг-новинок. Три из них Юрия Николаевича. Главная — сборник его основных работ: «Стихотворная поэтика Пушкина» (СПб., 1999; роскошный том, заботами Владимира Рецептера), «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. В мире стихотворного романа» (М., МГУ, 1999), «Поэтика «Евгения Онегина» (Мельбурн, 1999). Мы с ним и Э.И. провели практически вместе 4 дня, в том числе — за столом у меня дома, много часов в моем институтском кабинете, дивный вечер на «фазенде» упомянутой выше Наташи Корн, слушая «сливки» американского джаза и смакуя изыски ее домашней кухни. А на послезащитном банкете произносили в честь друг друга по-восточному цветистые спичи: я развивал мотив «перемещения центра мирового «онегиноведения» в Новосибирск», а Чумаков — тему «Савельича», поскольку я 30 лет назад опубликовал в своем журнале его новую заметку о композиции «Евгения Онегина», с которой (с подачи Ю.М. Лотмана, прочитавшего эту заметку) началось его стремительное восхождение на Олимп международной пушкинистики. А еще Чумаковы привезли мне монографию Нины Елисеевны Меднис «Венеция в русской литературе» (Новосибирск, 1999), где имеются выдержки из статьи одного Вашего подопечного о пушкинских «доге и догарессе» (ссылки не очень адекватные, но все-таки)...

Словом, вспоминается пассаж из «Накануне» Тургенева: если русскому человеку нечем потчевать, он потчует своими друзьями и знакомыми! <...>

27 мая 2001

Бишкек

...это письмо передаст Вам Наташа — Наталья Павловна Задорожная, ныне кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Лаборатории критического мышления при Американском университете в Кыргызстане, а некогда моя дипломница и даже соавтор по одной очень давней книжке.

А пока присылаю очередной номер своего журнала. Не для чтения, а как знак того, что пока еще «жив курилка». Если же Белочка и Ира сами пожелают просмотреть из любопытства, а потом кое-что пересказать Вам, то я обратил бы их внимание на следующее. Здесь напечатана подборка материалов упомянутой лаборатории критического мышления при АУКе, где работают и мои питомцы, хотя к самому названию их концепции и некоторым ее моментам отношусь критически. На второй странице обложки знаменательное заявление Амангельды Муралиева, сделанное им тогда, когда он был нашим премьер-министром; через 2 недели после этого он был отправлен в отставку и до сих пор не у дел. Бывший первый посол России в Кыргызстане Михаил Алексеевич Романов (который теперь в Москве) пишет мне о нем в письме, полученном позавчера: «На мой взгляд, это самый интеллигентный и думающий человек среди власть имущих в Вашей стране». Другой человек, которого бы я рискнул назвать одним из «самых интеллигентных и думающих» среди киргизской элиты, — это Ишенбай Абдуразаков; его же «Куда плывут галактики цивилизации?» — открывает прилагаемый № журнала. Он прекрасно понимает, что здесь высказаны, главным образом, добрые пожелания, чаще всего расходящиеся с кровавой действительностью наших дней. Но полагает долгом своим настаивать на них. В 1999–2000 гг. он был Государственным секретарем Кыргызстана, председателем правительственного Пушкинского комитета, содействовал изданию моей книги. Теперь, как и Амангельды Муралиев, — в отставке...

Кое-что любопытное в других заметках... Конечно, они, что называется, *fur Wenige*. Но мы пока можем позволить себе немного позабавиться...

Истосковался я, милая Дина Клементьевна, по Вашему голосу.

Два слова о Ноорузе. На других языках наших ближайших соседей этот праздник называется Новруз, Навруз, Наурыз... Слово из языков индоевропейских; праздник идет от древних персов. Корень тот же, что и в русском «новый», в английском new, в немецком neu и т.д. Празднуется в день весеннего равноденствия — как еще один Новый год. Символизирует победу света над тьмою, весны над зимой. Словом, совсем как Neue Fruhling, один из самых любимых мною циклов Генриха Гейне. В этом году он еще совпал и с нашим Пуримом.

И, к великому сожалению, с войной в Ираке.

Еще одно событие местного масштаба. В тот же вечер, когда вручались ордена, то есть 19 марта, и в то же самое время в нашем «Хэсэде» шел вечер, посвященный Фаине Раневской. Не было никакой юбилейной даты, но приехали из Израиля «проверяющие дамы» (кажется, по линии «Джойнта») — и Роза Менделевна пожелала показать им, как действует у нас «Литературная гостиная». Сестрам-близнецам Каменецким, которые вели этот вечер, пришлось подготовить свой рассказ за две бессонные ночи. Они — большие, нет! — сверхгорячие — поклонницы великой актрисы и вообще страстные театралки; трижды, в разные годы, смотрели в Театре Моссовета спектакль «А дальше — тишина» с ее участием. Наша общая приятельница из Национальной библиотеки раздобыла им гору книг и журналов о Фаине Георгиевне, а наш киновед Саша Мартош приготовил кадры из ее фильмов. Но подготовить вечер за такой молниеносный срок и так великолепно (о чем мне рассказал присутствовавший там мой друг, медик, профессор-консультант здешнего Славянского университета Наум Абрамович Комаровер) — это смогли только они, «сестрички Камены», как их обычно называют.

На их вечер надеялись попасть и мы с Борисом Моисеевичем Шапино, возглавляющим и нашу еврейскую общину, и республиканский «Антиспид». Борис Моисеевич, один из трех «мушкетеров» нашей общины, награжденных тем же орденом в тот же вечер (третьим был старейший отоларинголог республики Георгий Аронович Фейгин), взялся отвезти меня домой в своей выдавшей виды походной колымаге, завернув по дороге в «Хэсэд». Но, связавшись по сотовому телефону с Р.М., я узнал, что вечер, посвященный Раневской, закончился и что все уже разошлось-разъехалось.

Хотел развлечь Вас, дорогая Д.К., несколькими картинками из нашей здешней жизни — но, кажется, очень утомил. Простите!

Обнимаю Вас и целую, будьте «нам и себе» молодчинкой! Кла-няюсь Вашему доброму окружению.

Ваш Лёня.

13 июля 2002

Бишкек

Добрый день, дорогая, родная Дина Клементьевна!

Уж как я обрадовался Вашей поздравительной телеграмме — «ни в сказке сказать, ни пером описать»! И дело не только в той радости, что «питерцы», то есть Вы и Ваше ближайшее окружение, помнят пишущего эти строчки, продолжают испытывать добрые чувства к нему и трогательно их выражать (за то, конечно же, спасибо самое сердечное!). Но не менее важно и дорого само с-о-б-ы-т-и-е — весточка от Вас. Ведь я уже давным-давно не получал от Вас по почте ничегошеньки. И, понятно, очень тревожился.

...Прибыли из Алма-Аты редактрисы газеты «Книголюб». Задали 14 вопросов, которые должны составить ожидаемое там интервью... в связи с книгой о Пушкине и пушкинской трилогией, выдвинутой на Государственную премию. Спрашивали, в частности: где учился Ваш покорный слуга? Ответил, что к исследовательской пушкинистике приобщили меня ленинградские ученые, преподававшие в Пермском университете в годы войны. В связи с этим заметил: не случайно заключительная глава посвящена Дине Клементьевне Мотольской — «замечательному петербургскому литературоведу и педагогу».

Вот Вам маленький кусочек нашей жизни. Следую совету одного из некрасовских персонажей: «Дусеньке вы бы теперь показали светлую сторону!» — Рад показать! О темных говорить не будем. Уточню только (в связи с тем, что в Вашей телеграмме есть пожелание спокойствия): на нашей Шипке все сейчас, в общем, спокойно.

19 ноября 2002

Автора статьи, Сергея Белова, можно понять: Достоевский для него — главный кумир его жизни; это солнце, на котором не должно быть пятен! Поэтому он и представляет нам одну сторону медали.

Но, видимо, и в связи с «еврейским вопросом» в Достоевском всегда бушевали «Pro» и «Contra». И, зачастую, «Contra» перевешивало. А Вы как думаете?

Нечто подобное, кажется, происходит с Солженицыным. У нас получены первые экземпляры второй части его книги «Двести лет вместе». Мои экстремально-этноцентристски настроенные знакомые готовы поставить ее на одну доску с Mein Kampf. То, что идет от российско-православно-монархистского нутра автора, видно невооруженным глазом. Но есть и желание разобраться, и даже, местами, изумленное восхищение и сопереживание трагедиям народа. Мои друзья, сестры-близнецы Каменецкие, готовятся сделать сообщение об этой книге в «Литературной гостиной» нашего «Хэсэда». Они настроены более критично, чем я, но стараются быть, по возможности, объективными. Мы понимаем, какая буря их ожидает. Попытаюсь поддержать.

...Тронут Вашими (и Галиными) пожеланиями пушкинских штудий. Мечты, мечты — где ваша сладость? Я не пушкинист, а пушкинолюб. Если Чехов для Эммы — профессия, то Пушкин для меня — хобби и потаенная любовь. Но где уж до них сейчас, если пишущий эти строки загнан как старая кляча... Правда, замыслы кой-какие (маниловские, наверное) все же есть.

11 марта 2003

...«на костях» трех институтов, в том числе и нашего, создано нечто под широковещательной вывеской «Академия образования Кыргызстана». Бывшие институты преобразованы в «Центры» с неустоявшейся структурой и сокращением части сотрудников. Но наш институт нынешний год как будто сохраняет и свою структуру, и свои кадры — я имею в виду научно-исследовательский комплекс, в котором работаю. Этот комплекс финансируется отдельно — не Министерством образования, а Главнаукой. С нею был заключен договор до конца 2003 года — и, наконец, оформлено соглашение о том, что договор остается в силе. На прошлой неделе нам выдали зарплату за январь и февраль. Как Вы понимаете, состояние «между небом и землей» не позволяло информировать Вас сколько-нибудь внятно о своем «служебном» положении.

...Нет сомнения, что среди президентов бывших национальных республик СССР Акар Акаев выделяется своей просвещенностью, интеллигентностью, порой — импульсивными «души прекрасными порывами». Очень многое сумел он обрести и сохранить от долгих лет, проведенных в Ленинграде. Не случайно, если выдается малейшая возможность, к нам «заглядывают» Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков. Он действительно любит Пушкина. В 2000 году, вручая ордена и медали, он начал речь целым «спичем» в честь Вашего недостойного ученика. А когда надевал на меня муаровую ленту с медалью «дамакер» («Слава»), мы обменялись взаимными любезностями.

Не касаюсь облика А.А.А. как государственного деятеля. Упомяну лишь о том, что недавно он заверил: с аэродромов Киргизии самолеты НАТО не будут летать на бомбардировки Ирака.

...Вернусь к проблемам, которые обсуждались в нашей переписке.

На мой взгляд, независимо от моих пристрастий к адресату, Вы предложили лаконичную, но принципиально («конденционно», как Вы любите говорить) наиболее адекватную трактовку проблемы «Достоевский и евреи». Видимо, отношение его к «избранному народу» было действительно амбивалентным. Здесь чередовались и взаимодействовали притяжение и отталкивание.

...А теперь коротко о том, «что было потом» (у украинского писателя 30-х годов минувшего века был роман, который так именовался; писателя звали Юрий Смолич).

В институте — «академии» — продолжалась все такая же лихорадка, какая воцарилась в нем на протяжении предыдущих месяцев. Мы превратились — простите! — в некую сточную канаву для мутного потока еженедельных, а порой и ежедневных, оперативных заданий министерства образования. И это при том, что зарплату нашему Центру (бывшему научно-исследовательскому комплексу Института образования) финансирует другое ведомство — Агентство по науке. А на выполнение запланированных тем не остается ни времени, ни сил. Правда, новый президент нашей «академии» успокаивает: все это временно — пока она, новорожденная «академия», не встанет на ноги... Что ж, посмотрим. Если «доживем до понедельника».

Некоторым просветом стали для меня несколько дней — вернее, «полудней», проведенных в нашем Славянском университете. Меня пригласили туда в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии по русскому языку и литературе на гуманитарном факультете. Порадовали некоторые интересные дипломные работы.

Потом я принял участие в региональной конференции «Культура русской речи в Кыргызстане», проводившейся в том же Славянском университете, при участии коллег из соседних республик.

Я поддерживаю активные рабочие контакты с этим университетом не только потому, что мы делаем «общее дело», но и потому, что не хочется терять связи с живым педагогическим процессом. Есть у меня там аспирантка (работа по проблемам интерориентации литературного произведения в школе) и докторантка (вопросы учебно-этнокультурологической лексикографии). Участвую во встречах клуба редакторов республиканской прессы «Русское слово в Кыргызстане», который создан при кафедре международной журналистики того же университета. Именно ученый совет Славянского университета выдвинул и собирается выдвинуть вновь нашу с Гульджититом Соронкуловым «пушкинскую трилогию» на соискание Государственной премии Киргизской Республики.

Ректор этого университета предлагал мне перейти к нему совсем. Но я вынужден был отказаться. Лекционные курсы мне теперь не под силу. Кроме того, русской филологией заправляет там очень талантливый, но и — как бы это помягче сказать? — очень ревнивый человек. В числе его тайных поступков — письмо в руководящие инстанции с предложением передать в ведение университета (а фактически — в его личное ведение) мой журнал. «Инстанции» не удовлетворили его просьбу. А отношения между нами — весьма лояльные и вроде бы даже дружелюбные.

Кстати, десять лет назад, когда по инициативе президента Акаева готовилось открытие этого университета, местные радикальные «национал-патриоты» устроили дичайшую кампанию протеста: поскольку-де университет будет финансировать (на две трети) Россия, налицо зловещие «имперские замыслы». Компромиссом стало придуманное в те дни название вуза: «Кыргызско-Российский (Славянский) университет». Постепенно скобки отпали. А в просторечии, в обиходной речи, вуз стали называть просто Славянским.

...Идет третья неделя моего отпуска — а я все еще занят тем, что подбираю «хвосты» и погашаю долги. В том числе — развернутый отзыв на объемную докторскую диссертацию коллеги из Алматы — «Теория и методика литературного образования учащихся средней школы (Культурологический аспект)». Защита должна состояться в Алмаатинском университете имени Абая. Я — один из официальных оппонентов. Но мы договорились о том, что мой отзыв там зачитают: от автобусной 5-часовой поездки я должен выдержаться — здоровье не позволяет. (Кроме того, Дина Клементьевна в телеграмме советовала автору этих строк быть «в творческом труде достаточно разумным», то есть, если я правильно понял, в известной степени — осмотрительным...)

25–26 марта 2003

А недавно я опять провинился перед Вами. Была возможность передать Ваш привет президенту Акаеву, а я не сумел воспользоваться ею. Пусть то была шутка с Вашей стороны. Но ведь в каждой шутке, как известно, есть своя — и порой немалая — доля правды.

Дело обстояло так. 19 марта в нашем театре оперы и балета, в самом роскошном зале, примыкающем к фойе, «малахитовом» (окаймлен колоннами и пилястрами, отделанными малахитом; театр был построен еще в сталинские времена), состоялось вручение правительственных наград.

Перед вручением наград он прочел текст, заранее подготовленный (скорее всего государственным секретарем Осмонакуном Ибрагимовым, в прошлом литературоведом, который в своей докторской диссертации, как и кое-кто из московских лингвокультурологов, «пропагандировал» введенное мною понятие этноэидема), — текст, расцвеченный интонациями бархатного голоса Аскара Акаева и его минимальными импровизациями. В общем, здесь было воздано почти каждому из «именинников», по принципу «всем сестрам по серьгам». Упомянуто было и о Вашем ученике — как о «патриоте русского слова» и якобы «выдающемся пушкинисте».

Закончив речь, президент приступил к награждениям «свежих кавалеров». Была их тьма тьмущая. Когда дело дошло до меня и А.А. надел на пишущего эти строки синюю, с золотой каймой ленту с прикрепленным к ней орденом, он (надо отдать должное его выносливости), широко улыбаясь, произнес пару стандартных фраз —

пожелал новых книг, доброго здоровья и благополучия «моей семье». Мне ничего не оставалось, как кратко поблагодарить и поскорее уступить место очередной жертве.

Но позже, когда раздали по бокалу шампанского, все смешалось под музыку двух оркестров (слева — национальных инструментов, справа — европейского) и президент стал обходить нас, чтобы чокнуться по возможности с каждым и сказать напоследок еще пару теплых слов, — вот тут я сплоховал. Тут-то как раз и надо было передать привет от Вас. А я, загипнотизированный любезным комплиментом о «пушкинисте», сказал совсем, совсем не то. Что-то вроде того, что-де Александр Сергеевич при жизни не получал никаких наград — так будем считать, что это принадлежит ему. Акаев, рассмеявшись, согласился — и двинулся дальше.

Авось при следующей встрече, если она состоится когда-нибудь, попытаюсь повести себя достойнее и обязательно передать Ваш привет адресату!

...Встречи и переписка с Натаном Яковлевичем Эйдельманом (точнее — эпизодический обмен изданиями и профессиональной информацией) — это, конечно, для меня один из подарков судьбы.

15 июня 2003

...Об Акаеве, который Вам нравится (в общем — как и мне, хотя, естественно, и уступает пальму первенства Вацлаву Гавелу).

4 июня (2003) в Овальном зале нашего «Белого Дома» состоялась встреча в связи с награждением Джорджа Сороса киргизским орденом. Президент произнес очень теплую речь, в которой, между прочим, говорил о классических трудах по истории и этнографии киргизского народа, изданных фондом «Сорос-Кыргызстан», тактично выделив имена профессоров (кстати, ленинградских!), одновременно произведя их (латентно) в академики. Соросу была преподнесена там же роскошно изданная книга «Еврейские сказания» (на трех языках — русском, киргизском и ...иврите!), что гостя явно растрогало... Фондом Сороса в К. сделано много хорошего. Достаточно сказать, что за короткое время им издано более 400 книг, в том числе — и — три моих; поэтому мы с Гульджитишом Соронкуловым и были приглашены на это торжество. Готовы были преподнести мистеру Соросу свою — известную Вам — последнюю книгу.

Но после выступления Чингиза Айтматова, который превозносил наш Иссык-Куль и просил поддержать создание на берегу этого прекрасного озера Культурного Центра для творческой интеллигенции, высочайшие персоны моментально исчезли. И шампанское нам разносили уже без него — предлагая, впрочем, выпить за дорогого гостя.

Меня немного покорило, что великого филантропа одарили орденом Манаса всего лишь третьей степени... Третьестепенный — это значит «малозначительный», чтобы не сказать — ничтожный.

Второй зал, в котором довелось на днях видеть и слушать нашего президента, — это Большой зал здешней филармонии. 11 июня здесь выступил замечательный немецкий дирижер Поннеле с нашим Чуйским камерным оркестром. Концерт был посвящен 125-летию Бишкека, столицы Киргизии. А заодно, как уточнил в своей вступительной речи посол ФРГ, — и 125-летию появления первых немцев на территории Киргизии. За ним с большой речью выступил и наш президент — и говорил в основном (подробно и с воодушевлением!) о трех произведениях, которые предстояло прослушать: о 40-й симфонии Моцарта, о «Зигфрид-идиллии» Вагнера и о Восьмой симфонии Бетховена. (Акаев ведь большой поклонник и знаток классической музыки.) Концерт был действительно великолепный; на бис исполнена была еще и увертюра к «Женитьбе Фигаро». Акаев снова поднялся на сцену, чтобы не только поблагодарить дирижера и Посольство ФРГ, но и сказать, что наш камерный оркестр сегодня поднялся до уровня симфонического. По-видимому, подобный комплимент высказал ему Посол Германии.

...Добавлю, что, с одной стороны, не вижу пока — при всех «недочетах» нашего президента — достойной смены ему. У меня к нему (как и у всякого) свои претензии. Моя главная: закон о русском языке остался фикцией, не предпринято ничего, чтобы выправить катастрофическое положение о «русском пространстве» в Кыргызстане. Но боюсь, что после А.А. станет и с этим много хуже — если к власти придут ультранационалисты.

14 мая 2003

В начале марта у нас состоялся Международный конгресс «Русский язык в сообществе народов СНГ». Прибыли большие делегации из России и Казахстана, некоторые коллеги из других стран

Содружества, кое-кто из «Забугорья». Я участвовал в руководстве одной из секций, выступал с докладом. Конгресс был организован на скорую руку. И тоже не без пропагандистского подтекста. Но удалось пообщаться с симпатичными товарищами по общему делу. А может быть, главный для меня результат: раздался нежный голосок из Парижа: «дядя Лёничка...» Объявилась после двухлетнего молчания негодница-племянница Юленька. Она увидела меня на телеэкране.

26 августа 2003

...С Вашими воспитанниками по Молотовскому/Пермскому университету мне особенно радостно «аукаться». Знаю, что Эмма и Неля Гомон написали вам письмо с Украины, когда Эмма гостила там. Последней Эмминой монографии — о «Вишневом саде» («...жизнь во времени») — я сразу предрек премию. Наколдовал! Мне первому она и позвонила. Договорились: Эмма пришлет мне ксерокопии опубликованных рецензий на ее книгу, а я опубликую в своем журнале что-то вроде комментированного их обзора. Регулярно пишет мне и староста нашей группы Катя Тунева, переехавшая недавно из Арзамаса в Нижний Новгород. В последнем письме она рассказала мне, как замечательно отпраздновали недавно 80-летие Шуры Вишняковой, которая живет во Владимире (работала до пенсии там же, где и сегодня работает Инна Альми, у которой тоже вышла новая книга; и Шура, и Инна звонили мне в июне).

20.11.2003

Ваше письмо с печальной вестью о кончине Милы Друскиной добиралось до меня почти целый месяц. Очень грустно: почти никого из моих сверстников-одноклассников не осталось...

Мы с Милой начали сближаться уже после войны, в дни моих коротких «наездов» в Ленинград и обязательных рабочих посещений ИРЛИ; она неизменно встречала очень тепло, по-товарищески — и, если нужно было, содействовала необходимым контактам. А подружились мы с ней, заочно, уже в последние годы — благодаря Вам! Письма ее были сердечны и обстоятельны.

Я уже написал ее дочери.

...Приятным же событием была встреча в очень небольшом кругу, в клубе редакторов русских изданий республики (при здешнем

Славянском университете), посвященная 45-летию моего журнала. Приехал и генеральный консул России в Оше Александр Антонович Колесников, интеллигентный и деятельный человек. Обещал осуществить подписку в Ошской области — за счет Посольства — на 200 экземпляров.

10 декабря 2003

Родная Дина Клементьевна, милая Белочка, добрый день!

Для меня Ваше письмо (от 15 ноября), дорогая Дина Клементьевна, — это такая встреча с любимейшим, самым близким человеком, которая принесла и общие слезы, и ту печаль, какая по-пушкински омыла и высветлила глубоко укоренившееся в глубинах души отчаянье. Мне кажется, что никто, даже кровные родственники, так, как Вы, не любил, не чувствовал, не понимал Милочку. И она отвечала Вам любовью. Совершенно неповторимой.

Написать такое письмо, какое написали Вы, в Вашем состоянии (с глазами), это настоящий подвиг. Целую Ваши строки и Ваши руки. Не смею надеяться, но мечтаю уже о новом письме от Вас.

Вы пишете о том, что мы с Милочкой счастливо нашли друг друга. А знаете, о чем она мне не раз говорила в течение последних — примерно — десяти лет? Ее удивляли семьи, где с годами разлаживались взаимные чувства. Она говорила, что, ей кажется, наоборот: с годами эти чувства становятся и крепче, и сильнее. Для нас с нею это было действительно так.

Вы вспоминаете о наших приездах к Вам. Для нас это были самые чудесные дни; мы потом долго-долго жили их сердечным теплом. Духовно и душевно «заряжались» от Вас.

Сегодня я перелистал папку с сувенирами конца декабря 89-го — начала января 90-го года. Замечательная неделя, которую мы провели у Вас тогда, пять лет тому назад. Конечно, это тоже был замысел Милочки. (Мы тогда провели отпуск по совместно придуманному маршруту: Петергоф—Ленинград—Таллин—Москва—Пермь—Свердловск.) И так насыщены были те дни в Ленинграде «культурной программой»! «Визит старой дамы» и пьеса моего племянника Виталика Павлова «Я построил дом» в БДТ, «Прелести измены» у Додина, «Фадетта» в Малом оперном, выставка Осмеркина в Русском музее, Музей-квартира Пушкина, концерт Стадлера и Афанасьева в Большом зале Консерватории! А встречи

с Вашими и моими друзьями! Женя и Лариса Марцинкевичи, Марк Григорьевич, Ида Ильинична... И все — это за одну неделю. Остались в памяти рассказы Иды Ильиничны о Сахарове и его окружении, о вечере «Уроки Сахарова»; надежды на то, что осуществится мечта Андрея Дмитриевича о победе такой государственности, которая не порывала бы с нравственностью. Такое ощущение, что с тех пор прошел целый век. Наступила другая эра. И пока не самая лучшая...

Тост — за Вас!

За Ваше процветание
И за здоровье Ваше
Подъемлют все земляне
С волшебной влагой чаши.
В беспечный час веселья
Я Вам желать готов
Здорового безделья
(Это Вам-то)
И праздничных трудов!

Лёня Шейман. Ноябрь 1971

Воспоминания Д.К. Мотольской
о Льве Аврумовиче Шеймане

Написаны после смерти Л.А. (умер 2.01. 2005) 10–16.05 2005

17.05 у Д.К. случился приступ; 21.05. она умерла.

(Писала под диктовку Золотухина Г.С., ее бывшая ученица, учитель на пенсии)

* * *

За Новый год, за свежие снега,
За светлые события и даты,
За мирные рассветы и закаты
У теплого родного очага...
Пусть спишутся огрехи и помехи,
Пусть гибнет ложь и зависть терпит крах...
Поднимем тост за новые успехи
На ближних и на дальних рубежах!

Это сочинила одна учительница, а Лёня чуть-чуть подправил.

* * *

Мне очень нелегко писать о Льве Аврумовиче Шеймане, о Лёне. Ведь обычно ученики вспоминают о своих ушедших из жизни учителях, а тут — все наоборот. Я еще жива, хотя мне 97 лет, а Лёни — уже нет. Для него «умолкнул шумный день», а для меня «воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток» (причем — буквально: я слепа и глуха).

* * *

Я узнала Лёню как своего студента во время войны, в г. Молотове (теперь — Пермь, слава богу), куда я была эвакуирована из блокадного Ленинграда. Я стала преподавать в Пермском университете.

Лёню тоже война забросила в Пермь (он с юга, Одессы), где он встретился со мной уже студентом 2 курса литфака. С детства он был тяжело болен, что сделало его невоеннообязанным: туберкулез позвоночника, корсет, вечные санатории.

Я читала тогда и курс литературы XVIII века, и литературы начала XIX века, т.е. — о Пушкине. На любви к Пушкину мы и сошлись. Я его застала человеком, который интересовался всем

и всеми. Его удивительно любили, и он — всех — любил. И надо сказать, что все, т.е. его товарищи, с которыми он сдружился в Перми, все, кто был еще жив до его, Лёни, последнего часа, — все оставались его лучшими друзьями. Почти со всеми он вел постоянную переписку, тратя на нее очень много сил и времени, которое никогда не считал потерянным (традиция Пушкина, в которого он был влюблен, как и я).

* * *

Лёня с детства очень много читал; вынужденная неподвижность, бесконечное пребывание в санаториях способствовали этой страсти к чтению, к познанию книжному.

Накопленные знаниягодились ему и для зарабатывания хлеба насущного: он стал читать лекции о литературе, искусстве, культуре, и это стало его потребностью на всю жизнь: просвещать, просвещать, просвещать. Пусть услышит, поймет хоть один человек. Из 100 или 50. Потом — еще один! И так далее! Лишь бы огонек не гас!

* * *

И здесь, в Перми, он, зная гораздо больше, чем многие из его товарищей, всем друзьям-студентам давал консультации, всем что-то советовал, никогда никому не отказывал. Можно сказать, что та, почти исключительная любовь к нему всех окружающих (студентов и преподавателей), которую он завоевал уже на 2-м курсе, сохранялась к нему у всех всю жизнь.

* * *

Меня всегда поражала его неистощимая любознательность, его отзывчивость на все факты литературы.

Я после снятия блокады, но еще до окончания войны вернулась в Ленинград, а Лёня остался, конечно, в Перми — заканчивать университет.

Я приехала на выпуск Лёниного курса; не помню тему его дипломной работы, но защита прошла великолепно.

Никогда во время общения с ним никто, и я в том числе, не чувствовал (хотя и знал), что он серьезно болен. Он не делал себе никаких скидок на болезнь, старался не упоминать о ней, а ведь это корсет, почти на всю жизнь.

Затем Лёня заочно окончил аспирантуру в Одесском университете, зарабатывая себе на жизнь лекциями по санаториям; иногда по 20 лекций в месяц!

Защищал же он кандидатскую диссертацию здесь, в нашем Ленинграде, в Университете. Времена были трудные, 1952 год! «Дело Антифашистского еврейского комитета», начинающаяся борьба с «космополитизмом», Сталин еще жив. На защиту приехал из Перми декан филфака Борис Павлович Городецкий, привез отзывы тамошних ученых, характеристику из Одесского лекционного бюро... Защита прошла блестяще, что можно считать чудом, учитывая 5 графу соискателя и трагическую судьбу отца (расстрелян в 1938 г.!).

* * *

Тем не менее, невзирая на успешную защиту, для Лёни не кончились трудные времена: ему было не найти постоянной работы. И вот еще до защиты помогло одно знакомство. Зная, что диссертация принята к защите в Ленинградском университете, его приглашают в Киргизию. И обещали, что не нарушат слово! (Ведь даже переезд в далекую республику стоил немалых денег.) Это слово дал ему заведующий отделом кадров Министерства просвещения Киргизии Ясын Мусахунов. И вот с 1951 г. Лев Аврумович Шейман стал гражданином — не только формально — Киргизии, теперь Кыргызстана.

Началась новая страница его биографии, деятельности, судьбы.

* * *

А у меня началась с ним постоянная переписка, а дружба, вначале учителя и ученика — переросла в дружбу коллег.

В Киргизии его сразу полюбили. Он ни от кого ничего не требовал; был очень скромным человеком, несмотря на колоссальные знания.

Киргизия стала для него второй Родиной, и он для нее пожертвовал многим: из начинающего талантливый литературоведа, специалиста по пушкиноведению — превратился (а сколько труда на это потребовалось!) в доктора педагогических наук, специалиста (по-моему, главного в Киргизии!) по преподаванию русского языка и литературы в киргизских школах. А Пушкин стал как бы его «хобби», любительской деятельностью. Это была сознательная

и вынужденная жертва — благодарность стране, давшей ему работу и приют, и дань с детства возникшей страсти к просветительству: я — знаю! Пусть узнает это еще хоть кто-нибудь! Хоть один человек!

Отсюда его бесконечные выступления в клубах книголюбов, в еврейской общине, в газетах, в своем родном институте.

* * *

Дважды я приезжала в Киргизию — в гости к Лёне и его жене. И я своими глазами убедилась, что человеческая притягательность осталась неизменной. Он и там сразу «оброс» друзьями самых разных национальностей и со всеми делился всем, что знал, чувствовал, видел. Он был очень активным не по должности, а от сердца — пропагандистом русской культуры. Меня потрясла его «русская» библиотека. (Где она сейчас? — Не знаю.)

В свои приезды я познакомилась с женою Лёни. Это была замечательная женщина, во всех отношениях, — и красивая, и прекрасная, и умная — тоже видный ученый-биолог. Я наблюдала (невольное), как они любили друг друга, любовались друг другом. И это любованье восхищало всех общих друзей. Милочка (так мы все звали его жену), к сожалению, раньше ушла из жизни. Но Лёня мне писал, что с течением времени его любовь к Милочке не угасает, не делается привычкой, как принято считать, а все более и более разгорается. Лёня очень полюбил и брата Милы, и всю его семью. Они всегда были дружны и очень внимательны друг к другу.

К слову. Брат Лёни, Феликс, со всей своей семьей уехал из Киргизии в Германию. Мне трудно судить о причинах, но я знаю наверное, что Лёня никогда никуда не хотел уезжать. Киргизия действительно, а не ради красного словца, стала его второй родиной. Там он и умер.

* * *

Несколько раз Лёня приезжал в наш Питер. В свой первый приезд он собрал у меня в доме всех друзей — бывших пермяков. Среди них были и пермяки, ставшие ленинградцами, и приехавшие на эту встречу из «уездных» городов, где жили и работали преподавателями институтов и университетов, учителями. Встреча была редкой.

Все вспоминали военные годы. Пели старые, сочиненные в Пермском университете песни (может быть, Лёнины?). Ничто не умерло. И главное — все любили Лёню. Любили так же, как тогда, когда он был студентом 2 курса.

* * *

Была у бывших моих студентов и еще одна встреча — через 25 лет — в Киеве. И снова — по Лёнинскому почину. Я, к сожалению, не могла туда приехать. Но — по всем рассказам о ней — никуда не исчезла их святая любовь друг к другу.

* * *

Помню (по рассказу Лёни), что во время своей «побывки» в Ленинграде он считал своим долгом, обязанностью — но главное, своей сердечной потребностью посетить уже больного, пребывающего на пенсии Б.П. Городецкого. И как Б.П. был и рад, и благодарен!

Я не буду здесь рассказывать о научной пятидесятилетней деятельности профессора, доктора педагогических наук Л.А. Шеймана. Об этом можно узнать из многих других источников.

Но — о чем бы я ни пыталась вспомнить — можно заметить, что все время невольно обращаюсь к одной главной для меня черте Лёни — его редкостному, необычайному таланту дружбы. Всех сдружить, объединить в служении культуре и человеку — вот нерв его жизни.

Д.К. Мотольская

Из статьи М.Г. Качурина, посвященной памяти Лёни Шеймана

...Рассказывают, что на его докторской защите, которая проходила в Кыргызском Институте педагогики, ему был задан вопрос: «Вот вы тут говорили о ваших учениках, продолжателях, последователях. Кто они и где они?» Сидящие в переполненном зале встали.

В день восьмидесятилетия Шеймана газета «Вечерний Бишкек» (в статье Рины Приживойт) писала: «Таких людей не бывает. А он есть. Нам крупно повезло».

Через полгода его не стало — 2 января 2005 года.

**Псалом
в честь божественной Дуси**

Завидует Мекка,
ревнует Медина:
Затмила их славу
Мотольская Дина.

Изверились люди
в кресте — Санта-Круссе:
Уж если и верить —
одной только Дусе!

В сомненьях сам Папа,
помазанник польский...
Он верит лишь Диночке —
пани Мотольской.

Мы НЕ возрастали
под словом Иисуса —
Но нас воспитали
спецкурсами Дуся.

Эстетики таинства,
духа вершины
Открылись пред нами
по манию Дины.

На крыльях ее,
вознесясь на воздуси,
Мы гимны слагали
божественной Дусе.

И рек Горбачёв,
атеист суперстойкий:
— Без помощи Дуси —
капут Перестройке!

Сомкнем же когорты
ее паладины,
Вокруг нашей милой,
единственной Дины.

И каждый пусть скажет:
— До риз я упыюся —
Лишь только б цвела
и сияла нам Дуся!

Милочка, Лёня

31.XII/84
Ленинград



Ксалом
в честь Божественной Дуся

Завидует Мекка,
ревнует Медина;
Затмила их славу
Мотольская Дина.

Нина Елина из Иерусалима

9.01.02

Дорогая Дуся!

Очень приятно было поговорить с Вами. Вы столько людей помните и так доброжелательны ко всем. Второе меня особенно поражает. Я уже неоднократно об этом говорила и писала. Теперь о другом. Я знаю, что Вас интересует и моя жизнь. Она нелегкая. Прежде всего потому, что положение в стране, которую я считаю своей, — трудное и тревожное. Фактически мы находимся в состоянии малой войны с людьми нечестными, жестокими, а главное с совершенно другой шкалой ценностей. Человеческая жизнь на этой шкале стоит на самом нижнем делении. Я вовсе не идеализирую наших соплеменников, они — многие — склонны к мошенничеству, часто бестолковы, и вздорны, и не слишком умны. Но жизнь они ценят и не только свою. Многие их недостатки вызваны невероятно тяжелой нашей историей, которая в течение веков калечила народ. Нас не только убивали, но и унижали. Это сказывается. Теперь о себе лично. Чувствую себя средне, главное — мой позвоночник хромает, из-за этого плохо хожу. Но жаловаться грех, все же работаю. В январе, если успокоятся стихии, эти дни у нас дождь, гроза и снег (!), закончу свой большой курс по истории западноевропейских евреев: Италии, Испании, Франции, Германии и Англии. Я его читала три года, он охватывает эпоху от V в. до XX в., включая Вторую мировую войну. Как я это сделала? Отвечу словами старого армянского анекдота — «сами удивляемся». На этом я кончаю, больше читать не буду. Если удастся, (...) постараюсь на основании подробных конспектов сделать книгу. Если хватит сил, годы свое берут. Но жизнь это ведь не только работа.

У меня здесь есть друзья. Среди них известные Вам Михлины (сегодня как раз должна приехать Наташа) и Григорий Карп, с которым мы почти ежедневно беседуем по телефону. С остальными познакомилась здесь, и Вы их не знаете. Из них лучшая — Лея Мушник-Гольдштейн живет в Хевроне, который подвергается постоянной опасности. Она умный, мужественный и очень хороший человек. Живет здесь с начала 70-х гг. Вот вкратце все о моей жизни. Хотела бы знать, как Ваша жизнь, кто к Вам приходит, можете ли смотреть телевизор? Дорогая Дуся, Вы знаете, что я Вас чту (это

слово употребляю только по отношению к Вам) и желаю Вам, чтобы жизнь дарила вам побольше светлых дней. Крепко целую. Ваша Нина.

Привет Вашим близким.

23/II 93

Дорогая Дуся!

<...> Перехожу к ответу на Ваше милое письмо. Вы спрашиваете относительно моего доклада. Удивительное совпадение: я его читала 13 января! Должна признаться, что я совершенно забыла, какая это дата, и только Вы мне это напомнили. Доклад прошел удачно, неожиданно и для докладчика, и для слушателя. Для докладчика, потому что здешние слависты занимаются серебряным веком, эмигрантскими писателями, кое-кем из «отверженных» и советскую литературу презирают. Зная это, я боялась, что мы с бедным Гроссманом сочувствия не вызовем. Неожиданно для слушателей, п.ч. они готовились к тому, что им предложат «дамское рукоделье» или бабушкины сентиментальные эмоции, а вместо этого оказался анализ формы, начиная с жанра и структуры рассказа и очерков (т.н. малых произведений) и кончая синтаксическими фигурами. Они даже несколько растерялись. На обсуждении хорошо выступил Серман, которого Вы, конечно, знаете, остальные как-то не очень по делу. Одно замечание было забавно: «Н.Г.! Вы поступили бестактно (sic!): читали о военных очерках людям, родившимся после войны и далеким от нее». Это напомнило мне моих инъязовских студентов, уверенных в том, что история началась в год их рождения! Через какое-то время после доклада мне выдали хвалебный отзыв. С ним, аннотацией на английском языке и с тремя смета-ми от трех издателей я должна пойти к важному должностному лицу, ведающему финансами, и внушить ему, что написана великолепная книга, без которой Израиль не проживет, и что он должен ее субсидировать. Внушать надо на иврите или, в крайнем случае, на английском, а я боюсь, что и на русском я вряд ли сумела бы проявить достаточную силу убеждения. Придется найти «сопроводителя». Все это, как вы понимаете, совсем не просто.

О моем сочинении пока все. Теперь о творениях другого человека, к сожалению, я забыла его фамилию. Фильм «Колыбельная» я видела, равно как и другой, не столь потрясающий, но тоже хоро-

ший фильм «Попугай, говорящий на идиш». Видела оба фильма в Москве и слушала выступление сценариста после демонстрации «Колыбельной». Должна Вас огорчить: меня поразило несоответствие между замечательным, сильным и поэтичным фильмом и... пошлостью выступления. М.б., по телевизору режиссер-сценарист выступал иначе. Здесь его очень не любят, п.ч. в литературных сочинениях он «лягает» Израиль. «Лягать» вообще-то есть за что, но нельзя забывать и того, что страна построена на крови и на костях и что на песке и на скалах вырастили зеленые плантации, лес, траву и цветы. Цветы, кстати, красивые, яркие и недорогие.

Перехожу к другой части Вашего письма. Очень огорчительно, что глаза Вас подводят. Это, я понимаю, тяжелое испытание. Что Вам сказали на консультации? Пишете Вы вполне разборчиво и недодписанных слов нет. И письма Ваши содержательные и интересные.

О том, что в России плохо, я знаю из разных источников, но каждый пишет по-своему, и каждый приезжающий рассказывает на свой лад. <...> Как жаль, что Вам так трудно ко мне приехать! Я совершенно не скучаю по России, но очень скучаю по людям. Хотя я уже обзавелась тут разными знакомыми, но, конечно, это не то. Надеюсь, что это письмо будет не так уж долго идти. Крепко Вас целую и обнимаю. Ваша Н.

18.06.94

Дорогая Дуся!

<...> Последние два месяца прошли у меня под знаком гостей. Гостям моим Израиль очень понравился, хотя я им и указывала на недостатки. Все относительно: Москва, по их словам, грязная, запущенная, унылая... На самом деле и здесь живется нелегко. Все ругают бюрократию, а, на мой взгляд, главный порок — это отсутствие настоящей бюрократии. Беспорядок и безделье в учреждениях потрясающие. Как я уже писала Тане, невольно вспоминается грузинский фильм «Голубые горы». Последний эпизод: в юридической конторе, куда я обратилась по поводу книги, куда-то задевали папку с моими документами! Но чтобы Вы представили себе, как это все происходит, попробую этот эпизод описать. Прихожу к концу приема, принимают. Передо мной расстроенная чем-то женщина садится перед русскоязычной юристкой, полной, пожилой дамой,

плачет, ничего не может сказать. Юристка (собственно, скорее секретарь), видя меня через открытую дверь, зовет: «Заходите!» Вхожу — «Я по поводу издательского дела...» Она (радостно): «Я вас прекрасно помню!» — Я (укоризненно): «Я от вас так и не получила направления к нужной мне юристке, а уже прошло 3 недели, как я была на приеме... (фамилию ивритоязычного адвоката, конечно, не помню. Секретарь Берта — фамилия неизвестна — выступала в качестве переводчицы)». «Да, да. Так не получили? А какой № вашего дела?»

Тут выясняется, что я, идя не из дома, не захватила их предыдущего письма. — «Да, как же без номера? Ну, ничего! Удостоверение личности есть? Сейчас найду». Уходит. Вторая клиентка продолжает плакать. Берта возвращается. «Нашла номер! Только вот дела не найду! Сейчас поищу. Это хороший знак! Может, лежит у начальства?» Ищет еще, не находит. «Ничего, подождите немножко. Сейчас придет мой муж. Я ему скажу, чтобы он поискал». Заходит муж. Она дает ему соответствующие инструкции. Заинтересовавшись происходящим, вторая клиентка перестает плакать. Я выхожу в коридор. Муж ищет.... Не находит. Берта зовет кого-то, кто, по-видимому, скрывается в глубинах. Посылает за ним мужа. Нет, его нету. — Ко мне: «Заходите! Вы знаете (извиняющимся тоном), у нас тут один человек всегда все находит. Но он уже ушел! Приходите в понедельник, когда у меня прием (т.е. через 6 дней!) Я обязательно найду». Я (пожимая плечами) — «Ладно!» Она — «Спасибо. Я вам так благодарна, что вы на меня не обрушились! А то все на меня кидаются, кричат, за все отвечаю». — Я сочувственно киваю головой. Клиентка улыбается. Вот так. Что скажешь? А как Вам нравятся уличные сценки? Иду по здешнему Арбату, на улице столики маленького ресторана. Я ни на кого не смотрю, поглощена своими мыслями. Вдруг кто-то окликает: «Гверет» (госпожа). Смотрю: древняя старушка сидит за столиком и завтракает. — «Пожалуйста, садитесь со мной позавтракать!» — Я быстро перехожу на английский — «Благодарю, но меня ждет подруга». Она (по-английски): «Но м.б. все-таки позавтракаете? Мне очень много!» Я понимаю, что ей хочется с кем-то поговорить. От завтрака отказываюсь, но за столик сажусь, и она рассказывает мне историю своей жизни. Она из Венгрии, была в лагере смерти, выжила (работала), вся семья погибла... Она — одинокая, есть друзья, но они не пони-

мают, что она пережила. Через несколько дней прохожу по той же улице, но уже не одна, а с соученицей по кружку иврита. Присаживаемся (улица идет в гору) на два пустых стула, стоящих лицом к тротуару; столика перед нами нет, за нами поперечный переулок. О чем-то разговариваем. Вдруг кто-то тычет мне в спину. Поворачиваюсь. Оказывается, за нами в переулке — столик. За ним сидит старик, спиной к нам. Но сейчас он повернулся и обращается ко мне на полузабытом русском языке. «Гверет! Я хочу, чтобы вам было хорошо и чтобы вы были здоровы!» Затем снова поворачивается спиной и продолжает завтракать. Правда, милый? А наряду с этим много всякого безобразия. Подрядчики ведут себя по-хамски с немолодыми подчиненными (в частности, один такой кричал на Гришу, но Гриша дал отпор). Хозяева иногда недоплачивают, особенно женщинам. Правда, с моими знакомыми этого не было. В общем, страна восточно-западная, где странным образом смешались социализм и капитализм, многочисленные этнические группы, религиозные сообщества и вполне светские партии и клубы.

За исключением Юли, которая опять без постоянной работы, и это очень плохо, наши общие друзья, в общем, в порядке.

В заключение хочу Вам сказать, что Ваше мужество и доброта меня так поражают, что даже слов нет. Будьте здоровы, благополучны и пусть ваши глаза видят.

Целую Вас. Ваша Н.

Письма Инны Альми

5/1-74

Дорогая Дина Клементьевна!

Сердечно Вас поздравляю с днем рождения и с Новым годом! Простите, что с опозданием. Большое спасибо Вам за подарок. В свое время «Гамлет» в исполнении Рецептера мне очень понравился. Понравились и его работы по Достоевскому — «Бобок» и «Сон смешного человека». Когда поправлюсь и буду дома, вдумчиво прослушаю «Гамлета» снова, чтобы глубже понять и Шекспира, и мастерство Рецептера.

Эмочка мне часто рассказывает о Вас, так что у меня возникает чувство постоянного общения с Вами, полного доверия. Во время своей болезни я неоднократно думала о Вас, хотела бы многому от Вас научиться — и в плане творческой энергии, и в человеческом. Вы, кажется, долго ухаживали за своей больной мамой. Я же часто бываю виновата перед своей мамой — принимаю ее заботу, а сама мало ее берегу.

Я рада, что Эмочка оставила мне Вашу фотографию, на которой Вы сняты за работой — на лице Вашем характерная для Вас мягкая, добрая улыбка.

Крепко Вас целую и желаю всего самого доброго.

Ваша Инна А.

15/1 76

Дорогая Дина Клементьевна!

Вчера получила Ваше традиционное новогоднее «послание». Спасибо за все то, что оно в себя вместило. Стало хорошо и тепло. Весь вечер было как-то умиротворенно на душе. А для меня, особенно сейчас, это очень много.

Все эти дни проходят как-то во внутреннем общении с Вами. Был у Саши в Музее изумительный чеховский вечер, на котором делала сообщение Эмма, а я сидела рядом с Милой (жена Вашего покойного одноклассника). Вечер был очень необычным, тон задал А. Эфрос своим почти трагическим выступлением. Мы все вспоминали о Вас и очень жалели, что Вас не было.

Где и как Вы?

* * *

Всегда любили, всегда будем помнить то неповторимое, что не-
сла в себе Дина Клементьевна, щедро одаривая нас. Инна Альми,
владимирские друзья.

23.05.2005 (телеграмма в день похорон)

Разные письма

* * *

1.02.97

Дина Клементьевна, родная!

Как хорошо было получить письма, написанные несколько дней
назад, можно сказать, «с пылу с жару», и каким сюрпризом для
меня было Ваше письмо. Столько лет мы сверяли свой взгляд на
окружающее с Вашим, и всегда Вы ориентировались лучше и пони-
мали все глубже, чем мы. А сейчас мне так грустно было читать в
Вашем письме о том, о чем постоянно думаем: бог знает, на сколько
этот «откат назад». Опять «перекрывают воздух» — но как же вы-
живут люди? Мы совсем не можем переключиться на окружающую
чужую жизнь, следим за тем, что творится «дома». А для понима-
ния того, что происходит вокруг, наш немецкий еще слишком плох.
Правда, одна знакомая, которая живет здесь много лет, считает, что
это наше счастье — не понимать сейчас того, что пишут в газетах и
говорят по TV. Мы выбрали не лучшее время для покорения Евро-
пы. Ситуация с работой почти безнадежная (я все же оптимист, от-
сюда это «почти»). Безработица — для немцев — измеряется боль-
шими тысячами. Что говорить о нас?

Дина Клементьевна, представляю себе, как Вам тяжело от того,
что подводят глаза. Может быть, нужно какое-то лекарство, кото-
рое существует здесь? Тогда срочно напишите! Но я подумала, что
сейчас, когда читать можно только чуть-чуть, у Вас появилось вре-
мя, чтобы писать — о себе, о людях, которые Вас окружали, о том,
«чему свидетелем Вы были». Не сомневаюсь, что это была бы очень
интересная книга. А для технической работы, переписать, пересту-
чать на машинке, Вы бы легко нашли помощников.

Я очень скучаю — по Ленинграду, по нормальной жизни, по возможности прийти к Вам. Если — и как только — появится работа, т.е. какая-то почва под ногами, приедем хоть на чуть-чуть.

Целую и обнимаю. Марина.

Бэллочке большой привет.

* * *

1.02.97

Дорогая Дина Клементьевна!

У Вас — легкая рука: только Вы нам пожелали «творчества, просветительства», как это пожелание осуществилось: мы стали читать лекции в клубах ветеранов и пенсионеров. Прочитали «дуэтом» — «Поэзию военных лет», а Л. М. «соло» лекцию об Эренбурге, готовит Гроссмана. Слушают хорошо, а мы почувствовали себя в своей тарелке.

О Твардовском мы с грустью узнали из заметки В. Кардина в «Московских новостях»: в памятные дни о нем не вспомнили достойно. Поэтому то, что Вы о нем написали, — особенно радостно. Помним Ваши рассказы о встрече с «Новым миром» в Выборгском Доме Культуры. Помним, что в Вашем книжном шкафу два портрета рядом — Ахматова и Твардовский.

Эмма Полоцкая хлопочет в Москве по нашей просьбе относительно публикации писем И. Грековой: мы с ней много лет переписывались. Сама И. Грекова — Елена Сергеевна Вентцель с людьми не общается, и ее невестка Рита Петровна (ссылаясь на ее слова) заявила: «Не такая уж она великая писательница, чтобы публиковать ее письма». Приготовили публикацию по всем правилам — с комментариями и примечаниями, теперь нужно идти на компромисс — делать что-то вроде обзора.

В Ижевске собирают сборник воспоминаний о Борисе Осиповиче Кормане, послали туда свои записки о встречах с ним.

В декабре мы были в Иерусалиме на международном конгрессе «Иерусалим в славянской культурной и религиозной традиции». Организатором конгресса был наш общий знакомый Сеня Шварцбанд. Познакомились с Ильей Захаровичем Серманом и Софьей Давыдовной Гурвич-Мицинер.

Дорогая Дина Клементьевна, мы желаем Вам и Вашему «секретарю» и другу Ире всего самого доброго. Рады будем Вашим письмам.

Ваши Л. Левитан, Л. Цилевич.

* * *

1/II 98

Дорогая Дина Клементьевна!

Рецензию мсю о И. Грековой, наконец, допечатали, и я Вам ее посылаю. Получилась не рецензия, а, действительно, «разговор на литературные темы». А лекция, которую я читаю на ту же тему — «И. Грекова и ее «новый» роман «Свежо предание», — содержит разговор не только о литературе, но и о событиях тех лет, которые так ясно вспомнились при чтении романа. Получилось нечто вроде «устных мемуаров»: как на объединенном партийном собрании филфака и Пушкинского дома Б.В. Панковский обвинял всех коммунистов факультета в гнилом либерализме и кричал с кафедры: «Нужно прямо сказать: эйхенбаумовщина, гуковщина, бяловщина — это антисоветчина или не антисоветчина?»; как Д.С. Бабкин, ехидно улыбаясь, говорил о Павле Наумовиче Беркове: «Он, конечно, не такой матерый, но из той же стаи»; как И.Д. Лапицкий, не отрицая того, что написал донос на Гуковского, говорил: «А что мне было делать? Все знали, что он ко мне благоволил и меня поддерживал» (это было уже в 1956 году). Григорий Абрамович Бялый — уже в 70-е годы — рассказывал мне: «Ночью раздается телефонный звонок. «Григорий Абрамович, говорит Лапицкий. Простите меня!» Спрашиваю: «Что, и на меня тоже?» «Да, и на Вас тоже!»

Читаем еще лекции о Михоэлсе. Здесь, в Израиле, 50-летие его гибели игнорировали, стыд и позор! Россия, к ее чести, провела великолепный театральный фестиваль. В нашем ветеранском клубе выступали живущие в Хадере племянник Михоэлса с женой, я рассказывал о том, как в Даугавпилсе мы — Общество еврейской культуры — боролись за переименование улицы Молодежной (на которой — дом, где он родился) в улицу Михоэлса, как устанавливали на этом доме мемориальную доску и барельеф. Это было в 1990 году, к столетию со дня его рождения.

Слушатели наши — в большинстве народ интеллигентный, есть бывшие студенты-герценовцы, правда, не филологи.

Будьте здоровы, дорогая Дина Клементьевна, мы с Лией желаем Вам всего самого доброго.

Ваш Л. Цилевич.

11 января 1975

Дорогая Дина Клементьевна!

Простите, что так долго не отвечал на Ваше очень милое поздравительное письмо. В эти дни подведения предварительных самоитогов (не оч. веселых) каждое ободрение драгоценно, а Ваше — больше, гораздо больше, чем многие другие. Я впервые видел Вас на каком-то оч. давнем (не последнем!) юбилее Десницкого и тогда же почувствовал Вас и поверил Вам. А после этого так много воды утекло, мы с Вами были близко и все же далеко друг от друга, но всегда при каждой нашей мимолетней встрече и без встреч мои мысли о Вас были неизменно светлыми.

Простите за эту сентиментальность и примите мою глубокую благодарность за письмо и мое сердечное поздравление с Новым годом.

Ваш Д. Максимов.

30.03.72

Дорогая Дусенька!

Хочу тебе рассказать о «Василии Теркине». Позавчера Люба купила у какой-то женщины в метро два билета на откидные стулья, правда, 5-й и 6-й ряд, на «Теркина» в театр Моссовета, и мы вчера пошли. Сима мне на вчера же предложила билет в театр Сатиры, тоже случайный, на комедию «Проснись и пой!», и я решила отказаться, хотя на эту вещь огромный спрос и перед входом толпы. Конечно, хорошо бы увидеть обе вещи, но, к сожалению, такое неприятное совпадение. В театр Моссовета зрители шли тихой струйкой (а у Сатиры — столпотворение, театры рядом), но он оказался абсолютно полным. На общей, недельной афише у театра написано «29-е марта — спектакль будет объявлен особо» и рядом на листе бумаги красными чернилами «Василий Теркин». Когда мы вышли из театра, этого листа уже не было. В театре большинство седовласых джентльменов и дам, даже с бриллиантами, и было видно, что многие между собой знакомы. Но, ожидая Любу у входа, я видела, что привели попарно две большие группы подростков — человек по

**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ТЕАТР ИМ МОССОВЕТА**

Памяти А. Твардовского

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

Сценическая композиция К. Воронкова
по мотивам книги А. Твардовского

Редакция театра

Режиссер — **Б. ШЕДРИН**

Художник — заслуж. художник РСФСР
А. П. ВАСИЛЬЕВ

В СПЕКТАКЛЕ ЗАНЯТЫ

В. Бутенко
В. Демин
Л. Евтифьев
Ю. Кузьменков
А. Леньков
Е. Стебляев
О. Щетинин

Партия баниа — Ю. Авдеевко

Пом. режиссера **Н. Б. Швецова, М. Д. Вишнякова**

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА
народный артист СССР, лауреат Ленинской
и Государственных премий СССР
Ю. А. ЗАВАДСКИЙ

20–30. В фойе спускался с потолка великолепный портрет Твардовского, к нему прикреплена маленькая хрустальная ваза и в ней алые гвоздики. На сцене семь Теркиных в солдатской форме на голлом деревянном помосте, вдали, в глубине сцены, три ствола сосен без кроны. Музыка из знакомых военных песен, прерываемых артиллерией и самолетами, а на сцене семь Теркиных рассчитывают текст, и мне показалось, что все очень хорошо и интересно. Под конец второго отделения не по центру сцены спускается портрет Твардовского (молодого, в военной форме тех лет начала войны). После конца спектакля гром аплодисментов, выходит режиссер (как видно) и после нескольких минут аплодисментов он и все Теркины поворачиваются к портрету и ему аплодируют, тут уж публика не отстает. К этой истории могу еще добавить, что пару недель назад Витя купил в Университете билеты на 21-е марта, но когда они пришли в театр, им показали вместо Теркина «Поющие пески» по Лавреневу. Пьеса им понравилась, но отмена «Теркина» очень

огорчила. Вот и все, Дусенька. Мне понравился твой голос при последнем разговоре.

Будь здорова. Целую тебя.

Самые наилучшие пожелания Маратовцам. Я думаю, Розалия Семеновна понимает, что она входит в их число.

Всего хорошего!

Дуся.

P.S. Посылаю тебе программку.

Письмо из тюрьмы

24/3 – 85

Уважаемая Дина Клементьевна, здравствуйте!

Извините, что опять отнимаю у вас время, но не ответить на письмо не могу, а кроме того, жажда общения с людьми похожего образа мыслей, с людьми, которые могут гореть: чувствовать, понимать и т.п. — так вот, эта самая жажда не позволяет остаться равнодушным и не выразить почтения еще и еще раз за то, что эти люди есть, что они своим бытием зажигают энтузиазм к жизни у людей отчаявшихся, малодушных, сбившихся. Потому-то, уважаемая Дина Клементьевна, я и посягаю на ваше время и говорю вам свое. огромное-огромное спасибо за письмо, которое, признаться, я уж было и перестал дожидаться. Теперь позвольте коснуться некоторых вопросов Вашего письма.

Начну по порядку.

Я очень рад, что нашел подтверждение своему восхищению деятельности Н.Г. Чернышевского. Оказывается, сверять свои ощущения и найти им подтверждения авторитетного лица — очень полезно и приятно, в некотором роде даже лестно (в последнем меня наверно можно понять без комментариев). Вы, Дина Клементьевна, пишете, что выполняли работу (раздел учебника о Чернышевском), пламенея, с внутренним волнением, с чувством восхищения перед личностью этого удивительного человека, и вам очень хотелось заразить своих читателей теми же чувствами, которыми горели сами...

По всей вероятности, чувство ответственности за создание как можно точного портрета деятельности исторической личности, каким является Н. Г. Чернышевский, — не покинуло вас. И тут нельзя не восхищаться вашей смелостью, которую обнаружит самый незаурядный читатель. Но апогеем восхищения Вашей работой является тот факт, что вам все-таки удалось наладить взаимосвязь с читателем именно так, как это было и вами задумано, как именно вам этого «очень, очень хотелось». Ведь это и достижение цели, и радость, и творческое удовлетворение. Это и признательность вам тех читателей, кому вы посвящали и свою работу. Потому-то я не могу не сказать вам еще и еще раз: спасибо!..

Теперь о вашем представлении моей личности и моем пути. Как ни прискорбно сознавать, но ваше определение становления моей личности — истинно!

Большую часть своей жизни я жил подражанием.

К счастью, окончив среднеобразовательную школу, встретившись с литературой, я открыл для себя совершенно иной мир, иные желания, иные цели. Сам стал иным человеком. Снимать ответственность за содеянные поступки самому мне не дано, спихивать же на кого-то свои грехи, ссылаясь в этой части на неподготовленность гражданского долга, — ложь. Объяснять свою «деятельность» романтическим увлечением — стыдно и глупо. Остается одно: вдохновлять в себе оптимизм, повышать уровень знаний, воспитывать в себе волю и человека с положительными качествами, не быть рабом прихоти, словом, надо многое, но главное, по возможности быть честным человеком. Пользуясь поддержкой вашего ко мне расположения, я не боясь говорю, что: буду им! Пусть будет по Некрасову: «поэтом может я не стану, но гражданином быть обязан».

Кстати, о поэзии и литературе. Здесь в отношении литературы, особенно учебной лит., — голод! Отчасти спасение приходится искать в журналах, в которых также о методике самообразования пишут «с натяжкой», очень скупо.

Иногда бывает, берешься за изучение какого-либо предмета (вопроса) и обнаруживаешь собственное бессилие в том, что взяться-то как раз и не знаешь с какого конца. Так покрутишься, этак повернешься, и вдохновение исчезает, наступают тяжелые дни — сознание собственного бессилия, разочарование в желании обрести знания. Когда случается подобное непосредственно со мною, я ста-

раюсь переболеть это время в рифмах; либо начинаю учить стихи, либо сам вызываю в себе искусственно вдохновение и рифмую, кажется помогает. Вообще-то рифмы помогают во многом, это я опробовал на практике.

Что же касается вашего отзыва на мои стихи, то я и сам знаю, что заявки они богатой не спросят. Я бы даже сказал на этот счет рифмами:

Стихи пишу я не для Славы,
Сей ореол мне ни к чему.
А лишь пишу их для забавы,
Чтоб грусть развеять и тоску!

Кроме того, я целиком с вами согласен, что занятие подобного рода дает человеку гораздо больше для души, для интеллекта, чем например, (находясь здесь) может дать вообще безделие или, что совсем плохо, нарушение режима содержания. Хотя в прошлом — я злостный нарушитель и законов, и режимов. В своей спеси подражал историческим личностям различных эпох. Так, например, увлекшись азартными играми в карты, я не забывал о том пороке в биографии Пушкина. Совершая уголовное преступление, подсознательно жил во мне Ф. Рабле. Соблазняя девиц и женщин пользовался учением французских писателей, подражая героям их произведений.

Узнав от Салтыкова-Щедрина, что лицемерие является положительным качеством человека, я изучил, впитал его совершенно, тут я обязан Пушкину и его «Онегину».

Встретившись с советской литературой, мое эстетическое образование впервые начало проявлять следы формирования, ибо до этого я жил «картинками», чувства и эмоции не подлежали анализу мышления и соб. критике, но тут я обнаружил (однажды при чтении биографического романа, венгерского или чешского писателя по фамилии, если не ошибаюсь, Рудольф Родоушек — «Братство», читал который во время отбытия наказания по второй судимости, 1974–1975 гг.) доселе неведомые мне ощущения. Уже много позже я узнал, что ощущения те были первым пробуждением в моем сознании чувства патриотизма и чувства интернационализма.

Затем я поступил в вечернюю общ. образ. школу, с помощью некоторых педагогов разобрался во многих каламбурах своего бытия, своей деятельности, своего назначения и роли в жизни. Но, увы,

научиться рассуждать, понимать — это только начало пути, к которому ведет образование, избавиться от дурных привычек, от пут «неписаных законов», порвать круг «дружков» и на все это обрести новое, заполнить освободившиеся места сразу и нельзя, и невозможно. У моего соотечественника Ш. Руставели есть рифмы:

...Слова, вошедшие в разум, всеильны,
Бессильны — вошедшие в кровь.

На сегодняшний день — я убежденный марксист. Я не навязываю своих взглядов и убеждений никому, но когда в моем присутствии некоторые молодые люди начинают заводить «трепологию» на тему антисоветизма и восхвалять «свободную Америку» — я выдержаться не могу. Начинается спор, который нередко заканчивается ссорой. Уже очевидно, многие мои знакомые из контингента осужденных проявляют мне открыто в лицо свое недовольство за то, что я не разделяю их антисоветских взглядов. В своих рассуждениях, в спорах, в злости они доходят до мини-мизантропии (в масштабах советских людей). Но злость разве может быть верным спутником трезвого мышления? Их доводы в большей степени не обоснованы, и злость их — хворь, восполнение мнимости, как обойденных, обиженных людей. Люди эти очень упрямые, никакие доводы их не убедят, покуда не дашь им в рот лакомый кусочек. А все отчего это? Да оттого, что в них переросло всякие границы воспитания лени и паразитизма. Им подай все готовое.

Заслуги они отрицают. — (...применимо сравнение — щедринские «Господа Ташкентцы»). По их выходит: научился писать, читать, считать, значит ты имеешь на все право — (их демократия), даже на право критики политической системы того или иного государства, а так как они чаще попадают под наказание законами отечества, то большей частью недовольны политсистемой отечества, ибо все зарубежное, показанное цветными фотографиями в журналах и кино, выглядит радужно, что естественно не может не возбуждать и не манить злого или озлобленного, то и сравнения отсюда соответствующие.

Преступник, как правило, — большей частью насыщен неудовлетворенностью и мстительностью чувств вследствие иллюзий, стажа отбытия наказаний и надежд, он отличается суровостью, дерзостью, неуравновешенностью, потому-то его влечет «свободный

мир» США. Находиться в числе этого контингента очень и очень неприятно, но возможно... — полезно.

На основании изложенного я выражаю противоположной стороне моим убеждениям рифмы, которые, собственно, писал на сборник стихов ростовской поэтессе Ел. Нестеровой «След волны». Начало стихов:

Вы смеетесь, называя меня марксистом!
Чту сегодня я их больше Некрасова.
Мне бы страстью хотелось быть с декабристами,
Быть поборником только прекрасного...

Кстати, о Некрасове.

Я даже с С.А. Есениным «поругался» за его высокомерное отношение к олицетворению Гражданина. Хотя Есенин — один из любимых мною поэтов. (Недавно даже написал на 90-летие со дня его рождения стихи.)

Есенин — замечательный стихотворец, замечательный молодой человек с отвратительно скверным характером. При его способности ощущать сколько же надо уметь пользоваться непочтительностью, чтобы высказать публично свое неуважительное отношение к одному из величайших людей — гражданину в полном смысле этого слова, поэту: «Подошва культуры русской поэзии».

Можно же высказать эту же мысль более деликатней, не обижая поклонников некрасовского таланта и память самого поэта.

Ведь чтобы написать те произведения, которые написал Некрасов, — пусть и при отсутствии у него гения поэтического таланта — надо иметь такую полную, добрую и богатую культуру, мало того, надо быть при этом и столь усидчивым, чтобы заставить выразить себя хоть как-то, хоть чем-то. Так что тут уж явно Сережа «липанул».

Уважаемая Дина Клементьевна, я наверно уже утомил вас, — простите!

Дело в том, иначе я писем писать-то не умею, по этой причине многие, с кем я когда-то имел переписку, уже не пишут мне. Я не осуждаю их, ибо понимаю: людям дорого время, временем я тоже дорожу, но когда есть возможность общения с людьми, которые умеют выслушать, пояснить и т.п., то готов бросить все дела и писать сутками. Конечно, в данном случае помня о вашем предупрежде-

дении в связи с немощным состоянием здоровья, я уже, вероятно, должен был давно закруглиться, но не могу не выразить приблизительно к полному свою признательность вам, как педагогу и влиятелю, благородному влиятелю на формирование взглядов на мир и его изменения.

Хочется сказать, что в письме — я, и письмо — ваша школа. Под влиянием вашей школы я стал ближе к лучшему, что делает человека красивым, раз есть я, есть и другие «я»...

Можно ли было отмолчаться мне на ваше письмо, которое также обильно насыщено колоритом молодости и живого участия? — нет, нельзя и отписаться конкретными, лаконичными фразами, стало быть, вместе с просьбой «простить меня, прошу и понять», хотя и первое и последнее знаю заранее, вы мне не откажите, Дина Клементьевна, на это мое письмо ответ не обязателен. Мне достаточно и того, что вы его прочтете, так что не беспокойтесь и не думайте, что я могу подумать о вас нехорошо.

Цитирую заключительную часть вашего письма: «Почему-то я думаю, что после отбытия наказания вы могли бы успешно работать в среде трудных подростков, что вы могли бы им помочь приобщиться к тем идеям, одним из источников которых является русская литература, к идеям, которыми вы несомненно дорожите».

Вот именно за это, может быть случайную уверенность (веру) в меня — СПАСИБО!

Я так рад был получить ваше письмо, и оно доставило мне такие огромные, неописуемые ощущения, за которые мне так не хочется расставаться с этим письмом, с вами.

Если же, вдруг, бывает же, вам захочется кому-то написать письмо... Я буду всегда огромно благодарен и рад его получению.

Может быть, я иногда, в знак глубокого уважения вышлю вам свои стихи. От всего сердца желаю вам по возможности лучшего здоровья и бодрого настроения, теперь — весна!

С самыми добрыми и искренними пожеланиями.

А. Борисов

Из писем

* * *

...Рад, что всю жизнь свою работал и жил вместе с Вами.

А. Груздев

29.XII.73

* * *

Помню всегда, бесконечно Вам благодарна и очень-очень люблю!

Обнимаю Вас.

Ваша Таня Киркина

* * *

Мы всем курсом влюбились в Вас с первого взгляда и так и остались с этим чувством...В письмах всегда вспоминаем Ленинград, как «римские каникулы».

ФПК, Воронеж

* * *

В Вас столько возвышающей доброты и сердечности, что трудно поверить, бывает ли такое в наше время.

Э. Слина

* * *

Так Вы душевно богаты и так счастливы любовью окружающих Вас людей и дальних от Вас тоже, тех, кто встретился с Вами на минуту, но навсегда запомнил Вас.

Примите мою благодарность за все, что Вы нам дали, за Вашу щедрую, умную и добрую помощь.

ФПК – 73

Очень жалею, что не успел попрощаться с Вами и сказать еще хоть несколько слов о той благодарности, которую испытываю и как слушатель ваших лекций, а еще больше – после разговоров с Вами.

В. Зарецкий

Желаю Вам 365 счастливых дней в следующем году.
Ваш ученик Сергей. 72 г.

Читаю в «Уч. записках» за 1955 год Вашу работу об историко-литературных взглядах Чернышевского и наслаждаюсь добротностью содержания и элегантностью стиля.

Счастлива тем, что Вы есть на земле. Всегда думаю о Вас с нежностью.

М. Хлебникова
4 марта 1976 г. Ростов-на-Дону

Дорогую Дину Клементьевну поздравляю с Новым годом!
В оном Вы обязуетесь:

- а) быть абсолютно здоровой,
- б) ежедневно принимать хорошую порцию радостей,
- в) сохранять свое всегдашнее очарование,
- г) любить старых друзей.

Остальное — ad libitum.

С уважением и любовью

Ваш <подпись неразборчива>

Письмо с фронта

20.10.39 г.

(Тетрадный листок в линейку)

Дина Клементьевна, горячий привет!

Один из бойцов моего подразделения на день выехал в Ленинград. Пользуюсь этим случаем и пересылаю это письмо. Думается, такой вид почты куда исправнее существующих форм и правил доставки писем нашей точнейшей связью.

Доехал вполне удачно, хотя в поезде страшно дремалось, так что я чуть-чуть не проехал своей станции.

На месте все по-старому: снова включился в колесо каждодневной круговерти, те же кудластые и угрюмые ели, тишина или шум

20.10.39.

Дина Клементьевна, приятный привет!
Одна из сабуров моего подразделения на дем
Линия в Д. ад. Я пишу тебе эти строки
и переписываю твою тему. Думаю, твой вид
наши, куда неправее существованию парм
и правое достояние твоей нашей мамочкой
Сидорова.
Ваша книга удально, книга в наше странное
драматическое, так что в путь - путь не прости
своей ситуации.
На великие дела по-старому! Слова Дина -
никогда в ~~своем~~ своем международном кругу

(в зависимости от обстановки), наше милое жилище и проч. и т.п. и, самое скверное, отсутствие возможности глотать культуру, дышать атмосферой сварливой, порой до противного мелкой литературной жизни. Полная изоляция. Полное бескнижие. Ничего не напоминает о том, что я литературствующий интеллигент. Так-то! Великолепие!

Успокаиваю себя мудрым осознанием необходимости. Я в ее царстве. Она владычествует, эта непреклонная необходимость. Никаких перспектив на скорое возвращение нет. Все идет так, словно мне и моим коллегам пребывать на новом поприще долго-долго. Такое ощущение. Новостей — никаких.

Мое пребывание (миг, мгновение!) в Ленинграде только разбредило, взбудоражило, растревожило то, что уже погрузилось за 40 дней в глубокое подспудие. Лучше бы не ездить. Контраст ведь силен, порой, как ничто и никто.

Дина Клементьевна, дружиче! Пишите, пишите чаще и больше. С нетерпением буду ждать ваших писем, ибо знаю — с ними в мою жизнь ворвется дыхание Ленинграда, науки, литературы, музыки и т.п. — всего того, что заполняло мою жизнь.

Пишите, Дина Кл!

Очень прошу простить за растрепанность и в почерке, и в языке. Тороплюсь, знаете, и проч. и т.п.

От всей души шлю свой боевой привет Софье Моисеевне. Желаю ей быть здоровой и совершенно недоступной для неравнодушных к ней всякородных хворостей.

Мой адрес: Действующая армия, Сортировочный пункт № 2, полевая почтовая станция 44, 28-й отдельный пулеметный батальон, 3-я пульрота, мне.

Пишите! Крепко дружески жму ваши маленькие ручки

/подпись (неразборчиво)/

От Ю. Кремлёва

8.10.63

Дорогая Дуся! Спасибо за письмо. Жили мы здесь с переменным успехом — мама болела. Расскажем о здешних прелестях и просторах — когда увидимся. Хочу и пейзажи тебе показать — сделал 26. Надеюсь, что солнце на них есть. Завтра отправляемся самолетом в Ленинград. А ты приготовь, пожалуйста, хорошую осеннюю погоду.

Будь здорова. Твой Юня.

От А. Дымшица

6.01.74

Дусенька, милая! Спасибо за письмо. Как обидно, что у тебя все нет и нет телефона. Я хочу м.б. приехать в Л-д на денек-другой. И ума не приложу, как с тобой свидеться. М.б. дам телеграмму со своим номером телефона.

Дусенька, ты упомянула, что денег мало. М.б. тебе нужны деньги? Мы — к твоим услугам. Бога ради, не чинись. У меня «бушует» диабет. Бросился на зрение, — левый глаз совсем плох. Да и вообще я совсем не хорош. Увы!

Наше трио целует тебя.

Твой Саша.

Письма мужа

5/XII-35

Дорогая Дусенька!

Получил твою телеграмму и послал сейчас же ответ. Думаю, что ты уже получила оба моих письма. Меня очень беспокоит твое состояние, я удивляюсь и тебе, и С.М., что ты не пошла до сих пор к Креверу. На занятия в институт ты ходишь с температурой совершенно напрасно. Сиди дома и понемногу занимайся. Сегодня иду еще раз для очистки совести смотреть комнаты. Все советуют этих комнат не брать, т.к. потом их обменять на что-нибудь лучшее будет невозможно, а жить и не видеть света грустно. Потом 5-й этаж и еще какой! Не представляю себе, как ты и С.М. поднимались бы туда. Подам Груздеву заявление на комнаты на Земляном Валу, они будут готовы весной, что удобнее и в отношении переезда. Самочувствие и настроение неважное, хотя и работается ничего. Сегодня куплю галоши. Принимаю хинин. Писать постараюсь каждый день, но если не будет какой-нибудь день письма, ты не беспокойся. Получил от тебя два письма. Очень рад, что ты пишешь регулярно.

Привет С.М. и всем от Николаевской.

Твой Сережа.



8/XII-35

Дорогая Дусенька!

Вчера от тебя письма не было. Судя по предыдущему письму, тебе стало лучше. Я остаюсь при убеждении, что у тебя была длительная ангина...

...Здоровье мое ничего, приступов нет. Лечусь регулярно — завтра назначено в амбулаторию. С квартирой многое выяснил. Окончательно отказался от комнат на чердаке. Оказывается, на них у меня единственного есть бумажка с разрешением президиума на обмен моей площади на московскую. Говорил с [нрзб.] подробно, он говорит, что помещения у них в этом году будет много. Я заявил, что хочу хорошую площадь, хотя бы меньшую нашей, на две комнаты с удобствами и на человеческой высоте. Мне ответили, что таковая мне будет. Скоро будут распределять на Земляном Валу и обещают дать там... Жду от тебя письма с известием, что у тебя появился аппетит и что ты работаешь над диссертацией. Прив. С. М. Твой Сережа.

15/XII-35

Дорогая Дусенька!

Получил твое письмо от 10-го. Ты опять разболелась! Это меня прямо удручает. Возмущен и тобой, и С.М., что до сих пор вы не были у Кревера. Как тебе лучше, так ты все забываешь и не идешь, а когда плохо, то идти нельзя.

Завтра иду покупать билет. Приеду либо 18-го либо 19-го. Это зависит от француженки. Она была больна и мои поправки к докладу не успела просмотреть. Если успеет все просмотреть за сегодняшний вечер (я к ней иду в 6 часов), то куплю билет на 17-е вечером, если нет, то придется с ней сидеть в выходной день, тогда возьму билет на 18-е.

Хочу скорее в Ленинград, чтобы как-нибудь уладить все с твоим здоровьем. Мне все кажется (вероятно, только кажется), что и ты и С.М. делаете все наоборот тому, что нужно.

У меня все по-старому. Начинаю скучать — хочется в Ленинград. Кончил писать и принимаюсь за работу над диссертацией. Боюсь, что эта диссертация меня сведет с ума. Никаких почти мыслей. Если то, что я надумал летом, тоже пуф, то не знаю, что буду делать. В Ленинграде повидаюсь с Груздевым насчет квартиры.

Ну, всего тебе хорошего, до скорой встречи. Как хорошо бы было, если к моему приезду ты бы поправилась.

Привет С.М. и всем на Николаевской. Как бабушка? На нее, наверное, ужасно подействовала тетина смерть.

Твой Сережа.

13/1-36

Дорогая Дусенька!

Доехали мы с Давидом хорошо. Без всяких приключений. Поезд в Москву пришел за 15 минут до расписания (это, оказывается, по-стахановски?)... Сергей здоров, весел и бодр. Решил и объявил мне, что на международном съезде в Осло в июле этого года он будет докладывать мою работу и тем самым будет иметь возможность рассказать и о своих работах. Дело в том, что на этом съезде можно докладывать только не напечатанные работы.

Мой доклад включен, к сожалению, на сессию на 21-е марта, придется потратить на него порядочно времени.

...Теперь о ваших делах. Обязательно своди С.М. к [нрзб.]. Вчера вечером она так кашляла, что у меня до сих пор стоит этот кашель в ушах. ...Напиши обязательно, как твое сердце и как ты себя чувствуешь. Буду ждать от тебя письма.

Твой Сережа.

НАШИ

учителя



В одном ряду с ней...



Ряд «незаконных» воспоминаний

И.З. Перчёнок

Память прихотлива. Когда набирала некоторые из воспоминаний девочек/тетенок/бабушек о Д.К. и нашем институте, то вдруг полез ряд «незаконных» воспоминаний.

Как же их назвать? Те, кто был на факультете рядом с Д.К., одновременно с ней, в каком-то определяющем смысле в одном ряду с ней. Те, с кем связано, думаю, то, что «вошло в состав» мой и, наверно, других.

Любовь Васильевну Исаеву (читала нам старославянский, но на лекциях спрашивала) боялись: в аудитории, где сидит сто человек, тебя вдруг просят ответить по читанному в прошлый раз. Но важнее «для внутреннего состава» другое: входим в аудиторию на следующий день после напечатанных в «Правде» «Трудов Сталина по языкознанию» (разгром Марра и его школы) и спрашиваем, как она к этому относится. Она в ответ: газеты не читала. Но в подлинности Марра как ученого ни минуты не сомневается — точных слов не помню, но за суть отвечаю. Твердость и бесстрашие ее в этот момент были прекрасны.

Очень немолода, но прямая спина, внутренняя собранность и твердость, хорошо поставленный голос, четкая дикция, спокойствие и уверенность в значимости (если не великости!) преподаваемого ею самого языка — выделяли ее на фоне других.

А из преподавателей первого курса я очень любила Бориса Яковлевича Геймана. Он читал западную литературу. Влюбленность была коллективная: Катя Ф., Ира Ф., Люба М., я, наверное, еще кто-то. Очень желали мы продлевать коротенькое общение с ним, бывшее на лекциях. Были сумасшедшие театралки, «бегали» на все спектакли Владимирова в театр Ленсовета. Вот и придумали позвать его на «Дон Карлоса» (разумеется, на Шиллера нам и следовало его пригласить). Естественно, в тот театр, по которому с ума сошли и ни одной премьеры не пропускали. Люба М. «Дон Карлоса» до этого посмотрела уже больше десятка раз и знала наизусть.

И вот мы окружаем пару в фойе. Б.Я. — огромный, похожий на доброго медведя огромной величины с колоссальной гривой, а рядом с ним не просто миниатюрная, а миниатюренькая женщина с зачесанными назад волосами. С совершенно обычным, но милым

лицом. Нас вокруг этой пары помню, а реакции Геймана на спектакль, к сожалению, не помню.

Слухи мы о нем распространяли невероятные. Было известно, что он прошел войну. И, самое естественное, быть ему на ней переводчиком, как это и было на самом деле (немецкий как свой) — нет, мы придумали (думаю, что придумали!) «врача-хирурга»: чем необычнее и героичнее, тем для нас, тех, лучше.

Вот так обожали Кирилла Павловича Лахостского, — он вел практические занятия по методике преподавания литературы, готовил с нами уроки, мягко и нежно разбирал их. Помню, как один раз после урока Гали Р. спросил ее: «Галина Семеновна, Вы не позволите мне провести в следующем классе урок по Вашему плану?» Кто же не знал, что план урока «Жуковский — переводчик» составлен был ими «вместе». Это было чудесно.

Помню, что был он балетоманом, но к балету, к сожалению, нас не приобщил. А вот в Выборгский Дворец культуры на вечер еще безымянных Р. Рождественского, Б. Окуджавы, Инны Кашежевой и др. мы ходили с ним вместе. И он предрек будущее Окуджаве и Рождественскому. У него не было семьи, до института после фронта он работал в вечерней школе. Ему с нами было хорошо, а уж про нас и говорить нечего. Мы же от полноты любви к нему, помню, подарили собрание писем А.П.Чехова, тогда этот коричневый восьмитомник только вышел.

Он же нам подарил свои методические «Уроки по «Борису Годуну», нестандартно каждой подписав, в тот раз, когда пригласили пить чай, разговаривать и выказывать свою влюбленность.

Свой первый на практике урок в 9-м «Биография Чернышевского» запомнился, наверное, только потому, что я как впялилась в окно, так все 45 минут окну и проговорила. Но во были ученики: не сбили!

Был у нас институтский клуб, куда приглашали знаменитостей. Заведующий клубом — Андрей Асатурович Ахаян. Еще на первом моем курсе он пригласил к нам «рыжую» Лилю Брик вместе с сестрой М. Людмилой Владимировной, на которых, особенно Лилю, смотрели сквозь «Володочкины» стихи. Смотрели — замирая от счастья приобщенности к великой жизни.

Очень понравилась нам обязательная на первом курсе экскурсия Исаака Израилевича Шнейдермана в Театральном музее. По-

просили еще одну. Устроили продолжение встреч с ним в качестве факультатива на дому. Интересно, что мне-то кажется, что дома мы встречались несколько раз, Ира Р. говорит, что один. Но так важна и насыщена была эта встреча, что превратилась в серию встреч.

Мы и не знали, что он был отстранен от преподавания в институте, просто редкая образованность и превосходное лекторское мастерство поразили нас. Вот, недолго думая, и сделали ему предложение продолжить лекции дома. А он согласился (что не удивительно, а непостижимо в 49 году!). Очень уж, видно, тосковал без лекций. Но был осторожен: пришел не один, а со свидетелем на всякий случай — вероятно, своей бывшей аспиранткой. Но нам-то это было совершенно неважно. Она же не мешала нам им восторгаться и его любить. (Записи лекций лежат до сих пор.)

Театр был нашим если не всем, то многим, очень многим.

И Комедия (акимовская) была в нашей жизни, и в БДТ с ночи стояли за билетами. Хорошо помню: вхожу в 10-й класс на урок.

— Где Лена Маркова?

— Она в очереди за билетами в БДТ. (На очередные спектакли продавали каждое 1-е, 11-е и 21-е число.) И никого: ни учительницу, ни одноклассников — это не удивляет. Где ей и быть, как не в очереди за билетами.

Но ТЮЗ Корогодского — это э-п-о-х-а. Роднее, и святее, и важнее места в городе для нас не было.

В ТЮЗ З.Я. Корогодского на Большую сцену и на Пятый этаж, когда открылся, ходили уже со своими учениками. Сцена на Пятом этаже крохотная. Как попадали? Не помню, как, но всегда попадали. И когда во время обсуждения какую-то мою реплику «Зина» похвалил, отложилось это в нутре как счастье. Многих тюзовских актеров любили больше, чем своих родственников. «Наш Чуковский», «Наш цирк», — были и нашими. Смотрели один и тот же спектакль по многу раз. Обсуждения этих спектаклей были не менее важны, чем сами спектакли. Один раз пролезли на репетицию Салтыкова-Щедрина. Замирали от счастья.

Какое это было место!... И что это была за жизнь! Огромно событийная и о-б-щ-а-я.

Я помню...

Л.Н. Маляренко

На похороны Сталина мы не поехали

Экзамен был в зимнюю сессию по теории литературы (или литературоведению?). Я сдавала раньше и одна, без группы, т.к. собиралась уехать домой в каникулы на подольше. Вероятно, в доказательство каких-то положений этой науки (?) я привела что-то из Веры Пановой, которая тогда была достаточно популярна. Или в моде. Д.К. спросила, почему я взяла «эту пресную Панову»? Не питая особых симпатий к этой, тогда положительно мной воспринимаемой писательнице, я тем не менее почему-то обиделась за нее и, наверное, вызываяще или даже грубо спросила в ответ: «Неужели лучше этот ваш (ручаясь за начало этой фразы, не могу с достоверностью утверждать определение, данное мной великому русскому...) то ли несчастный, то ли занудный Достоевский?» Д.К. посмотрела на меня с удивлением, но без гнева, не сказала ни слова, поморщилась, явно понимая, что глупо в подобных случаях убеждать глупых, вздорных девчонок...

Ранним утром 6-го марта мы пешком примчались на Московский вокзал и купили ворох билетов, чтоб ехать на похороны Сталина. Днем в коридоре ф-та встретили (я одна или еще с кем-то) Д.К. и ее подругу М.Л. Семанову, которая тогда была, кажется, деканом, сказали им об этом. Обе они стали убеждать нас не делать этого. Помню точно, что «он был бы недоволен», что «нужно всем оставаться на своих местах». Хотя и было сказано, что запретить они не могут. Мы билеты сдали, хоть и не все: кто-то, по-видимому, в Москву все же поехал. Ее называли иногда «обезьянкой». Но без обидного наполнения слова, а, по-видимому, за рост и цвет.

Любовь Васильевна Исаева

Конечно, Л.В. Исаева была настоящим борцом. Это было видно всегда и во всем. Говорили, что в молодости она была «законодательницей мод». И мы якобы понимали: «она была в Париже» (и, как у Влад.Сем., «И, кажется, не только в нем одном»). То, что на консультации между экзаменами она твердо и небрежно сказала: «Выбросьте все про Марра и сдавайте» — не было беспринцип-

ностью или трусостью, как может казаться. Это было — неважно. Об этом не стоило говорить вообще. О работе Сталина. И когда я робко спросила, что же сдавать, если все выбросить, там, мол, ничего не останется (это было летом на 2-м курсе), она легко и как-то беспечно ответила: «Все остальное. Найдите». И больше — ни слова. Как будто все это было чепухой.

Вот на госэкзамене, когда Руднев упрекнул меня, что я не тот корень в слове нашла, а он гораздо емче, глубже, я, не желая дерзить, все же нагло удивилась, сказав: «Так это же по Марру будет — если так искать», он замахал руками (я отвечала ему отдельно от комиссии) и зашептал: «Все. Идите! Идите!» Мне поставили «пять», хотя я никогда на «пять» не знала (и не знаю) историю и технологию своего родного языка.

Борис Яковлевич Гейман

Конечно, мы все его очень любили. На 1-м курсе он был у нас куратором. И мы позвали его с нами в театр. Конечно, на Шекспира. И он, бедняга, пошел с нами. И кажется, даже с женой. Они сидели где-то отдельно. Но в антракте мы его разыскали и стали допрашивать. Он сидел на одной из любимых мной синей бархатной скамье, а мы стояли вокруг. Это же был Новый театр! (Который сейчас Ленсовета. И в котором давно нет таких скамеек. И даже нет таких укромных мест, где можно было счастливо и покойно сидеть и во время спектакля, и после него.). Давали «Двух веронцев». Из спектакля запомнилось потрясающее: Бубликов, который играл слугу, все время носил на согнутой в локте руке какую-то меховую тряпку, а в конце спектакля руку опустил, и тряпка оказалась черной кудрявой собачкой, которая побежала и провела на сцене время до финала.

Так вот, мы пристали к Гейману насчет «идейного смысла» этой пьесы, которого никак не могли обнаружить. Бедный наш учитель морщился, что-то пытался объяснить. А потом сказал, что это — «просто так», шутка гения, что не всегда и не везде нужно искать этот «смысл», что нужно просто смеяться, если есть над чем и хорошо сделано. Мы возразить не могли, но ответом и разъяснением не удовлетворились. Я помню, как что-то искала о «Веронцах»

в книжках о Шекспире. Там была какая-то невнятица, и я постаралась забыть, что гений может быть «безыдейным».

Еще: сдавала Гейману экзамен по зарубежной. В аудитории почему-то только два студента: я — отвечающая и Кира — еще сидит за столом и не готовится, а слушает меня: у меня по билету Шиллер! Кирка смотрит с радостью: ведь я знаю почти наизусть два разных перевода «Дон Карлоса»! А я — еле-еле мекаю. Не могу говорить о том, что люблю. Он смотрит на меня и страдальчески морщится: «Вы читали из Шиллера что-нибудь?» (Я читала — все.) Шепотом: «Да». Он снова так же морщится. Явно, думает, что не читала ничего и ставит мне «четыре» только из-за своей доброты и моей стипендии.

Зима. Мороз. Он давно уже не наш куратор, даже не преподает. Идем навстречу друг другу через двор перед главным корпусом. Он тащит в охалке раздутый от книг и бумаг портфель. Пальто на полной фигуре растегнуто, шляпа на макушке: наверное, идет на другой фак-т. Увидел меня издали (что я ему? Он и не помнит меня). Весь изогнулся, стараясь снять шляпу при занятых руках. Пыхтит, дотягиваясь до головы. Снял. Остановился. Теперь прижал смятую шляпу к портфелю и почти поклонился: «Здравствуйте». Обомлела: видела, как ему трудно далось это действие.

Сама остановилась: неудобно пройти просто мимо. Что-то спросил — не помню. А помню вставшие от мороза редкие волосы, красное лицо, без перчаток руки и искренняя радость. Не от «встречи»: от безмерной доброжелательности. Стало жалко его: очень холодно. Пошла быстро дальше, оглянулась. Он тоже оглянулся, большой, грузный, неповоротливый. Без шляпы. Зачем оглянулся на совершенно случайную студенточку? Он ко всем был такой — беспредельно внимательный. Больше не видела его. И в жизни никогда не видела такого беспредельно внимательного человека.

Вечер с Лилей Брик помню. Сидела сзади нее, дышала ей в затылок.

Вероятно, неприлично выглядела, т.к. дама, которая с ней пришла и сидела рядом (она выглядела попроще и была одета обычно), укоризненно и понимающе покачала несколько раз головой, глядя на меня. Лиля Юр. была одета для того времени экстравагантно:

что-то очень свободное, разноцветное; кажется, несколько ожерелий разных и перстни-кольца. Когда никто не выступал, к ней сразу мчался Дементьев Евг., который, кажется, был тогда в Ун-те не то деканом, не то зав. кафедрой. И вился вокруг нее, и любезничал, и заискивал, а она не надменничала, а была прохладна. Просто так. И я ревниво радовалась этому. И больше никто к ней не подходил. Лицо было спокойное, а глаза, и правда, «круглые да карие» и очень большие — в пол-лица. Хорошо помню, как я этому удивилась и долго потом представляла ее себе. Сама она не выступала. А когда я эту даму, улучив минутку, спросила — почему? — та ответила, что «ей нельзя».

А Л.В. Маяковскую мы с тобой встречали и ездили к ней в «Асторию», и ты еще перед лифтом сняла калоши, не помнишь, что ли? И возили ее к нам в ин-т на такси, хотя секретарь Союза писателей сказала, чтоб мы не смели ее приглашать, т.к она приехала только на выступления в Дом Ученых и во Дворец пионеров. А как мы попали к ней в номер, помнишь? Она при нас рассчитывалась с администратором, и я впервые в жизни увидела сразу так много денег. Когда в клубе была встреча и она вошла, весь зал встал. Это никем не было подготовлено. И она, войдя сзади, шла под аплодисменты, а я чуть не плакала. И Володя Гамолин читал свои стихи, которые у меня где-то есть. После этого я, будучи в Москве, была два раза у нее на Пресне (она же нас всех приглашала. У меня и фото есть: она пришла с еще одной старушкой, ленинградской приятельницей. На фото есть и Катя Филимонова).

Первый раз я приходила зимой, в каникулы, в 54-м, когда была еще жива Александра Алексеевна. А второй раз — Л.В. подарила и подписала мне книжечку мамы (та уже умерла) о детстве В.В. Я писала ей с Дальнего Востока, и она мне несколько раз ответила. А потом я обратилась к ней с бестактной просьбой, и она замолчала...

Памяти Н.Я. Берковского

М.И. Полянская

* * *

Уважаемая Дина Клементьевна!

Посылаю Вам мой первый опыт — мою статью, в которой нет и сотой доли того, что мне хотелось бы сказать. Что-то (а по-моему — так элементарная трусость) держит меня в тисках, и не могу переступить рубеж, после которого наступает счастливая свобода и раскованность. Возможно Вы удивитесь тому, что я посылаю статью вам — такому строгому судье? Но Вы — к ней причастны. Вы к ней имеете самое прямое отношение!

Лет 10 тому назад Вы пришли к нам, несмышленным первокурсникам, и заявили, что сегодня на факультете большой праздник: защита диссертации Н.Я. Берковского. И затем, со всей страстностью, на какую Вы только были способны, Вы рассказали нам о личности этого ученого так, что я, девушка из провинциального молдавского городка, совершенно потрясенная, тут же побежала слушать его лекции, и уже навсегда я стала его поклонницей.

Стало быть «виновница — Вы»!

Иногда я думаю: а что, если б Вы не подтолкнули меня тогда, — вдруг я не открыла бы его сама?

Дина Клементьевна! За Берковского, за любовь к литературе, за страсть, которой Вы заражали нас, — большое Вам спасибо!

Эта корявая статья — все, чем я могу Вас отблагодарить. Ее и посвящаю Вам!

С уважением — Полянская Мина.

P.S. Может, вспомните? Внешность моя примечательна: я очень маленькая, худенькая, черноглазая. Училась в одной группе с Парайской и Зинченко.

Мой адрес: Решетникова, д. 17, кв.70. Жду Вашего слова.

* * *

Тем, кто знал профессора Берковского, литературоведа, театроведа и критика, преподавателя ЛГПИ им. Герцена, трудно судить о нем беспристрастно. Знать его — значило любить. Его обаяние не укладывалось в обычные рамки.

Ответить на вопрос, что читал нам Наум Яковлевич Берковский (помимо положенного курса), чрезвычайно трудно. Писатель Алтаев неспроста посвятил ему свой роман «Леонардо да Винчи». Подозреваю, что тем самым он подчеркнул универсальность самого Берковского. Его работы, лекции и семинары — это поток глубоких и быстрых исследований от античности до Возрождения, от Возрождения до наших дней. Его критическая деятельность охватывала многие виды искусства: литературу, театр, живопись, скульптуру...

Он всячески стремился рассказать нам о том, о чем мало сказано другими, тем самым как бы восстанавливая справедливость. Студенты зачастую экспериментировали, задавая ему самые немыслимые, как им казалось, вопросы, но всегда оказывалось, что он и об «этом» много знал, а главное — имел продуманное компетентное мнение, тем самым бросая вызов принципу узких специализаций и одностороннего профессионализма. Он сам говорил, что судит о личности ученого по тому, насколько тот осведомлен в вопросах, лежащих за пределами его непосредственной деятельности. Невероятная активность этого человека порой шокировала людей, не обладающих столь универсальным умом.

Говорят, что хорошая лекция может дать заряд студенту на всю жизнь. Десять лет прошло с тех пор, как я и мои сокурсники слушали лекции Берковского. Но заряд, который дал возможность многим из них стать прекрасными преподавателями, остался. Не хотелось бы, чтобы опыт его лекторской работы был забыт.

Уже тяжело больной, он не в силах был отказаться от лекций в педагогическом институте. Он любил человеческие общения, дорожил студентами и с аудиторией в 200 человек говорил так же естественно, как и с привычным гостем, избегая ораторских приемов. Он почти всегда сидел, а в руках у него была палка, без которой уже не мог ходить. И тоном размеренным, полным внутреннего напряжения, драматизма, скрытой страсти, он раскрывал нам волшебную тайну сказок Гофмана, новелл Мериме, повестей Пушкина, рассказов Хемингуэя.

Он, что называется, создавал атмосферу той эпохи, о которой говорил. И пересказывал нам полузабытые опусы, неизвестные нам романтические сочинения, искусно, емко, тонко, но особым способом, как бы параллельно оригиналу, ставил вопросы, там не поставленные, досказывал там не досказанное.

Характерной особенностью его литературоведческого творчества (подчеркиваю — творчества) были парадоксы здравого смысла. Сохранилось впечатление от его метких, точных, выразительных фраз, которые, подобно неожиданному холодному душу, заставляли вздрагивать, от которых дух захватывало. Но уже казалось, что по-другому и сказать нельзя. Он был концепционистом, автором оригинальных толкований.

Приведу пример. Вот как он объяснял возраст Джульетты. «Разумеется, дело здесь не только в нравах старой Италии, — говорил он, — вряд ли Шекспир стремился к бытовой точности. Дата Джульетты у Шекспира трагическая. Четырнадцать лет — художественный образ. Тут представлено, сколько пройдено Джульеттой по жизни, сколько не пройдено, сколько у нее отняли непрожитых лет. Четырнадцать лет Джульетты — выражение оскорбительного дележа: как мало досталось жизни, как много осмелилась взять себе смерть. 14 лет Джульетты — тоже предъявление иска».

«Отказ от короны, — писал он, — это благороднейший и наивнейший из поступков Лира. У него честная иллюзия героя, будто люди не перестанут его по-прежнему чтить и после того, как он расстанется с королевскими регалиями. Лир не дорожит внешними признаками власти. ...Королем его сделала природа... Трагедия в том, что Лир ошибся — правда ошиблась».

Ханжество — вот чего Берковский не прощал в искусстве. Горьким упреком звучат его слова, обращенные к новеллисту Артуру Бруку, превратившему историю любви Ромео и Джульетты в странную мораль. «Артур Брук — храбрый моряк, — говорил Берковский, — с читателями своими был менее храбр и заявляет во вступлении, что Ромео и Джульетта, слушники перед родителями, сочувствием его, автора, не пользуются».

Любовью же Ромео и Джульетты — шекспировских — Берковский восхищался, ей он не переставал удивляться: «Любовь Ромео и Джульетты — чудо глубочайшей взаимности... Полнейшая взаимность, — следовательно нет и тени порабощения и рабства. Любовь Ромео и Джульетты — освобождающая. Каждый из них как бы получил от другого в дар самого себя». И далее он говорил: Шекспиру неведомо будущее раздвоение классицизма: здесь страсть, там долг. По Шекспиру, страсть и есть долг, могучее указание, в чем состоят закон и долг.

Так писал Берковский, так он говорил. Этими своими лирическими мотивами, полными поэтического обаяния, он делился с нами — какое это было счастье! Мы становились свидетелями того редчайшего случая, когда научное литературоведение поднималось до уровня изящной литературы.

В статье «Дон-Кихот и друг его Санчо Панса» (к спектаклю Ленинградского Академического театра им. Пушкина) он так описывает черкасовского Дон-Кихота: «Не только меч Дон-Кихота выглядел бутафорским — бутафорской выглядит и та рука, которой Дон-Кихот берется за этот меч. У Дон-Кихота руки и тело — теоретика. Руки связывают с внешним миром. У Дон-Кихота должны быть слабые руки. Голова у черкасовского Дон-Кихота время от времени кажется живущей отдельно. Это чуть-чуть фантастично: как будто бы на узких плечах, взобравшись на длинное человеческое тело, как если бы то был для нее насест, уселась печальная седая птица».

Чем не художественный образ? Нельзя не согласиться с тем, что чувство слова у этого человека было редким.

Кстати, о театре. О театральных рецензиях Наума Яковлевича нужно было бы говорить отдельно. Выше всего он ставил принцип естественности и свободы. Поэтому и любил так театр: актеры на сцене живут, а не прозябают, импровизируют, а не твердят заученные роли. Театр был для него царством сказочных возможностей, местом исполнения желаний. Любил он сцену и за то, что она стягивает в себе различные искусства и разные художественные эпохи. Вся его романтическая натура, все существо тянулось к театру.

Судьба спектакля, увы, недолговечна. Не суждена ему вечная жизнь. Она суждена рецензии. Рецензия должна быть продолжением спектакля. Но, к сожалению, рецензенты, «отбирающие» у читателя спектакль, — не редкость. Читатель из-за авторов таких статей может и вовсе не стать зрителем, ибо эти статьи — своеобразная антология штампов, хрестоматия общих мест. Книга Наума Яковлевича Берковского «Литература и театр» — подлинный памятник спектаклям, о которых он писал. Свидетельство Козинцева — лучшее тому доказательство. «Книга Берковского — явление в своем роде примечательное, — пишет Козинцев. — Больше всего она достигает удачи в улавливании того, что мгновенно ускользает. Я имею в виду игру актера, ход спектакля. Я испытываю к Науму

Яковлевичу глубочайшую признательность, мой «Король Лир», проживший из-за войны недолгую жизнь, остался схваченным в точности передачи замысла постановки на страницах статьи, написанной автором в 1941 году... Наум Яковлевич уловил сам воздух, атмосферу, свет и движение постановки».

Вероятно, Козинцев имел в виду описание спектакля, подобное этому: «На сцене было некое расширенное универсальное средневековье, поднятое до значения минувшей жизни вообще. Огромные безликие статуи железных рыцарей стояли по краям стены, недоброжелательные, страшные, как всякая слепая сила, отделившаяся от людей и бесосновательно сохраняющая человеческий образ. ... Дворец Гонерильи был красный, кирпичный, цвета свежей крови... Жилище, утварь, архитектура здесь преобладали над людьми... Колдники, варварские сражения, жестокое богатство, звериные нравы, весь моральный быт в трагедии режиссер и художник представили как серию тяжелых снов, ненатурально яркой небывальщины, которая тем не менее заставляет с собой считаться».

Даже эти отрывочные фразы, безжалостно вырванные мною из контекста и оттого много потерявшие, поражают красочностью описания.

Козинцев пишет: «В чем мастерство критика? Какими средствами достигает он своей цели? Наиболее простой ответ: словом. Критика Берковского — отличная литература, сильная изобразительностью... Сила Берковского <...> в подлинности чувства, которое он испытывает. <...> Я, пожалуй, рискнул бы на одно сравнение. Наум Яковлевич представляется мне дегустатором, величайшим знатоком тончайшего букета, привкусов, легких ощущений, шекочущих небо, чуть уловимых оттенков хмельного дурмана... Все знает и помнит он: священные гроздья Бахуса Древней Греции, сбивающий с ног хмель Рабле, рейнвейн и мозельвейн романтиков. И в театр Наум Яковлевич идет, как в подвал на обряд дегустации. Здесь тишина, каменные своды, старинные бочки. Здесь не слышно шума жизни...»

Признаться, последняя мысль Козинцева об удаленности Берковского от суеты жизни вызвала мое недоумение. Совсем наоборот. Через искусство Наум Яковлевич рвался в жизнь, и был он в своем творчестве романтиком в лучшем смысле этого слова. Привязанность его к немецкому романтизму — непростая дань величю его творцов.

«Романтики, — писал он, — не доверяли ничему, что отстоялось, уплотнялось, сложилось, принуждало, повелевало». Однако он дожил не только свободой их творческого выражения и тяготением к новизне, но и тем, что все это сочеталось с уважением к реальности, погоней за жизнью в ее многообразии, страстным желанием постичь, что ж такое — жизнь.

Здесь уместно вспомнить о любви Берковского к американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, любви страстной, трогательной, доходящей до ревности даже. Увы, не ведал Хемингуэй, что кроме И. Кашкина, столь почитаемого им, знал, пожалуй, не меньше его творчество неизвестный ему человек Наум Яковлевич Берковский. Для меня, например, как это ни звучит парадоксально, имя «мэтра», читающего (по выражению Козинцева) курс в тишине университетской аудитории, ассоциируется всегда с именем Хемингуэя.

Кстати, бывшие студенты ЛГПИ им. Герцена благодарны профессору за то, что он научил их читать и понимать этого сложного писателя, что рассказал им о Хемингуэе то, что, как впоследствии оказалось, было уникально, так как нигде ничего подобного они не читали.

Он любил в Хемингуэе не только писателя, чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, не только за принципиальную правду его (все это было само собой!), но еще — ценил в нем солдата, корреспондента, спортсмена, рыбака, охотника, страстного любителя корриды, Хемингуэя «с лицом, соленым ветром обожженным», «с дублеными руками в шрамах, ссадинах», овеянного всеми природными стихиями, он любил мужество его, жизнь его.

И, казалось, в его привязанности к этому писателю было что-то сокровенное, такое, чего нам уже невозможно было понять, а можно было только догадываться, когда он раскатистым басом говорил нам о «Зеленых холмах Африки», «Фиесте» и др.

Стареющий профессор с синюшными губами и не сгибающимися от болезни пальцами тянулся к Хемингуэю как к олицетворению полнокровной жизни. У Берковского не было возможности увидеть бой быков, он не совершал кругосветных путешествий, был далек от подобной экзотики.

Но вспоминается любопытный такой факт в его биографии. Любил он ездить в Ригу лишь затем, чтобы посидеть на ипподроме и

смотреть там на скачущих лошадей. Что было это? Мечта? Место исполнения желаний? О чем думал этот уже немощный физически человек на пороге смерти, когда смотрел на красивых, полных жизни животных? «Кто уследит в окрестном звоне, кто ощутит хоть краткий миг, мой бесконечный в тайном лоне, мой гармонический язык?.. Звенит и буйствует природа, я — соучастник ей во всем». А вот и Козинцев: «Не слышно шума жизни... Здесь тишина...» Нет, с этим согласиться не могу.

...В быту он был таким же, как и в творчестве своем. Был равнодушен «к степеням известным». Докторскую диссертацию защитил лишь в 1964 году, уступив настоянию друзей, хотя до этого было у него очень много печатных работ, каждая из которых достойна была этой высокой степени. Защитился он блестяще.

Был добр, лоялен, щедр (помогал нуждающимся студентам материально, так сказать, «из своего кармана»), гостеприимен в высшей степени.

«Живые возвращают мертвым память, — писал Гомер, — благодаря им узнают о них окружающие». Хотелось бы, чтоб Берковского знали, чтоб о нем помнили.

Отдельные сцены как знаки времени

И. В. Селиванова

...Отдельные сцены как знаки времени запомнились.

Вот «проработка» на общем собрании Василия Алексеевича Десницкого; его обвиняют в космополитизме. В своем вступлении к однокласснику А. С. Пушкина 1934 года он рассматривал его творчество в контексте развития мировой литературы. Главный его обвинитель — преподаватель советской литературы Платонов, предмет постоянных насмешек студентов: уж мы-то его знаем, он ведет у нас практические занятия. В. А. слушает обвинителя с застывшим лицом, никак внешне не реагируя, только непрерывно куря. Но когда слышит о своих «антипартийных настроениях», то презрительно бросает: «Это Вы-то — защитник партии?», накидывает свое неизменное длинное черное пальто и спокойно выходит из аудитории. Д. К. многим из нас рассказывала, что он на этом судилище (кто-то

помнит, что это было в соседней аудитории) успел ей сказать: «Ничего не говори», понимая, что она может кинуться его защищать.

Не забыть, с каким достоинством Любовь Васильевна Матвеева-Исаева пережила появление труда Сталина по вопросам языкознания. В день лекции ее спросили, что она думает об этом постановлении. А она спокойно ответила, что еще не читала его. Когда кто-то из студентов пересказал смысл статьи, то Л.В. (как вспоминает моя сокурсница К. Чернявская; я сама этих слов, к сожалению, не помню) сказала, что если человек отрицает значение теории Марра, то он или не читал его, или ничего не понимает в языкознании. Она скончалась в 1954 году, сохранив верность своему учителю. Ее ученики издали ее «Лекции по старославянскому языку». Редакторы — наши преподаватели: В.И. Кодухов и В.В. Степанова. До сих пор стоит она у меня перед глазами — высокая, немолодая, но красивая, с аккуратной прической, в длинном платье с неизменным белейшим шарфом — вся исполненная спокойствия и достоинства.

Помнится и другое. На сцене клуба — трое юношей. В центре — высокий, красивый студент курсом старше нас в длинной солдатской шинели — Алик Горловский; рядом два его товарища: Володя Гамолин и Феликс Перченок. Володя Гамолин — будущий основатель и директор музея Тютчева в Овстуге, Феликс Перченок — будущий историк и член московского «Мемориала». Оба они клянутся, что знают Алика как самих себя, ручаются, что он не космополит, а настоящий комсомолец. Алика Горловского обвиняли в том, что он скрыл, что его отец — троцкист и был репрессирован. Естественно, что заступничество друзей, пользовавшихся большим авторитетом на факультете, не помогло. Обвиняемый Алик был исключен из института, сослан в Караганду, где и кончил педвуз.

А как жил факультет и институт в 60-е и 70-е, можно прочесть в «Записках незаговорщика» Е.Г. Эткинда, в 1974 лишенного всех своих званий и снятого с работы в институте за то, что открыто симпатизировал А.И. Солженицыну.

Наставникам, хранившим юность нашу

Н. Н. Рубинштейн

Жанр некролога оказывается нестерпимо властным. Не вернуться. Не отвертеться. Не отложить на потом. Из свежей пробоины начинает бить артезианский луч памяти, но его пригибает приличие, норма, этикет. И они диктуют отбор. Посмертная маска все же сохраняет черты лица, с которого снята. Персонаж некролога почти не имеет соприкосновения со своим прототипом. Но состоит в родстве с персонажем предыдущего некролога. Память жанра сильнее просто памяти. Все наросты, узлы, уродства, корявости стесаны. Вместо ствола — столб.

Что-то такое происходит и со всем нашим прошлым, еще не остывшим, знакомым до последнего закутка, как родная коммуналка, но уже поступившим в обработку на прозекторский стол мемуаристов и историков. И его очертания на глазах меняются. Идет процесс очоления — превращение живого тела в труп. Это, с одной стороны, дает представление о том, что останется от нас потомкам, а с другой — приоткрывает, с чем мы сами имеем дело, обращаясь к тому, что считаем историческими свидетельствами. Эмигранту, у которого временная дистанция усилена пространственной отторженностью, это особенно нестерпимо. Тире между годом рождения и годом отъезда уже было репетицией ухода из жизни. Уже тогда прошлое было законспектировано, законсервировано и закопано вглубь в виде капсулы, с девизом — не забывать и не открывать. И только на этом условии жизнь, запнувшись и едва не сорвавшись, продолжилась и готова была без помех протекать сквозь безразличное будущее. Хорошо жить с замороженной душой. Если б она еще никогда не отмерзала...

Так и пишут, что на Западе, вне тисков советской цензуры, его творческая деятельность с новой энергией рассыпалась веером по всем конференциям и симпозиумам мира. И размаха, говорят, хватило и на всю Европу, и на всю Америку. И на триумфальное возвращение в любимый город — уже в последнее десятилетие. И это почти что правда. Но тут очень важное слово «почти».

Конечно, он нас ужасно подвел тем, что взял да вдруг и умер, оказавшись подвластным всеобщему закону. А мы-то надеялись, что он окажется исключением.

Я, конечно, говорю о Ефиме Григорьевиче Эткинде. Прошлым летом в Петербурге, в Малом зале филармонии, обветшавшем и обтерханном, хоть и со следами былой красоты, он стоял, привычно вбирая кафедру в свои объятия, без бумажки, вне регламента. Не то чтобы не изменившийся за сорок лет, но тем не менее, все-таки, несмотря ни на что, пусть не такой же, но тот же, абсолютно тот же, меньше всех ограбленный ходом времени... Один из немногих моих учителей...

Всю жизнь я завидую старшим и младшим — им было у кого учиться. Но тем, кому повезло войти в студенческую аудиторию в год двадцатого съезда... К тому же, город наш — Ленинград — едва ли не самый в пятидесятые годы запуганный и тухлый во всем Союзе. Ни столичных вольностей, ни провинциального уюта. Выдрессирован проработками, отутюжен постановлениями, затянут в идеологический мундир до остановки дыхания. Так на поверхности. Что под ней — первокурсникам поначалу не видно. В 1956-м верхнюю пуговицу мундира уже дозволено расстегнуть. Но вот разрешается ли дышать — не ясно. Новые правила игры едва прорезаются. Старые еще слишком хорошо помнятся. Похоже на игру в «Вам барыня прислала туалет»: «Что хотите, то берите, *да* и *нет* не говорите, черного с белым не покушайте, о желтом даже не вспоминайте...»

Но мы все-таки отправляемся на бал.

И я выбираю для первой курсовой лирику Тютчева. Милая, добрая знакомая Мария Анатольевна Шнеерсон едва не плачет: «Оставьте вы это, деточка — погубите себя навсегда!»

В неразберихе 56-го года, при перекройке гуманитарных факультетов из-за слияния Герценовского с Покровским, единственный раз допустили к студентам — на почасовой основе — Марка Наумовича Ботвинника. Он даже назывался «куратором группы». В чудный весенний день он повел нас на обсуждение первого тома «Всемирной истории» в академический институт на Васильевском. Там докладчик объяснил, что в своем разделе изложил две взаимоисключающие концепции, существующие в науке по некоторому вопросу, со всеми имеющимися обоснованиями в пользу той и другой. Поднялась из президиума дама — синий костюм, мужской галстук, перманент — сразу и дама, и ответственный товарищ, и сказала требовательно: «Нам не нужно двух точек зрения — нам нужно одну, правильную!» Марк Наумович ехидно и торжествующе раз-

вернулся к нашему выводу: «Вот за этим я вас сюда и привел. Чтоб вы это слышали».

Кажется, это в первый раз на моих глазах было подвергнуто уничтожению основополагающее для всей нашей жизни разделение вещей на правильные и неправильные.

Марк Наумович, с его сарказмом, колкостями, ядом вольнодумства, кратким тюремным опытом в прошлом и тотальным неприятием всего, что есть в настоящем, был как лампа, при свете которой в пыльных герценовских аудиториях мы смогли рассмотреть убогость нашего снаряжения. В его глазах оно ничего не стоило. Трюк, регулярно приносивший мне необходимую повышенную стипендию, не произвел на него никакого впечатления. Трюк состоял в эксплуатации исключительно цепкой на тот момент памяти, позволявшей на короткий срок запоминать дословно виденное, читанное и слышанное. Я без запинки отбарабанила ему *Учебника* *Хаммурапи*, что была включена в хрестоматию по Древнему Востоку. На что он сказал со сдавленным неодобрением: «Что ж, нельзя сказать, что Вы прошли курс, но можно — что Вы прочли учебник»...

Я ведь хотела про Ефима Григорьевича Эткинда...

Погодите... До Эткинда еще далеко, мы пока только на первом курсе. У кого мы учимся? Деканат в наши годы и еще лет десять-пятнадцать после, если не случалось справлять первое сентября на картошке, но, как правило, не случалось — картошка начиналась со второй-третьей недели — так вот, деканат заходил первого сентября с козырной карты, и первой лекцией для первого курса было всегда, или почти всегда, введение в литературоведение Дины Клементьевны Мотольской.

Она стояла, маленькая, волосы сзади уложены в две косички корзиночкой (стрижка, сделавшая ее похожей на курсистку, — это потом) и вскрывала неожиданно звонким, резким, как ножик, голосом печати молчания и умолчания, которыми во множестве была увешана наша тогдашняя жизнь. Несомненно, это было «введение», но только ли в литературоведение?.. Всякое важное событие — Рихтер, Монтан, Пикассо, Смоктуновский, Кафка, Бунин, Бриттен, Жерар Филипп, «Порги и Бесс» — это все культурные зарубки тех лет, — на завтра включалось в яркую речь, обращенную к полудетской аудитории, словно в ней, в аудитории, предполагалось равно-

правное понимание и сочувствие. Никому не посылали столько записок, никому не задавали столько вопросов, никого не окружали таким плотным кольцом в перерыв... И ни с кем не оставались так надолго — на всю остальную жизнь. Еще и сегодня к дому Дины Клементьевны стягиваются ниточки из разных городов и стран, от ее студентов разных потоков и разного разлива. Все у нас разное, и только одно нас объединяет: то, что именно ею мы были введены в пространство культуры, в пространство свободной дискуссии. По тем временам это было равносильно постановке дыхания.

Чем еще памятно начало студенческой пятилетки? Как тень того, чем она могла быть, но не смогла стать, прошли перед нами по разу большие люди убитой эпохи. Один раз на обсуждении первого тома его монографии о Пушкине мы видели Б.В. Томашевского; другой раз на очередной дискуссии о реализме присутствовали при том, как завкафедрой методики преподавания литературы А.М. Докусов с высоты единственно верной методологии наставлял Б.М. Эйхенбаума. Аркадий Семенович Долинин начал было у нас семинар по Гоголю, но после двух занятий оставил его — из-за болезни. В списках литературы не значились ни Гуковский, ни Жирмунский. О том, что Тынянов писал не только романы, мы узнали от Дины Клементьевны. Слово «компаративизм» еще звучало как бранное. Наш лектор по фольклору доцент Л.С. Шептаев снизил на экзамене оценку студенту, обнаружившему знакомство с книгой Проппа. Это не анекдот. Это время такое было — межеумочное. Даже те из моих однокурсников, что от руки переписывали стихи Пастернака, не знали имени его двоюродной сестры О.М. Фрейденберг, которая скончалась в год нашего поступления в институт чуть ли не на соседней улице. И нам ничего не говорило имя жившей в нашем городе Л.Я. Гинзбург. Только к четвертому курсу настало время лекций и семинаров Наума Яковлевича Берковского, на которые стекалось пол нашего института плюс кое-какая публика из Театрального. Ленинградская филологическая традиция, контуженная расправами конца сороковых, едва начинала оживать и не была нам слышна. Юрий Михайлович Лотман местом ее продолжения избрал Тарту. И лет через восемь Борис Фёдорович Егоров пришел с дудочкой к потерпевшим крушение инвалидам анкетных статей и провел в Ленинграде рекрутский набор для юрьевского университета. Но тогда уже весь пейзаж был совершен-

но другой. Стали — чем дальше, тем больше — возвращаться из-за запретной черты люди и книги подспудного времени. Так что младшие уже не были ничьи и ниоткуда, дворняжки без роду без племени. А мы были.

Но, говорят, дворняги, беспризорные уличные псы, остро чувствуя не один только голод, но и недостаток витаминов, умеют отыскать зеленую траву в расщелинах асфальта. Так и мы, сколько себя помню, были заняты добычей из-под официального гудрона того, что было под ним скрыто.

Кажется, на втором или, может, на третьем курсе я стала ходить на практические занятия по анализу французского художественного текста, которые вел Ефим Григорьевич Эткинд на факультете иностранных языков. По-французски я не знала и десяти слов, так что мне, казалось бы, делать там было нечего. Но не во французском была там сила. Сила была в преподавателе, который без бумажки и вне регламента осыпал аудиторию именами, сведениями, стихами — в подавляющем количестве русскими, привлеченными в качестве параллелей к французскому художественному тексту. И это были не только Тютчев и Баратынский, не только Бунин или Заболоцкий, но и Белый, Кузмин, Ходасевич, Мандельштам, Цветаева. В 1958–1959 это был ликбез, веревочная лестница через пропасть запрограммированного невежества. И столь же важны были широкий жест, артистизм исполнения, интонация доброжелательного превосходства и ироническая улыбка, обращенная не только к слушателям, но, вообще говоря, ко всему — к текстам, их авторам, к переводчикам, к распространенным мнениям и принятым оценкам. Ироническая улыбка сокращала дистанцию между священными текстами и участниками занятий. Большинству до той поры не случалось рассмотреть их со столь близкого расстояния. Эта опробованная в студенческой аудитории особая оптика обеспечила в 1963 году абсолютный успех книге Эткинда «Поэзия и перевод».

Эта книга возникла на пересечении двух кругов его деятельности — научного, филологического, и художественного, переводческого. В каком-то смысле, она подбивает итоги первому десятилетию без Сталина. После войны железный занавес и борьба с космополитами надежно ограждали нас от бацилл европейской культуры. Нарушители карантина впадали в грех «низкопоклонства перед Западом», и это было тяжкое идеологическое преступле-

ние. Низкопоклонством считалось любое упоминание о том, что данное культурное или техническое достижение пришло в Россию с Запада. Очень памятливы шуточки из первых оттепельных капустников: «Калоши изобрел тульский оружейник...», или «футбол — исконная вологодская игра», или «мы никому не позволим укладывать нашу науку в прокрустово ложе таблицы умножения». Книга «Поэзия и перевод», о перекрестном взаимодействии культур, сигналила, что карантин, хоть, может, и не до конца снят, но значительно ослаблен. Это вообще было время стихов и переводов, двух скоростных маршрутов возвращения к опечатанному прошлому и отрезанному пространству. Ефим Григорьевич Эткинд был для младших поколений проводником и на том, и на другом.

И тем же глубоким смыслом и легким стилем были наполнены вечера, которые он вел в ленинградском Доме писателей. Попасть на них было непросто и считалось большой удачей. Это называлось — «Устный альманах. Впервые на русском языке». И во-первых, там имели выход к публике вещи, которые пробивались в печать долго и трудно, вроде Камю или Кафки, во-вторых, там дебютировали молодые ленинградские авторы — вроде Геннадия Шмакова или Рида Грачева, в-третьих, там читалась сатира, а она, хотя и зарубежная, вроде Брехта, но воспринималась аудиторией совершенно как своя. И ведущий умело скользил по самой грани между наверняка нельзя и, быть может, можно, и всегда там присутствовал привкус крамолы, над чем так легко потешаться сейчас, но тогда каждый такой вечер казался некоторым завоеванием, особой точкой, достигнутой в борьбе за расширение культурного пространства.

Всё-таки и сегодня не стоит забывать, как ненадолго в России отпускают гайки. К 1968 году погода на оттепельную уже не была похожа. У Ефима Григорьевича — катился по городу слух — возникли неприятности из-за вступительной статьи к двухтомнику в Библиотеке поэта «Мастера стихотворного перевода». Не из-за статьи даже, а из-за одного предложения в ней. Приводили и предложение, заострив его — как оказалось, излишне — до формулы: «С середины тридцатых годов русская поэзия на 20 лет эмигрировала в перевод». Редакцию Библиотеки поэта трясли за фразу в гораздо более спокойной упаковке: «...между XVII и XX съездами русские поэты, лишённые возможности выразить себя в оригиналь-

ном творчестве, разговаривали с читателем языком Гете, Орбелиани, Шекспира и Гюго».

Тогда же, в 1968 году, в Ленинграде было написано стихотворение, к случаю:

«О иностранцы, как вам повезло. Вы в переводах гениальны дважды. Нам открывало вас не ремесло, Но истины преследуемой жажда. Благословляю этот плагиат, Когда, прибегнув к родине иной, Из Гете, как из гетто говорят Обугленные губы Пастернака. Когда дыханье не перевести От ужасов стоактного Макбета, Что оставалось русскому поэту? Раскрыть Шекспира и перевести...»

Татьяна Галушко не включала при жизни эти стихи в свои сборники. И Ефим Григорьевич — поразительное дело! — не знал об этом отклике бывшей герценовской студентки на его слова и дела. Я переписала для него это стихотворение уже в эмиграции, лет через десять после истории с Библиотекой поэта.

Заступничество Ефима Григорьевича за тунеядца Бродского, его дружеская помощь литературному власовцу Солженицыну были действиями того же плана — партизанскими боями в защиту культуры. По-видимому, власть считала его неслабым бойцом, раз она вынудила его уехать. И он был сильно задет тем, что его подшефные нобелевские лауреаты не находили для него впоследствии ни приязни, ни благодарности.

Отъезд из Ленинграда развернул перед ним по-новому проблему перевода. Это и есть главная трудность эмиграции — переход не только на другой язык, но и в другой контекст. Он, конечно, более других был готов к этому: этот еврей был русским европейцем и с Европой у него было все в порядке. Но и он, кажется, не ожидал глухоты, непонимания и отсутствия общего языка с российским эмигрантским самопровозглашенным начальством, с его обкомом, с его узкой мыслью, с его континентом и контингентом.

Он провел в эмиграции четверть века. И в последние десять-пятнадцать лет стал бывать в Петербурге и Москве не реже, чем в Америке или Канаде. Так что можно сказать, что ему удался не только прямой перевод, но и обратный.

Об авторах

Авлова Татьяна Григорьевна (вып. ЛГПИ 1959 г.). Учитель русского языка и литературы высшей категории; лауреат конкурса учебников Фонда Сороса («Культурная инициатива»); победитель районного и городского конкурсов педагогических достижений; соавтор учебников, программы по литературе «Введение в поэтику» и методического пособия «Антишпаргалка (из опыта работы)». Работает в Петришуле (школе № 222 Центрального района). Ветеран труда. Житель блокадного Ленинграда.

Алексеева Надежда Юрьевна. Окончила ЛГУ в 1990 г. Канд. филолог. наук. Сотрудник Пушкинского Дома. Автор монографии «Русская ода». Подготовила к изданию книгу «Третьяковские. Собрание произведений» (серия «Литературные памятники»).

Битюгова Инна Александровна. Окончила ЛГУ, канд. филолог. наук, доцент. Сотрудник Пушкинского дома. Автор многих работ, посвященных творчеству Чехова, Достоевского, Тургенева, Некрасова, а также комментариев к академическим изданиям трех последних.

Богачек Игорь Александрович (вып. ЛГПИ 1959 г.). Доктор пед. наук, профессор. Работает на кафедре управления образованием РГПУ им. Герцена. Автор книг и многих научных публикаций. Лауреат международной премии им. А. Г. Небольсина.

Гербильская Ирина Ефимовна (вып. ЛГПИ 1982 г.). Учитель русского языка и литературы высшей категории; отличник народного просвещения; победитель районного и городского конкурсов педагогических достижений. Соавтор учебников-хрестоматий «Тайны словесного искусства» (части 2, 3), программы по литературе «Введение в поэтику» и методического пособия «Антишпаргалка (из опыта работы)». Работает в Петришуле (школе № 222 Центрального района). Ветеран труда.

Дубшан Леонид Сергеевич (вып. 1971 г.). Вольнопрактикующий журналист и филолог.

Егоров Борис Федорович. Доктор филолог. наук, профессор. В 1954–1960 гг. зав. кафедрой в Тартуском университете. Вместе с Ю. М. Лотманом был инициатором серии «Трудов по русской и славянской филологии». Переехав в Ленинград, с 1961 стал заведовать кафедрой русской литературы в Герценовском институте. Автор многих монографий и других научных работ. Одна из последних его книг — воспоминания о Юрии Михайловиче Лотмане.

Елина Нина Генриховна (1916–2007 гг.). Перед войной окончила ИФЛИ. Была аспиранткой Жирмунского. Доктор филолог. наук, профессор МГУ. Автор книг о Данте и многих работ, посвященных итальянской литературе. С 1992 г. жила в Израиле. Написала там книгу о В. Гроссмане и автобиографические рассказы. В последние годы жизни занималась историей европейского еврейства и читала на эту тему публичные лекции.

Заборова Роза Борисовна. В 1937 г. окончила литфак, а в 1940 г. — аспирантуру ЛГПИ им. Герцена. В 1944–1980 гг. заведовала отделом рукописей Публичной библиотеки. Автор многих статей по истории русской литературы XVIII–XX вв.

Заборщикова Маргарита Михайловна (вып. ЛГПИ 1968 г.). Канд. пед. наук. Работает в НИИ общего образования взрослых Российской академии образования. Автор многих научных статей.

Золотухина Галина Сергеевна (выпуск ЛГПИ 1961г). После окончания института 1 год была учительницей в сельской школе Омской области. По возвращении в Ленинград работала в техникуме при фабрике «Скороход» и 20 лет в вечерней (сменной) школе, вела литературу, русский язык и историю. Перед выходом на пенсию 3 года работала библиотекарем. Ухаживала за Д.К. до последнего дня ее жизни.

Качурин Марк Григорьевич (1923–2006). Окончил ЛГУ. Участник ВОВ. Доктор пед. наук, профессор Герценовского института (до этого работал в областном ИИУ), автор более 150 работ по русской филологии, теории, практике преподавания литературы; ав-

тор нескольких школьных учебников литературы. Один из них, по которому занимались много лет девятиклассники, написан вместе с Д.К. и М.А. Шнеерсон. После смерти жены уехал в 2002 году к детям в США. Написал воспоминания, глава из которых «Дусенька» помещена в этом сборнике. Продолжал писать и печататься до последнего дня жизни. (См. статью А. С. Роботовой о нем в журнале «Вестник» от 23.04. 2008 г.)

Корец Дина Семеновна (вып. ЛГПИ 1959 г.). Учитель 1-й категории. 40 лет преподавала литературу и русский язык в школах Ленинграда–Петербурга и Ленинградской области.

Кузина Наталья Владимировна (вып. ЛГПИ 1981 г.). Учитель литературы 239 физико-математического лицея. Почетный работник общего образования.

Кулявич Елена Моисеевна (вып. 1955 г.). 51 год проработала учителем русского языка и литературы в 210 школе. Отличник народного образования.

Лазарчук Римма Михайловна. Окончила Карагандинский государственный педагогический институт. В 1967–1970 гг. — аспирантура в ЛГПИ им. Герцена. Доктор филолог. наук, профессор Череповецкого государственного университета. Автор многих статей по русской литературе XVIII–XIX вв. и двух монографий, основанных на архивных материалах: «Литературная и театральная Вологда» и «Батюшков и Вологодский край».

Левина Наталья Рафаиловна (вып. ЛГПИ 1960 г.). Канд. филолог. наук. Работала в школе, в библиотеке Маяковского, в Академии госслужбы. Автор книг по истории города (совместно с Ю. И. Кирцидели).

Ляпина Лариса Евгеньевна. Окончила ЛГУ. Доктор филолог. наук, профессор кафедры русской литературы РГПУ им. Герцена. Автор монографии «Циклизация в русской литературе XIX в. (СПб., 1999), учебных пособий по стиховедению и русской поэзии XIX в., а также многих публикаций.

Маляренко Любовь Наумовна (выпуск ЛГПИ 1953 г.). Работала в школах Красноярского края, на Дальнем Востоке, в Одессе и Одесской области учителем русского языка, литературы, а на Камчатке пришлось поработать и библиотекарем, и даже лаборантом по химии. Заочно окончила Московский институт культуры, несколько лет была директором Дома культуры и художественным руководителем народного театра в г. Котовске Одесской области. Последние 30 лет живет в Петрозаводске, где работала в школе учителем и завучем. Три дочери стали учителями.

Марцинкевич Евгений Валентинович. Окончил ЛГУ. В 1946 г., сразу после возвращения из г. Молотова, куда был эвакуирован ЛГУ, поступил в качестве лектора в областную филармонию, где продолжает работать (уже 62 года).

Матвеева Феодосия Юрьевна (вып. ЛГПИ 1941 г.). Учительствовать начала в эвакуации. Возвратившись, преподавала литературу в Сестрорецкой средней школе, в разных техникумах и колледжах. Последние 14 лет, чтобы можно было, работая, получать пенсию, была комплектовщицей на заводе «Северный пресс». На пенсию вышла в 2000 г.

Медовой Марк Исаевич (вып. ЛГПИ 1962 г.). Канд. филолог. наук. Участвовал в подготовке к изданию книги В. Ф. Одоевского «Русские ночи» (серия «Литературные памятники»). Автор книги: С.П. Шевырев «Итальянские впечатления» (СПб., 2006), а также ряда научных статей. Учитель русского языка и литературы 321-й школы. Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ. Победитель конкурса педагогических достижений 1998 г. Житель блокадного города.

Миляева Юлия Петровна (выпуск ЛГПИ 1958 г.). После окончания института 1 год работала в Таджикистане. Вернувшись в Ленинград, преподавала русский язык, литературу и историю. Автор книг автобиографической прозы. Работает над книгой о блокадном оркестре.

Миттельман Ольга Мордуховна (выпуск ЛГПИ 1956 г.). После окончания института работала 2 года в Казахстане, а вернувшись в Ленинград — в вечерней школе и одновременно в течение 10 лет вела методический семинар при годичных курсах ИУУ. Заслуженный учитель РФ. Сейчас работает в лицее № 590.

Мовчан (Дымшиц) Елена Александровна (вып. ЛГПИ 1959 г.). Переводчик, член Союза писателей и Союза журналистов. С 1962 г. по 1993 г. работала в редакции и редколлегии журнала «Дружба народов». Автор статей и книг.

Молчанова (Маркова) Анна Мееровна (выпуск 1971 г.). После института 3 года работала учителем русского языка в Якутии; потом в Ленинграде и на Кольском полуострове. С 1993 г. — в Петербургском институте иудаики преподает историю еврейской литературы и историю педагогики. Ведет курс зарубежной литературы в СПбГУ. Окончила Институт Стран Азии и Африки МГУ, стажировалась в Иерусалимском университете. Составитель Книг для чтения в начальных классах еврейских школ, автор методических пособий.

Перченко Ирья Зальмановна (вып. ЛГПИ 1954 г.). После окончания института 2 года преподавала русский язык и литературу в селах Красноярского края и год в Республике Коми. Возвратившись домой, работала год в школе при Колпинской колонии строгого режима, затем в 214, 91 школах. Сейчас преподает русский язык в Классической гимназии (школе № 610).

Петрова (Грохотова) Елена Николаевна (вып. ЛГПИ 1959 г.). Преподавала русский язык и литературу в школе, в техникуме, на вечерних и заочных курсах. 30 лет работала на подготовительном отделении ЛГУ.

Полоцкая Эмма Артемьевна (1922–2008). Молотовская студентка Д.К. Окончила МГУ. Доктор филолог. наук. Всю жизнь работала в ИМЛИ. Автор многих работ о творчестве А.П. Чехова. Удостоена премии правительства Москвы за книгу «Вишневый сад. Жизнь во времени.» В ее письмах к Д.К. отразилась типичная жизнь

русского филолога-интеллигента, *чеховского* интеллигента., с его несуетностью и тем душевным изяществом, которое ее любимый писатель особенно ценил в женщине.

Полянская Мина Иосифовна (вып. 1968 г.). Критик, публицист, прозаик. Литературный редактор берлинского культурно-политического журнала «Зеркало загадок». Член международного ПЕН-клуба. Живет в Берлине.

Роботова Алевтина Сергеевна (вып. ЛГПИ 1960 г.). Доктор педагогических наук, профессор Российского педагогического университета им. Герцена. Автор учебных пособий, многих научных статей и около 200 публикаций. Участник международных конгрессов. Почетный работник высшего профессионального образования.

Рубинштейн (Альтварг) Наталья Наумовна (вып. 1961 г.). Работала школьной учительницей, преподавательницей русского языка иностранным студентам, научной сотрудницей Всесоюзного музея А. С. Пушкина в Ленинграде. С 1974 по 1985 гг. жила в Израиле. Входила в редакции и редакционные коллегии русских изданий: «Сион», «Время и мы», «22», «Израиль сегодня», «Сабра», «Народ и земля». Кроме того, печаталась в журналах «Грани», «Синтаксис», «The Index of Censorship», «The Listener» и др. С 1985 г. и по сегодня — сотрудница Русской службы BBC. Живет в Лондоне.

Сажин Валерий Николаевич (вып. ЛГПИ 1968 г.). Член Союза писателей С.-Петербурга. Автор книги «Книги горькой правды». Подготовил к изданию полное собрание сочинений Д. Хармса в 6 томах, собрание стихотворений Б. Окуджавы (большая серия «Библиотеки поэта») и др. издания. В 1968–1991 гг. — сотрудник отдела рукописей Публичной библиотеки.

Сапожникова Вера Давидовна. В 1961 г. окончила матмех ЛГУ. Преподавала математику в институте Герцена, Кораблестроительном, Институте авиаприборостроения. В 1978 г. уехала с семьей в

США, где сразу же стала работать по специальности. Успешно занимается живописью.

Селиванова Инна Васильевна (вып. ЛГПИ 1953 г.). Преподавала литературу в школе и педучилище. Работала на кафедре методики литературы в ЛГПИ им. Герцена, редактором в издательстве «Художник РСФСР». Председатель Совета общественного содействия музея «А музы не молчали...». Член-корреспондент Института Петербурга. Автор книг, журнальных и газетных статей. В 2006 г. издала книгу о своем отце «Рядовой блокадной эпопеи художник Василий Селиванов».

Славина Ида Ильинична (вып. 1944 г.). Преподавала литературу в старших классах 239 физико-математической школы. «Отличник народного просвещения». Руководила известным в стране школьным литературным клубом «Алые паруса». Автор многочисленных статей, брошюр методического характера для учителей. Член Санкт-Петербургского отделения «Мемориала». Свою научно-исследовательскую деятельность продолжает в одном из его отделений в Кельне (Германия), куда уехала, чтобы жить поближе к родным. Написала воспоминания.

Смирнова (Бескинд) Наталья Григорьевна (вып. 1960 г.). Работала 2 года в Челябинской области, в сельской школе. Потом 20 лет была художественным руководителем студенческого клуба ЛГУ. С 1988 г. — учитель-словесник 495-й школы, где организовала театр «Мгновение», которым руководит уже 20 лет.

Смусина Марина Львовна (вып. 1970 г.). Преподают литературу в школе. Работала в ЛГПИ им. Герцена на кафедре методики литературы. Автор научных и публицистических статей.

Соколова Кира Ивановна. Окончила ЛГУ в 1950 г. Много лет работала в ЛГПИ им. Герцена. Канд. филолог. наук, доцент. Автор книги о Салтыкове-Щедрине, учебных пособий и многих научных статей.

Станчек Нора Альфредовна. Окончила ЛГУ в 1950 г. Кандидат пед. наук. Преподавала литературу в школе и много лет (до 1992 г.)

работала на кафедре методики литературы ЛГПИ им. Герцена. В соавторстве с Т.В. Чирковской написала книгу, посвященную истории кафедры. Автор многих методических работ.

Таборисская Евгения Михайловна. Окончила Воронежский государственный университет в 1966 г. Училась в аспирантуре ЛГПИ в 1973–1976 гг. Профессор, доктор филолог. наук. Работает в Северо-Западном институте печати. Автор многих научных статей о русской поэзии XIX–XX вв. и книги на ту же тему.

Тихомиров Борис Николаевич (вып. 1975 г.) После защиты кандидатской диссертации 15 лет проработал на кафедре русской литературы ЛГПИ им. Герцена. Доктор филологических наук. Заместитель директора по научной работе музея Достоевского. Автор книги о романе «Преступление и наказание» и более сотни статей, посвященных русской классической литературе.

Шейман Лев Аврумович (1924–2005). Доктор педагогических наук, профессор Киргизского института образования, академик Национальной академии Киргизии и Российской академии педагогических и специальных наук. Главный редактор журнала «Русский язык и литература в школах Кыргызстана». Награжден медалью «Данк» («Слава») указом президента Акаева и медалью А.С. Пушкина за большие заслуги в распространении русского языка в мире Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) в 1999 г. Автор многих научных трудов.

Шнеерсон Мария Анатольевна (1915–2008). Окончила ЛГУ. Автор многих статей о творчестве русских писателей XIX–XX вв. Соавтор Д.К. Мотольской и М.Г. Качурина. Последние годы жила в США.

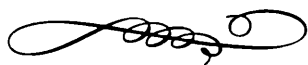
Щербановская Эмма Валентиновна (вып. 1966 г.). Преподавала в школе русский язык и литературу. Работала в Публичной библиотеке.

Список опубликованных работ Д. К. Мотольской

1. «Исторический обзор методики преподавания литературы в дореволюционной школе» // «Ученые записки Лен. Гос. Педагогич. Ин-та им. А.И. Герцена», т. 11, вып. 1, 1936.
2. «Петр 1 в поэзии XVIII века». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А.И. Герцена», т. XIV, 1938.
3. «Борьба за стиль», ж. «Звезда», 1937, № 9 (о книге И. Виноградова).
4. «М.В. Ломоносов», ж. «Ленинград», 1940, № 7–8.
5. «М.В. Ломоносов». — «История русской литературы». Изд. АН СССР, т. 111, 1941.
6. «В.К. Тредиаковский». — «История русской литературы», учебник для вузов, т. 1, ч. 2-я. Учпедгиз, 1941.
7. «М.В. Ломоносов». — «История русской литературы», учебник для вузов, т. 1, ч. 2-я. Учпедгиз, 1941.
8. «Н.П. Николаев». — «История русской литературы», Изд. АН СССР, т. IV, 1947.
9. «Воспитание идейности на уроках литературы». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А. И. Герцена», т. 63, 1948.
10. Рец. на кн. Д.Д. Благого «Русская литература XVIII века», ж. «Звезда», 1946, № 12.
11. «Добролюбов – критик». Предисловие к книге: «Н.А. Добролюбов. Избранные произведения», Лениздат, 1951.
12. «Книга о Добролюбове» (рец. на кн. В. Жданова «Добролюбов»), ж. «Звезда», 1952, № 5.
13. «Герцен – писатель». Послесловие и комментарий в кн. «А.И. Герцен. Избранные произведения», Лениздат, 1954.
14. «Формирование историко-литературных взглядов Н.Г. Чернышевского». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А.И. Герцена», т. 120, 1955.
15. «Книга о романах Н.Г. Чернышевского» (о кн. Г. Тмарченко. «Романы Чернышевского»), ж. «Звезда», 1955, № 10.
16. «Эстетическое воспитание учащихся на уроках литературы». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А.И. Герцена», т. 114, 1956.
17. «Вопросы истории литературы в рецензиях Н.Г. Чернышевского 1853–1854 гг.». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А.И. Герцена», т. 134, 1957.
18. «Изучение композиции литературного произведения» / В сб. «Изучение мастерства писателей в школе», Учпедгиз, 1957.
19. «Из опыта практических занятий по курсу «Введение в литературоведение» (совместно с П.В. Соболевым). — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А.И. Герцена», т. 155, 1959.

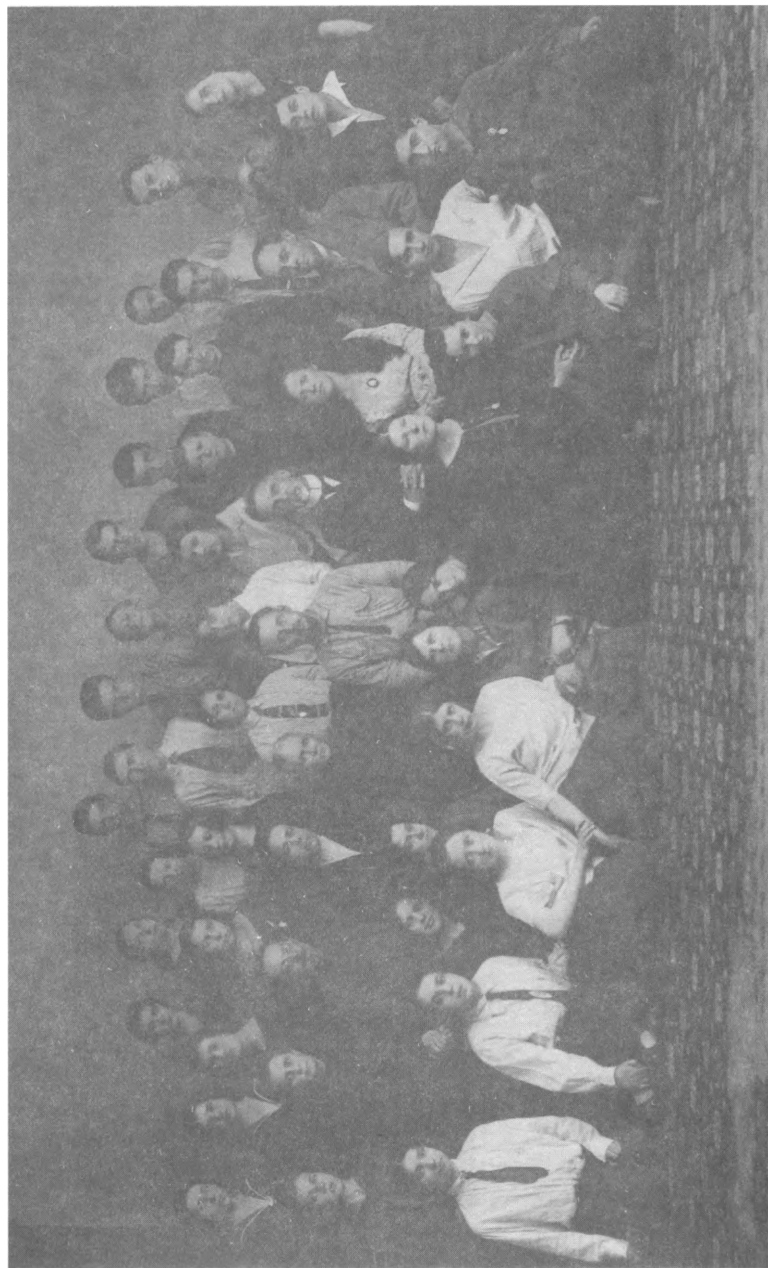
20. «Автобиография» Н. Г. Чернышевского и ее истоки». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А. И. Герцена», т. 198, 1959.
21. «Высказывания писателей о литературе и их значение для формирования эстетических взглядов учащихся» / В сб. «Эстетическое воспитание в школе», Учпедгиз, 1962.
22. «Работа Н. Г. Чернышевского над анненковскими «Материалами для биографии А. С. Пушкина». — «Ученые записки Лен. Гос. Пед. Ин-та им. А. И. Герцена, т. 210, 1963.
23. «Н. Г. Чернышевский — историк русской журналистики конца 20-х — начала 30-х годов XIX в. — Уч. Зап. ЛГПИ им. Герцена, т. 309, 1966.
24. Проблема традиций в историко-литературной концепции Н. Г. Чернышевского / В кн: Межвузовская конференция литературоведов, посвященная 50-летию Октября. Л., 1967.
25. На рубеже 20-х–30-х годов. В. А. Десницкий — ученый и педагог. Уч. Зап. ЛГПИ им. Герцена, т. 381, 1971.
26. Мотольская Д. К. и Соколова К. И. К вопросу о композиции лирического стихотворения (на материале лирики А. С. Пушкина 1830-х годов). Уч. Зап. ЛГПИ им. Герцена, т. 414, 1971.
27. Качурин М. Г., Мотольская Д. К., Шнеерсон М. А. Русская литература. Учебное пособие для 9 кл. средней школы / Под. ред. Б. И. Бурсова. М., «Просвещение», 1968. (Д. К. написаны главы: «Н. Г. Чернышевский», «Ф. И. Тютчев» и «Заключение»). Этот учебник переиздавался 15 раз. Последнее издание вышло в 1981 году.
28. Бурсов Б. И., Качурин М. Г., Мотольская Д. К., Шнеерсон М. А. Методическое руководство к учебнику по литературе для 9 класса. М., «Просвещение» 1978 (переиздавалось в 1979 и 1980 г.).
29. Мотольская Д.К. Общая судьба / В сб. «Книга живых. Воспоминания евреев-фронтовиков, узников гетто и концлагерей, бойцов партизанских отрядов, жителей блокадного Ленинграда». СПб.: Акрополь, 1995.
30. Мотольская Д.К. «Поражала неожиданность его суждений...» / В сб.: «Человек в потоке времени. Проф. Я.С. Билинкис». СПб.: изд. РГПУ им. Герцена, 2003.

Из фотоархива





Дина Клементьевна в детстве



Выпускной класс 16-й грудовой школы. В 1-м ряду 1-й справа Юня Кремлёв (?), 3-я справа Дуся Могольская;
в 3-м ряду 5-й справа Сергей Христианович. 1925 г.



В музыкальном техникуме.
Справа наклонилась к подруге Дуся Мотольская. 1926 г.



Дуся Мотольская в 1927 г.

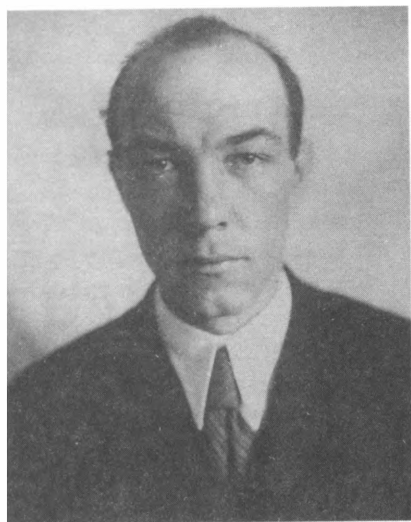


Д.К. Мотольская с мужем С.А. Христиановичем. 1931 г.



Подпись на обороте:

**«Самой любимой учительнице Дине Клементьевне Могольской
на память от выпускников V² класса ФЗУ "Металлист". Ленинград. Февраль 1932 г.»**



Дорогой Вусе
на память о наших
интересных разг-
вороченных беседах
за последние годы
в том же виде.
Золотой Александр

Владислав Евгеньевич Холшевников (1910–2000)



На память
о хороших прощаниях
и дружбе
Груздев
7.11.41

Александр Иванович Груздев



Любимой Яине Климентьевне —
 улыбающейся со мной.
 Лёня Шейман.
 Рай Вильямовна.
 Аня Шабельская.
 Шура Вильямовна.
 Тамс Юнус.
 Гале Риншоновна.
 Райя Богортьевская.
 Тамара Фридрих.
 Б. П. Городецкий (7)
 г. Молотов, 29 июля 1944 г.
 Мал ТУ, 19 курс филолог.

Студенты Д.К. военных лет, г. Молотов, 29 июля 1944 г.
 В 1-м ряду в центре Д.К. Мотольская и Б.П. Городецкий,
 за ним во 2-м ряду Лёня Шейман



Слева направо В.П. Друзин, М.Л. Семанова, А.А. Ахаян,
Д.К. Мотольская, В.А. Десницкий
Надпись на обороте: «Дорогой незабвенной Дине Клементьевне от Ахаяна.
1949 г. Ленинград»

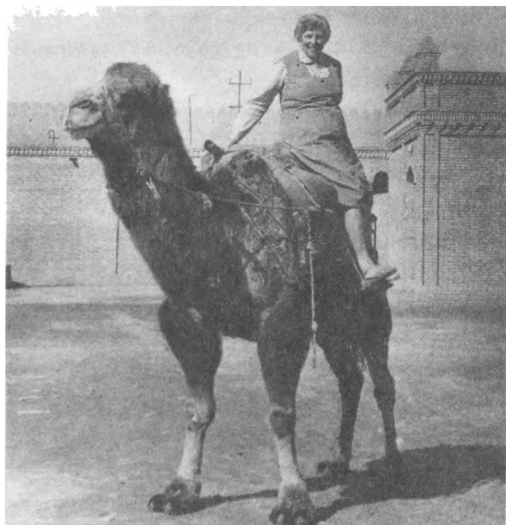




Д.К. Мотольская и М.Л. Семанова. 1 мая 1949 г.



С мамой на даче



Ида Ильинична Славина



Тамара Васильевна Чирковская

Спутницы дальних странствий



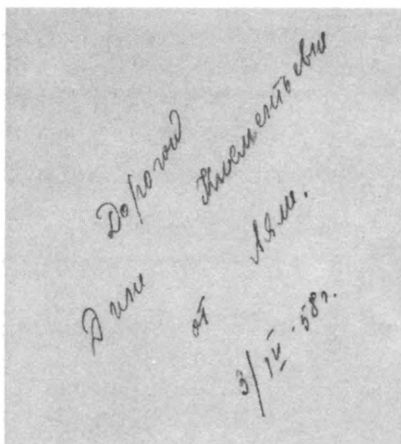




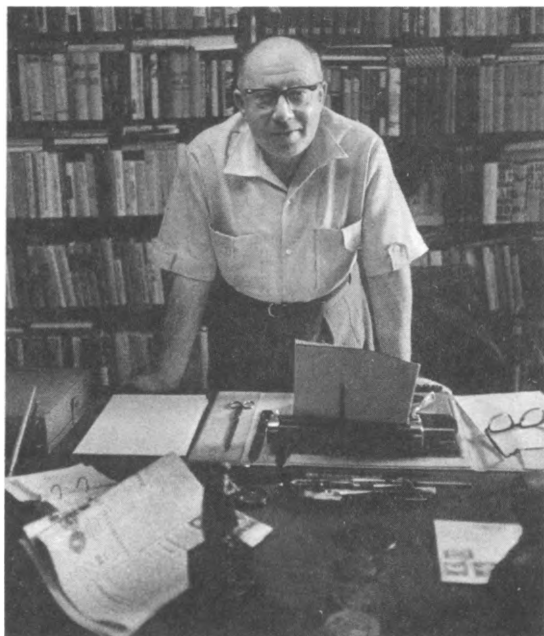
Ю. А. Кремлёв

С рис. Н. П. Давыдов

Школьный товарищ Д.К. Юлий Анатольевич Кремлёв (1908–1973)



Ляля Зенькович (1933–1962) см. стр. 260, 271



Друг студенческих лет Александр Львович
Дымшиц (1910–1974)



Владимир Николаевич Альфонсов и Юрий Павлович Суздальский



Слушатели ФПК и преподаватели кафедры русской литературы.



Д.К. принимает зачет



Один из ее кумиров



Дома у Д.К. Справа Лариса Ляпина, в центре Аня Штейнгольд,
слева Женя Таборисская

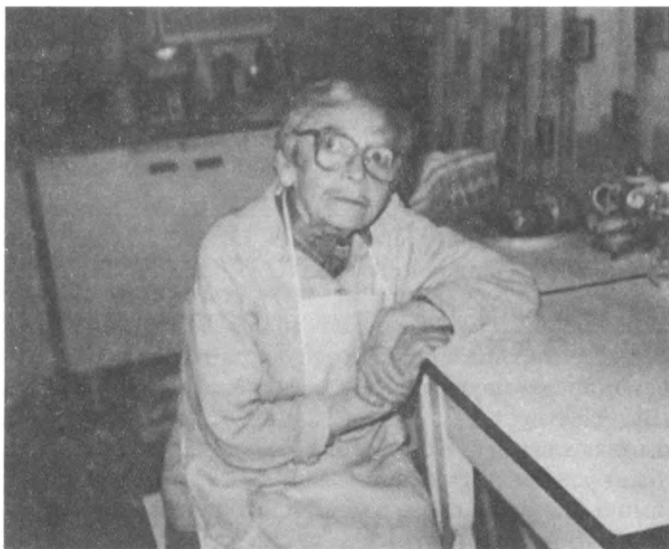


Людмила Викторовна Соколова

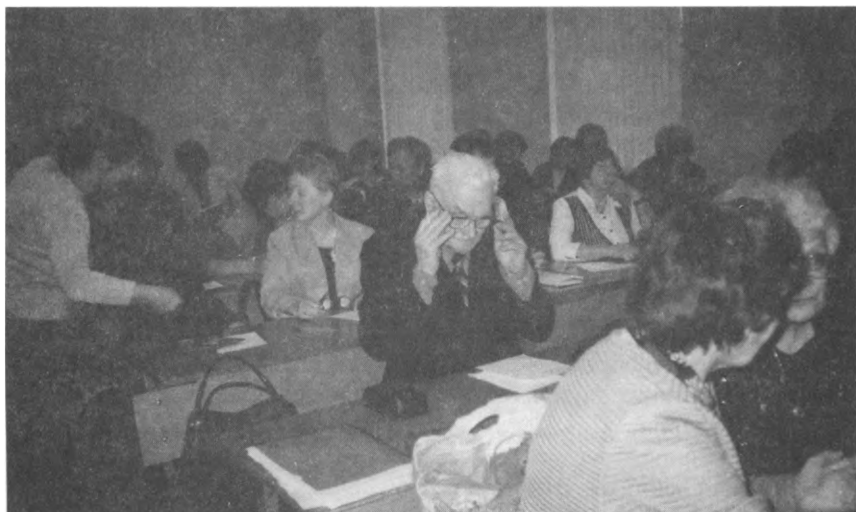


Наталья Владимировна Кузина

Студентки Д.К. последних выпусков и ее ближайшие помощницы



Последняя фотография Д.К. 2005 г.



Герценовские чтения, посвященные памяти Д.К. Апрель 2007 г.
Во 2-м ряду Б.Ф. Егоров

Содержание

Об этой книге	5
Для чего люди живут долго?.....	7
Из истории семьи	9
Она еще не родилась.....	11
«Она сама очень крошечная...».....	18
«Мама была как Софья Перовская...».....	24
Воспоминания двоюродной сестры.....	30
Рассказы Дины Клементьевны.....	37
Воспоминания о Д.К.....	71
О моем старшем друге	73
Д.К. путешествует... ..	85
Вспоминают пермские студенты	89
Облагораживающее обаяние.....	89
Помню еще Ваши слова о моем протопопе Аввакуме.....	90
Какой же это был год?.....	93
Воспоминания разных лет	99
Очень маленькая, хорошенькая, совсем молоденькая.....	99
Дом на Марата и дом на Мойке, или Сюжет о бродячих сюжетах.....	100
Рядом с незабвеннойДиной Клементьевной Мотольской	104
Память остается с нами.....	118
Ее голос... ..	123
О Дине Клементьевне. Сорок лет спустя	124
Уроки Дины Клементьевны	131
Никто, к сожалению, не знал... ..	134
«...Учитель многих и многих поколений филологов- герценовцев».....	135
Рядом... ..	139
Такая маленькая, держит внимание огромной аудитории... ..	143
«Да, я знаю, что такое любовь!»	146
Я ее очень любила.....	147
«...Мало таких людей, но ими расцветает жизнь всех...»	148
Путем зерна.....	151
Нам здорово повезло... ..	155
Каждая лекция — открытие.....	158
Она произвела на меня сильнейшее впечатление своим темпераментом.....	159
Человек, ставший событием в моей жизни.....	162

Дусенька.....	166
А радоваться она так и не разучилась.....	169
Дом, где можно было отогреться душой.....	175
Наставник на полвека.....	176
Воспоминания первокурсницы.....	181
Самой человеческой стороной.....	183
Человек, даривший радость.....	184
Огорчались, услышав звонок.....	191
У нее постоянно хотелось учиться.....	195
«Не волнуйтесь. Мы сейчас с вами побеседуем...».....	197
Из дневника Риты Заборщиковой.....	199
Вы были ненамного старше нас... ..	202
А между тем эта воительница была маленькой и беззащитной.....	204
«Пустеет воздух, птиц не слышно боле...».....	206
Штрихи к портрету.....	212
Письма к Д.К.	215
Из писем Эммы Полоцкой.....	217
Из писем Марка Григорьевича Качурина.....	238
Из писем Марии Анатольевны Шнеерсон.....	254
Письма Наташи Рубинштейн Д.К. и о Д.К.....	261
Из писем Льва Аврумовича Шеймана.....	274
Воспоминания Д.К. Мотольской о Льве Аврумовиче Шеймане.....	295
Нина Елина из Иерусалима	302
Письма Инны Альми	307
Разные письма.....	308
Из писем.....	319
Письма мужа.....	323
В одном ряду с ней...	327
Ряд «незаконных» воспоминаний.....	329
Я помню... ..	332
Памяти Н. Я. Берковского	336
Отдельные сцены как знаки времени	342
Наставникам, хранившим юность нашу	344
Об авторах	351
Список опубликованных работ Д. К. Мотольской.....	359
Из фотоархива	361

ЕЁ ТЕПЛА ХВАТАЛО НА ВСЕХ...

Книга о Дине Клементьевне Мотольской

Оформление обложки *А. Козлова*

Корректор *С. Н. Павлюченкова*

Компьютерная верстка *Л.А. Иванова*

Оригинал-макет подготовлен

ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА»

Подписано в печать 11.03.2009. Формат 60×88/16.

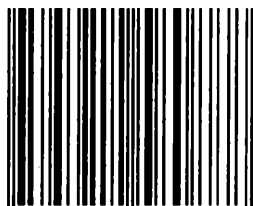
Печать офсетная. Гарнитура Петербург.

Печ. л. 24. Тираж 300 экз. Заказ № 48.

Отпечатано в ООО «ИПК «КОСТА»

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 58

ISBN 978-5-91258-088-8



9 785912 580888

